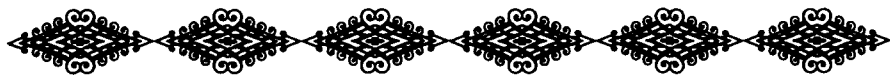


Департамент образования Вологодской области
Вологодский государственный педагогический университет

Г. В. Судаков

И С Т О Р И Я РУССКОГО СЛОВА

Вологда
2010



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Глава I. Начала исторической лексикологии русского языка . .	7
1. Историческая лексикология русского языка: предмет, задачи, источники и методы	7
2. О периодизации истории русского слова.	26
3. Актуальные проблемы исторической лексикологии русского языка	34
4. О языковом сознании древнего русича	44
5. Языковая ситуация и история лексического состава. Языковая ситуация в Московской Руси.	60
Глава II. Историческое слово в семасиологическом аспекте . .	71
1. Семантическая структура слова и вариантность (названия верхней одежды).	71
2. Семантические изменения как фактор развития лексики (названия вместилищ для посуды).	78
3. Архаичное и новое в гнезде слов с корнем <i>короб-/краб-</i> : проблемы эволюции.	85
4. Предметно-бытовая лексика в семасиологическом аспекте . .	93
Глава III. Историческое слово в составе лексико-семантической группы	106
1. Структура лексической группы (названия нательной одежды). .	106
2. Источники пополнения и динамика развития лексической группы (названия поваренной посуды).	118

3.	Семантические отношения в составе лексической группы . . .	138
4.	Особенности организации лексических групп и критерии их разграничения	144

Глава IV. Историческое слово в жанрово-функциональном аспекте. 154

1.	Слова <i>одежда, платье</i> и их синонимы в русском языке Средневековья.	154
2.	Взаимоотношения книжных и разговорных элементов в старорусском слове.	162
3.	Особенности функционирования старорусского слова в составе лексико-семантической группы	172
4.	Слово и художественный текст в XVII веке: взаимозависимость и взаимообусловленность.	179
5.	Динамика лексической группы под влиянием культурных и речевых традиций эпохи.	190

Глава V. Дialeктная стратификация старорусской лексики . . 203

1.	Состояние и проблемы лингвогеографического изучения исторического слова.	203
2.	Семантика и география названий сарафанов и понев (на материале русской письменности XVI–XVII вв.)	214
3.	Лексические локализмы в группе названий рукавиц	223
4.	Дialeктная лексика в старорусских названиях корзин	231
5.	Территориальная дифференциация в группе названий мешков и сумок	240
6.	Лексические локализмы и дialeктные объединения в языке Московской Руси XVI–XVII вв.	259

Глава VI. Историческая лексикология и историческая лексикография: взаимозависимость и взаимодействие 279

1.	Лексикография на службе лексикологии.	279
2.	Проблема иллюстрации в историческом словаре	289

Заключение	301
----------------------	-----

Источники	311
---------------------	-----

Труды Г. В. Судакова по исторической лексикологии и исторической лексикографии русского языка.	328
--	-----



ПРЕДИСЛОВИЕ

Любое знаменательное слово со своими производными – отдельная Вселенная, особенно если иметь в виду семантическую структуру слова, весь спектр его эмоционально-экспрессивных и стилистических приращений. Слово – основная и самая значимая единица языка, хотя слово – это еще не весь язык. История слова отличается от истории других феноменов человеческого духа. Она отличается временной ретроспективой, глубиной и силой изменений, зависящих и от жизни социума, и от внутренних законов языковой системы.

История слова – это существование слова во времени, а это значит – и динамика семантики слова, и функционально-стилистические изменения слова под влиянием контекста, и важная, особенно для донационального состояния языка, территориальная приуроченность слова. Теоретические и методологические элементы этих явлений были разработаны В. В. Виноградовым и Ф. П. Филиным.

Историю словарного состава языка изучает историческая лексикология. Историческая лексикология – это важный раздел общей науки об истории национального языка. У исторической лексикологии есть свой предмет, свои цели и задачи, свое понимание источника и метода. В нашей книге этому посвящена первая глава «Начала исторической лексикологии русского языка».

Различные аспекты жизни слова: семасиологический, системно-структурный, жанрово-функциональный, территориальный – рассмотрены в последующих главах книги (главы 2–5).

Изучение истории слова решающим образом зависит от уровня и масштабов исторической лексикографии данного языка. Некоторые идеи этой взаимозависимости и взаимообусловленности раскрыты в заключительной главе книги.

Примеры из рукописей подаются с сохранением особенностей подлинника; пропущенные буквы и знаки препинания не восстанавливаются, выносные вносятся в строку, некоторые буквы по техническим соображениям заменяются современными графическими соответствиями. Цитаты из источников, опубликованных по правилам старой орфографии, переводятся на современную орфографию. Во всех случаях, когда это возможно, указывается место и точная дата написания текста, тип документа. Свидетельств местного происхождения большинства создателей старорусских текстов вполне достаточно, например, в таких городах, как Великий Устюг, Белозерск, Вологда, Тотьма, число грамотных на посаде обычно превышало 15%, а в северных волостях среди крестьянского населения доходило до 4%. Иллюстративный материал подается в минимально необходимом объеме, география слова приводится в обобщенном виде (дается перечень пунктов или таблица), случаи редкого употребления слова специально отмечаются. В качестве дополнительных источников использовались также лексические материалы предшествующего и последующего периодов истории восточнославянских языков с тем, чтобы восстановить схему развития слова, реконструировать или уточнить его старорусскую семантику. В работе использованы материалы ряда картотек: Словаря русского языка XI–XVII вв. (Москва, Институт русского языка РАН), Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН), Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей (Санкт-Петербургский государственный университет), Словаря вологодских говоров (Вологодский государственный педагогический университет), Словаря белозерских говоров (Череповецкий государственный университет). Привлекаются также исторические, этимологические и областные словари. К дополнительным источникам исследования относятся данные ономастики, которые дают возможность уточнить временную характеристику апеллятива. Использованы историко-этнографические замечания иностранцев о быте Московской Руси, хотя это не всегда точные и объективные свидетельства. Привлечены специальные работы по этнографии и истории материальной культуры и быта.



Глава 1.

НАЧАЛА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ

Теория исторической лексикологии русского языка еще не создана. Практика научных исследований показывает разное понимание специалистами не только предмета и объекта исторической лексикологии, но и неодинаковую трактовку задач и содержания этой дисциплины, ее источников, хронологических границ тех периодов истории языка, которые подлежат ее компетенции, взаимоотношений исторической лексикологии с этимологией, историческим словообразованием, диалектологией, исторической стилистикой. Интенсивное увеличение числа подобных вопросов объясняется сравнительно быстрым становлением этого раздела науки, противоречиями в его развитии.

Изучение истории русского слова началось фактически во второй половине XIX в., хотя специальные исследования по этим вопросам появлялись в то время очень редко, «история слов была поглощена – вернее, еще не отдифференцирована – от этимологии»¹. Между тем А. А. Потебня в пору общего увлечения фонетикой и морфологией писал: «В истории языка общего внимания заслуживает, конечно, исследование не звуковой наружности слов, которое при всей своей важности имеет лишь служебное значение, а мысленного содержания слов»². Кроме трудов самого А. А. Потебни, обозначивших решительный сдвиг в историко-этимологической и семасиологической проблематике, назовем образцовую монографию А. С. Будиловича «Первобытные славяне

в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным» (т. 1–2, 1878–1882) и ряд статей А. И. Соболевского, посвященных проблемам заимствований и сравнительному изучению древнерусских и старославянских слов³.

В советское время развитие исторической лексикологии стимулировалось исследованиями В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, С. П. Обнорского. Среди работ советского периода выделяется глубиной разработки фактического материала и фундаментальностью рассматриваемых проблем одна из первых книг, посвященная исключительно истории лексического состава, – монография Ф. П. Филина «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей)» (1949).

В изучении истории лексики в советскую эпоху можно выделить два этапа. Первый этап приходится на пятидесятые–шестидесятые годы, когда был выполнен целый ряд работ, посвященных анализу лексики отдельных памятников или группы текстов, однородных в жанрово-стилистическом отношении. Тогда же появляется первое обобщающее исследование – книга П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период» (1956), до сих пор не утратившая своей ценности и превосходящая по глубине разработки проблем вышедшие позднее монографии зарубежных авторов⁴. Вместе с тем в книге П. Я. Черных не разграничены историко-лексикологический и этимологический аспекты анализа, наблюдения над функционированием слова, т. е. его историей, заменяются справками о разных версиях происхождения слова, хронология первых письменных фиксаций приблизительна, а иногда – и ошибочна. Недостаточное число выполненных к тому времени конкретных описаний по истории отдельных слов и целых групп не позволило ученому вскрыть кардинальные тенденции в развитии словарного состава русского языка.

Стимулом нового оживления и началом второго этапа в развитии исторической лексикологии явились разработка принципов лингвистического источниковедения и серия осуществленных на этой основе изданий древних текстов XI–XIV вв. и скорописных памятников XVI–XVIII вв. Мощным стимулирующим фактором стало издание «Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд» – с 1974 г., «Словаря русского языка XI–XVII вв.» – с 1975 г., «Словаря русского языка XVIII века» – с 1984 г., «Словаря древнерусского языка

(XI–XIV вв.)» – с 1988 г. Ни один из этих словарей еще не закончен изданием. Обязательными моментами в научных опытах этого периода являются привлечение новых рукописных материалов, использование вариантов и редакций памятников, учет территориальной приуроченности и жанрово-содержательной характеристики текстов. Заметно возросло внимание к истории лексики и фразеологии XV–XVIII вв., т. е. периода, наиболее обеспеченного памятниками.

Не вдаваясь в детальный анализ сегодняшнего состояния исторической лексикологии русского языка, констатируем лишь в качестве недостатков ее развития ограниченность источниковой базы по причине малого числа опубликованных в XX–XXI вв. текстов, отставание в разработке методологических и методических вопросов исторической лексикологии, весьма тесно связанной с историей философии и религии, всем многообразием духовной культуры общества, а также отсутствие координации и редкие попытки коллективных исследований. Сошлемся также на мнение О. Н. Мораховской, высказанное более тридцати лет назад: «Наиболее актуальным для настоящего времени представляется разработка такого проспекта, который освещал бы постановку проблем на основании аналитического обзора всего того, что исследовано по теме. ...Важно представить разработанность проблематики исторической лексикологии русского языка, как-то сгруппировать исследования по проблемам, по аспектам, по методам. Тогда будет возможно увидеть то, что наиболее разработано, и то, что требует более детальных конкретных исследований» (из ответов на анкету Института русского языка по исторической лексикологии⁵). Ощущается необходимость в специальном библиографическом указателе и проблемном обзоре литературы по исторической лексикологии русского языка, что важно для установления степени изученности истории лексики, выявления «белых пятен», составления списка неизученных тематических групп, неисследованных памятников, а также для объективной оценки вклада разных ученых (отечественных и зарубежных) в изучение истории русской лексики.

В связи с этим хотелось бы изложить некоторые соображения об основных проблемах и о генеральных понятиях исторической лексикологии русского языка. Конечной целью совместных усилий исследователей было бы написание академической «Исторической лексикологии русского языка» и тем самым завершение создания

полной сводной истории языка, обобщение и приведение в единую систему наших знаний об историческом процессе развития русского языка во всем его объеме: фонетики и морфологии, словообразования и синтаксиса, лексики и стилистики.

Предметом русской исторической лексикологии как самостоятельной научной дисциплины являются лексико-семантические и фразеологические средства русского языка в их эволюции с начала письменной истории языка до современного состояния. Формирование и функционирование этих средств в силу особо тесной связи лексики с внеязыковой действительностью должно рассматриваться с учетом развития духовной и материальной культуры общества. Появление целых групп новых слов зачастую бывает связано с историей хозяйства, культуры и быта данного этноса. Здесь уместно заметить, что конкретное содержание лексических новаций все же определяется языковыми факторами: словообразовательными возможностями данного языка, его «общезительными» потенциями, т. е. активностью контактов с другими языками и восприимчивостью к иноязычным заимствованиям. Вероятно, следовало бы специально обсудить, какой характер должны носить этнографические, культурологические, исторические, теологические и другие справки в историко-лексикологическом исследовании, каков может быть их объем и каково их место в композиции лингвистического сочинения.

В своих выводах историческая лексикология не должна ограничиваться суммированием тех результатов, которые можно получить при исследовании каждого слова в отдельности. Словарь языка — не хаотичное собрание элементов. Разумеется, в любой момент истории не все элементы словаря включены в строгие системные отношения. Системность лексики в силу ее открытости — это тот всегда не достигаемый или тот постоянно нарушаемый предел, к которому стремится развитие языка, это система с некоторым количеством постоянных и возможно с еще большим числом вариантных элементов. Характеризуя состояние словаря в целом, было бы, наверное, экономнее идти по линии описания системных тенденций в эволюции лексических групп, а это предполагало бы описание и несистемных элементов и асистемных тенденций.

Признание системных начал в организации лексико-семантического уровня языка обуславливает и наш подход к выбору основного объекта изучения исторической лексикологии: таковым

является лексико-семантическая или тематическая группа в ее эволюции. Исходной единицей анализа, конечно, остается слово и набор воспроизводимых, а также связанных, обусловленных словосочетаний с этим словом, но уже как элемент, компонент системного целого. Поскольку семантический объем исторического слова выявляется только в сочетаемости, то сочетаемость слова должна быть описана предельно всесторонне и глубоко. Историческая лексикология в отличие от исторической лексикографии, сосредоточивающей внимание прежде всего на слове, даже при показе ретроспективы изменений отдельного слова должна заниматься более всего эволюцией взаимоотношений слова с равнозначными или близкими по значению лексико-фразеологическими единицами, т. е. выявлением системных связей, а также выяснением влияния факторов культурно-исторического, социального характера на судьбу слов, установлением причин архаизации и утраты слов, их возникновения и распространения. Системность лексики, какой бы исторический период ни иметь в виду, убедительнее всего проявляется в синонимических рядах, в лексико-семантических группах и однокорневых гнездах слов, во взаимоотношениях генетически и функционально разнородных элементов с тождественной или близкой семантикой. Системность обнаруживается и в структуре полисемантического слова, в иерархии его значений.

Выбор слова в качестве исходной единицы историко-лексикологического исследования влечет за собою актуализацию ряда вопросов общей ономастики и семасиологии, специфически преломляющихся в применении к историческому материалу: 1) сохранение единства и тождества слова в последовательно сменяющиеся эпохи развития языка (см. посвященную этой проблеме статью В. В. Виноградова⁶), пределы фонетико-грамматического и семантического варьирования слова. Вряд ли допустим «широкий взгляд на полисемию, допускающий объединение в одном слове всех значений, возникновение которых относится к историческому периоду русского языка»⁷. В полисемию целесообразно включать лишь одновременно существующие значения, ее объем может меняться с течением времени, но это будут уже разные состояния полисемантической структуры слова; 2) источники омонимии; энантиосемия, деэтимологизация, лексикализация как средства развития словаря; 3) универсальное и национальное, типичное и специфическое в путях развития полисемии и принципов

номинации, внутригрупповых связей слов, в темпах динамичности словаря, в отношениях узуального иokkaзионального в различных лексико-семантических и предметно-тематических группах в разные периоды развития конкретного языка. В разработке этой проблематики и открывается, на наш взгляд, возможность перехода от «атомарности», от истории отдельных слов к истории всего лексикона, перехода от анализа к синтезу.

Обратим внимание на последнюю проблему. Имеется в виду развитие исследований по внутриязыковой типологии в интересах исторической лексикологии, т. е. описание типов лексико-семантических систем, последовательно сменяющих друг друга, анализ того, как накапливаются определенные различия, приводящие к появлению нового в способах и содержании номинации, в путях развития переносов и т. п. Минимальный объект исследования в этом случае – лексико-семантическая группа, структура и признаки которой последовательно сопоставляются по нескольким синхронным срезам, выбор которых должен быть оправдан глубиной и содержательностью исторических изменений словаря. В качестве содержательных признаков, которые сравниваются, избираются соотношение родовых и видовых слов внутри группы, количественные соотношения мотивирующих признаков, лежащих в основе наименований, соотношение мотивированных и немотивированных лексем, уровень синонимичности и др. Подобным образом далее сравниваются между собою и разные группы, сосуществующие в языке в один и тот же исторический период (см. примеры такого анализа в нашей работе⁸). Важно выявить не только специфические для каждого временного периода особенности словаря, модели переноса, процессы онимизации, но и постоянные, устойчивые элементы, составляющие ядро, характерную сущность русского языка. Далее следует осуществить переход к типологическому изучению лексики близкородственных языков, ибо, по справедливому замечанию А. Мейе, «история языков создается лишь путем сравнения состояния языка в различные периоды... Изолированный язык лишен истории»⁹. Заметим, что сравнение может и не быть сплошным, т. е. охватывающим все тематические группы лексики без исключения, это слишком большая задача. Речь идет о том, что при наличии необходимого материала типологический анализ должен проводиться непременно.

Сравнение состояний словаря в наиболее важные для данного языка периоды его функционирования позволило бы ответить и

на такие вопросы, как этапы стилистического расслоения словаря, время появления просторечия, типичные и специфические семантико-стилистические процессы для разных эпох и т. д.

Методика сравнительно-сопоставительного исследования и типологического анализа последовательно меняющихся состояний лексико-семантической системы одного исторически развивающегося языка только еще создается. Нужно определить перечень действительно значимых признаков, от изменения которых зависит изменение характера лексико-семантической системы, не ограничиваясь синонимией и омонимией, хотя в природе синонимии и омонимии в разные исторические эпохи тоже убедительно проступает историческое своеобразие. Разумно будет воспользоваться прогрессивными методиками, первоначально предназначавшимися для анализа более формализованных языковых структур, чем номинативная и семантическая системы.

Характеризуя проблемы исторической лексикологии, нельзя обойти вопрос об источниках, который одновременно является и вопросом о границах русского языка, вопросом о том, лексику какого языка предстоит описывать. Паллиативные решения здесь недопустимы, ответы должны быть четкими и однозначными, а виды источников перечислены вплоть до их типов и жанров.

Исходя из понимания русского языка исторической эпохи как единства обиходно-разговорной и книжно-письменной разновидностей, легче решить вопрос об источниках обиходно-разговорного характера: это оригинальные тексты, написанные русскими на русском языке и связанные преимущественно с бытовыми и хозяйственными ситуациями.

Проблема источников книжно-письменного характера – это проблема разграничения русского (вначале – древнерусского) языка и языка церковнославянского. Решение этой проблемы на сугубо функциональной основе (считать русским все, что функционировало как средство общения на русской территории¹⁰) нельзя признать удовлетворительным. По отношению к лексике и ее источникам предпочтительнее генетико-функциональный подход: русским является русское по происхождению и по сфере функционирования одновременно, а также все, усвоенное и приспособленное русским языком для удовлетворения разнообразных потребностей этноса в общении. Поэтому старославянские тексты богослужебного и канонического содержания, являющиеся наиболее чистыми образцами старославянского языка, не могут быть

отнесены к памятникам русского языка, в том числе и его литературной разновидности. Промежуточное положение занимают оригинальные тексты конфессионального содержания, сочиненные русскими авторами и неоднократно переписываемые на Руси в более позднее время: при известной ориентации на старославянские образцы эти рукописи являют собою результат взаимодействия двух родственных языковых стихий: старославянской и восточнославянской – и должны быть использованы как ценный материал для сравнительно-сопоставительных исследований эволюции русской лексики на общеславянском фоне.

Далее определим в тезисной форме отношение к другим типам источников:

1. Любой письменный источник, написанный на русском языке, является источником исторической лексикологии русского языка, независимо от материала для записи, от содержания, жанра, предназначенности, степени сохранности и т. п.

2. Переводные источники признаются наравне с оригинальными.

3. Принимается во внимание степень распространенности, употребительности (читаемости, использования в учебных целях, частоты и хронологической длительности переписывания), авторитетности источника. Также учитывается светское или конфессиональное назначение памятника, поскольку это предполагает разные культурологические и историко-генетические подходы к лексическому составу содержательно неодинаковых текстов.

4. Источники устного бытования (фольклор, обычное право и т. п.) учитываются в записях позднего времени и показания их имеют силу для времени выполнения записи. На более ранние эпохи эти выводы распространяются с оговорками.

5. К дополнительным источникам относятся лексические материалы (апеллятивы и онимы), относимые к дописьменной эпохе или современному состоянию русского языка.

6. Сведения историко-этнографического, историко-культурного, археологического и пр. характера относятся к вспомогательным и требуют критической оценки в свете лингвистических данных.

Классификационный список источников учитывает три признака: 1) форма существования памятника; 2) материал для его выполнения (для письменных источников); 3) содержание.

1. Устная форма бытования:

А. Фольклор (сказки, былины, исторические песни, пословицы и поговорки) в записях XVII–XVIII вв. и позднее; пословицы и поговорки в описательных и художественных текстах древнерусского и более поздних периодов.

Б. Обычное право («Русская правда», местные правовые установления, описанные в источниках XVI–XVII вв.).

II. Письменная форма бытования:

А. Эпиграфика (граффити храмов, надписи на камнях). Сфрагистика. Геральдика. Нумизматика. Надписи на предметах быта и ремесла, на предметах культа и фресках.

Б. Берестяные грамоты.

В. Пергамен и бумага (последующее членение – с учетом жанра и содержания):

1. Агиография: жития, слова, чтения, похвалы, сказания.

2. Гомилетика: слова, моления, поучения, оглашения и другие ораторские сочинения.

3. Описания историко-географического содержания: хронографы, летописи, хождения, «топографии» и др.

4. Естественно-научные описания: астрономические, математические, биологические и медицинские. Сочинения хозяйственного, строительного, земледельческого содержания. Руководства по военному делу, коневодству, солеварению и отдельным ремеслам.

5. Нарративная переводная повесть («История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрия» и др.).

6. Нарративная оригинальная повесть («Слово о полку Игореве», «Задонщина» и др.).

7. Юридические источники: грамоты и договоры. Законоустановления. Записи на книгах владельцев и переписчиков.

8. Эпистолярные источники: послания, грамотки. Записи бытового назначения.

Еще раз подчеркнем, что в рамках сравнительно-сопоставительной методики найдут место книги священного писания, догматические сочинения, литургическая поэзия, но будем помнить, что это тексты старославянского и церковнославянского языков.

Содержание и задачи русской исторической лексикологии в трудах советских ученых постепенно обогащались и усложнялись. Сравним два мнения: «Главная задача русской исторической лексикологии заключается в том, чтобы выяснить, как происходило развитие лексических средств языка в целом, во всех его раз-

новидностях – литературного языка и говоров, включая и профессиональную терминологию; в том, чтобы установить, с чего это развитие началось, как протекало, какие этапы прошло, установить хронологические рамки появления отдельных слов или целых групп и категорий слов; в том, чтобы объяснить, почему некоторые слова вовсе исчезли из живого языка, некоторые лишь выпали из ныне действующего словаря, почему одни слова сохранились без каких-либо заметных изменений их внешней формы или их обычного значения, другие изменились и в том и в другом отношении; в том, чтобы выяснить общие линии и тенденции направления в движении словарного состава русского языка, т. е. другими словами, изучить внутренние законы развития словарного состава в связи с историей языка»¹¹.

Это высказывание подчеркивает первостепенную роль поэлементного и хронологического принципа в изучении истории лексики и предпочитает вопросы: что? когда? почему?, на второй план отодвигаются поиски закономерностей и генеральных направлений в эволюции словаря. Но есть и другой подход, ср.: «цель исторической лексикологии – выяснение таких компонентов словарной системы языка, которые в истории их развития эволюционируют единым фронтом, т. е. обнаруживают прочные, устойчивые связи... Когда такие устойчивые группы будут намечены, следующая задача исторической лексикологии – установить их взаимодействие. Намеки на это мы уже имеем в старых монографиях. Следующий этап исторической лексикологии – установление циклов, чередование медленного, эволюционного развития и переломов в развитии словарного состава, резких, глубоких изменений, протекающих в относительно ограниченное время»¹². Этим высказыванием Б. А. Ларин наметил принципы системного исследования истории словарного состава, что стало принципиально новым явлением в теории исторической лексикологии.

Наше понимание содержания и задач исторической лексикологии русского языка сводится к следующему. Содержанием исторической лексикологии русского языка является изучение истории развития словарного состава с начала письменной истории языка до его современного состояния. В задачи ее входит: 1) выявление источников, путей и процессов пополнения лексической сокровищницы языка на разных этапах его истории; 2) изучение генезиса и динамики отдельных лексико-семантических групп, процессы обновления и устаревания отдельных слов и целых их объедине-

ний; 3) определение направления и закономерностей, тенденций изменения лексико-семантической системы, выявление специфики этих изменений в разных сегментах словаря; 4) анализ эволюции сфер употребления и стилистических качеств разных групп лексики в связи с развитием типов (стилей) литературного языка и динамикой отношений литературного языка и «нелитературных» разновидностей общенародного языка, воздействие контекста на динамику функциональных качеств лексики; 5) характеристика территориального распределения лексики, исторические изменения в соотношении общерусских и местных средств на каждом этапе, определение вклада отдельных говоров и наречий в общерусский лексический фонд, территориальная приуроченность семантических изменений.

К числу «вечных проблем» исторической лексикологии можно отнести проблему соотношения и взаимодействия церковнославянской и собственно русской лексики, равно интересующую лексикологов и историков литературного языка. По мере расширения круга источников здесь открываются новые явления. Так, некоторые из типично церковнославянских, по мнению А. А. Шахматова, элементов (см. их критическое рассмотрение в книге Ф. П. Филина¹³) оказались широко представленными в деловой письменности Москвы и провинциальных культурно-письменных центров XV–XVIII вв.: слова с неполногласием; отвлеченные имена на *-ость*, *-ство*, *-ение* и т. д.

На каждом этапе развития науки выдвигаются новые проблемы. Первоначально внимание ученых было сосредоточено на вопросах развития словарного состава, выявления источников его количественного пополнения, отсюда – внимание к этимологии, появлению новообразований, иноязычных заимствований, процессам архаизации лексики. Гораздо меньше изучалась семантическая структура исторического слова, сущность лексико-семантических изменений в тот или иной период, сужение и расширение семантического объема слова, метафоризация и метонимия, мало известно о воздействии контекста на динамику лексики, о территориальной приуроченности семантических изменений и о региональном распространении лексики. Недостаточно изучены особенности функционирования лексики в разных сферах, в памятниках разных типов. Работы В. В. Колесова и В. М. Мокиенко¹⁴ показали важность культурологической интерпретации лексики, т. е. выявления связей между словом и этнографическими, историческими

реалиями, философскими и религиозными понятиями, литературным этикетом эпохи. Сейчас полезно также сконцентрировать внимание на синтезе уже известного и на выявлении важнейших тенденций и закономерностей в длительном и непрерывном развитии словарного состава русского языка, в изменении системы в целом или отдельных ее звеньев на основных этапах истории языка.

Предложенный перечень задач не является исчерпывающим, но в их иерархии есть свой смысл. Важно подчеркнуть, что историческая лексикология — наука исключительно диахронная, так как она изучает развитие, эволюцию, последовательную смену состояний системы и отдельных ее звеньев. В отличие от нее описательная лексикология является наукой преимущественно синхронной, ее интересуют взаимоотношения лексических единиц в определенный, преимущественно современный период истории. Разумеется, непроходимой границы между исторической и описательной лексикологией нет: «Как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку уловить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории»¹⁵. Такими вопросами, выводящими описательную лексикологию в историю, являются, например, соотношение активной и пассивной лексики, архаичное и новое в словаре и т. д.

Коснемся проблемы соотношения общерусского и местного в составе словаря, поскольку есть мнение, что историческая лексикология должна заниматься только литературной лексикой. Историками языка уже установлено, что на разных территориях функционирования русского языка количественный объем различных групп лексики не был одинаков, подвижными были семантические границы между тематическими группами и отдельными словами, а количество общерусских лексических элементов в силу преобладающе диалектного характера русского языка донатонального периода было удручающе невелико (см. обобщенные сведения в нашей книге¹⁶). Какое же место должны занимать сведения по географии слов в исторической лексикологии? Не покушается ли историческая лексикология на то, что принадлежит исторической диалектологии? Думается, что у этих дисциплин есть вопросы общей компетенции, например, выявление общерусских и отграничение местных элементов в области лексики. Это важная задача, решение которой позволило бы воссоздать линг-

вистический ландшафт Русской земли в разные периоды ее истории, установить вклад отдельных наречий и говоров в общерусскую лексическую сокровищницу, исследовать пути и способы вхождения диалектных слов в общее употребление, в литературный язык, проследить за их семантическими и стилистическими превращениями. Изучение диалектных элементов в лексике связано и с проблемой «исконное – заимствованное», что предполагает фиксацию и описание межъязыковых контактов. Ограничив, как предлагается некоторыми исследователями, сферу действия исторической лексикологии только общерусским словарем книжно-письменного характера, мы столкнемся с такой проблемой: многие слова до вхождения в общерусский фонд длительное время употреблялись лишь на ограниченной территории, не были общерусскими. С какого же времени можно начинать изучать их историю в исторической лексикологии: с момента их появления в языке, с даты первой письменной фиксации, со времени вхождения в общенародный язык?

Данные письменных памятников, особенно поздних периодов, начиная с XVI в., позволяют весьма достоверно устанавливать территорию употребления слова. Подчеркнем, что диалектная лексикография, основанная на материалах XIX–XX вв., играет в таких исследованиях лишь вспомогательную роль. Территориальные границы слова более подвижны, чем ареалы распространения фонетического или морфологического явления. То, что было в лексике двести–триста лет назад, может не соответствовать сегодняшнему состоянию диалекта. Учитывая важную роль диалектов в языке донационального периода, следовало бы более интенсивно разрабатывать проблемы территориального распределения исторической лексики. Географические справки в общей истории слова должны носить обязательный, а не факультативный характер.

Рассмотрим другое направление междисциплинарных отношений. Ономастический анализ невозможен без установления мотивационного признака (для исконных слов) и характерного словообразовательного средства (для производных), поэтому в историко-лексикологическом исследовании актуальна проблема взаимоотношения лексикологии и словообразования. Деривационный анализ помогает понять причины, направление и характер изменения семантики слова. Одной из примет системности является единый набор словообразовательных моделей и мотива-

ционных признаков для всех элементов одной лексико-семантической группы.

Следующий аспект междисциплинарных связей – это отношения исторической лексикологии с историей русского литературного языка. Лексико-фразеологический уровень в значительной мере определяет темпы и направление изменений в литературном языке, обуславливает различия между его разновидностями (типами, стилями). С другой стороны, для полноты описания словаря эпохи важно учесть состояние лексики в разных жанрах и видах письменной речи, а опосредованно – и в устном общении, исследовать процессы нейтрализации народно-разговорных элементов в литературном языке, взаимодействие книжных и разговорных средств, специфику использования абстрактной и конкретной лексики в разных текстах. Взаимный интерес представляет изучение лексической синонимии или словарных групп, отличающихся подвижностью семантико-стилистических свойств, слабой зависимостью от сферы употребления.

Сложность стилистического изучения истории лексики состоит в разной наполненности понятия «стилистическая характеристика» по отношению к разным периодам истории языка. Учитывая ограниченность языкового материала, связанного с некоторыми историческими эпохами, было бы разумно применительно к древнерусскому отрезку устанавливать лишь сферу функционирования слова; для эпохи XV–XVII вв., кроме этого, указывать степень конкретности–отвлеченности, активности–пассивности, характеризовать слова по признаку «книжное–нейтральное–разговорное»; для новорусского и национального периодов есть реальная возможность разграничения нейтральных и стилистически маркированных средств с учетом их эмоционально-экспрессивной окрашенности и функционально-стилевой обусловленности. Могут быть предложены и другие варианты стилистического описания лексики, но при этом должен быть учтен уровень разрешающей возможности языкового материала в зависимости от его полноты и доказательности. Не следует навязывать и приписывать прошлому то, что не было ему свойственно.

Лексика в историческом плане изучена неравномерно. Предпочтение в первую очередь отдавалось группам, наиболее важным в аспекте отражения объективной действительности: географической и земледельческой лексике, этнонимам, терминам родства и свойства, ремесленной терминологии, наименованиям частей тела,

названиям животных, лексике торговли и быта, названиям орудий труда и оружия; из словарного состава более позднего времени активно изучались терминосистемы разных наук, лексика культуры, интернационализмы. Исследованы названия качеств и признаков, цветообозначения, глаголы, обозначающие действия, движения и состояния. Конечно, на этапе обобщения будет желательно показать историю всех пластов лексики, но проблема выбора неизбежна. Как тут поступить? В лексике есть устойчивые, малоподвижные группы: термины родства, названия животных, лексика рельефа, отдельные группы глаголов и т. д., но есть и очень динамичные в семантико-стилистическом отношении слова: лексика сферы сельского хозяйства и быта, названия лиц и предметов по разным признакам, административно-юридические названия, слова, связанные с психическими свойствами и переживаниями человека, эмоциональная лексика, народная терминология. Устойчивой лексике можно уделить больше внимания при описании древнерусского словаря, а при описании последующих этапов отмечать лишь сдвиги в ее составе. Лексика, для которой характерна большая подвижность лексико-семантических и стилистических качеств, должна быть подробно описана на каждом этапе исторического развития языка. В целом же полнота описания может быть достигнута не столько на пути полной инвентаризации, максимальной комплектности лексики (такая цель представляется пока нереальной), сколько за счет более глубокого и всестороннего описания процессов, охватывающих отдельные слова и целые лексические объединения.

Можно предложить примерные списки наиболее значимых с точки зрения экстралингвистических критериев групп лексики в древнерусском языке:

I. Древнерусская лексика дописьменной эпохи: термины земледелия, скотоводства, охоты, рыболовства, бортничества, мифологии, астрономии, счисления времени, лексика пищи, одежды, построек, ремесел, мер, родства и т. д.

II. Лексика древнерусского языка X–XIII вв.

1. Лексика в коммуникативной функции:

A. Роды занятий и виды деятельности человека:

1) Повседневно-бытовая лексика и фразеология: быт, жилище, хозяйственные постройки, хозяйственные занятия, охота, торговля, административное устройство, грамотность и книжность, социальные группы и типы.

2) Профессионально-ремесленная терминология: военная, финансовая, медицинская, строительная, ткацкая, добычи и обработки металлов, минералов и кости, изографская, певческая, книжного дела и т. д.

Б. Имена собственные: ономастикон, топонимика, гидронимика, этнонимика.

В. Географическая лексика.

Г. Дипломатическая лексика, этикетные выражения и формулы.

Д. Философская, богословская и мировоззренческая терминология.

Е. Естественно-научная и техническая терминология. Математические и педагогические термины.

Все группы лексики (от А до Е) анализируются также и в генетическом аспекте: исконно славянский пласт, иноязычный пласт (грецизмы, латинизмы, германизмы, тюркизмы, иранизмы, западно- и южнославянская лексика и т. д.), кальки, окказиональные слова и выражения.

2. Лексика в эстетико-образной функции: слово в художественном тексте с позиций книжно-византийского и фольклорного начал.

Подчеркнем, что классификация лексических групп и их выбор должны диктоваться особенностями духовной и хозяйственной жизни древнего русича, а не логическими схемами Халлига – Вартбурга и др.

Что касается частеречной принадлежности, то историческую лексикологию привлекают постоянно обновляющиеся классы слов с номинативным значением: имена существительные, связанные с ними тематически и словообразовательно имена прилагательные, наречия и глаголы, т. е. наиболее активные в процессе общения лексические средства. Чем богаче семантика слов, тем вероятнее необходимость их изучения в исторической лексикологии. Думаем, что сюда можно не включать историю предлогов и союзов, поскольку их генезис рассматривается в историческом синтаксисе. Числительные столь же детально изучаются в исторической морфологии.

В исторической лексикологии слово изучается во многих аспектах. Появление и оформление каждого нового аспектного направления имеет свою историю. Длительное время преобладал динамический аспект, т. е. регистрация количественных измене-

ний в лексике в определенный промежуток времени и констатация наличия и отсутствия известных слов на нескольких синхронных срезах. Сейчас все решительнее утверждается ономасиологическое и семасиологическое изучение исторической лексики, что влечет за собою закрепление системного подхода. Больше внимания уделяется внутрисловным связям значений, внутригрупповым семантическим связям слов, формальному и семантическому варьированию лексем. Укрепляющийся функциональный аспект формирует оригинальную сущность исторической лексикологии как науки, исследующей законы исторической жизни слова, особенности его бытования в языке разных эпох. По мнению В. М. Мокиенко, соотношение аспектов исследования должно определяться конкретным материалом: «Там, например, где давление экстралингвистических фактов на семантику лексики очень сильно, следует больше акцентировать ономасиологический аспект, там же, где ее эволюция связана с системными языковыми связями – семасиологический. Во многом акцент описания будет зависеть и от периода описания. Так, варьированию следует уделить особое внимание при анализе лексики XVIII в., а функциональным “изменениям” – лексики XIX и XX вв.: это соответствует “духу времени”, которое подвергается описанию»¹⁷.

Историческая лексикология, кроме традиционных: сравнительно-сопоставительного, нормативно-стилистического, использует и новые методы и приемы анализа языкового материала. Так, приемы структурно-семантического анализа (компонентный, дистрибутивный) неплохо служат при исследовании юридической, метрологической и другой подобной лексики, где между словами имеются четкие семантические противопоставления, а между понятиями, связанными с этими словами, – симметричные отношения (см. образцы анализа в работах¹⁸). Перспективны методики «опозиционного», группового рассмотрения лексического материала¹⁹. Эти методы помогают увязывать огромный фактический материал. В остальных случаях предпочтительнее приемы контекстуального анализа, так как историк языка всегда зависит от материала, ср.: «объектом лексикологии, строго говоря, является не слово, а тексты, в которых мы вычленим искомое, исследуемое слово и путем широкого сопоставления большого количества текстов изучаем те изменения, которые происходят и в его знаковой, и в его смысловой стороне»²⁰.

Рассмотрение контекста должно быть всесторонним и критическим. Включая в число источников переводные тексты, например, с греческого языка, мы должны предусмотреть разработку методики выявления значения слова в переводном памятнике. Иногда из-за ограниченного объема русского контекста слову приписывают в полной мере то значение, которое имеет его эквивалент в языке-источнике, но ведь даже и прямые заимствования (грецизмы в древнерусских текстах) подвергались семантическому и стилистическому переосмыслению. Тем более не было абсолютного подобия между кажущимися тождесловами двух разных языков, связанных с разными культурами и неодинаковым мировосприятием. Толкование смысла слов, обеспеченных немногими и к тому же неясными цитатами, может быть только предположительным.

Применение оправдавших себя традиционных и уже проверенных новейших исследовательских методов и приемов должно обеспечить не только современность исследований, но и необходимую строгость, которая зависит также от сознательной установки на приоритет фактов. Прямые свидетельства и доказательные факты признаются наиболее весомым аргументом. Опосредованные и косвенные подтверждения занимают второстепенное место.

Огромный масштаб работы по обобщению накопленных историко-лексикологических знаний и ожидаемые стимулирующие последствия такого обобщения как для исторической лексикологии, так и для смежных наук диктуют необходимость неотложных практических действий по более активной координации творческих усилий немногочисленного отряда лексикологов – историков языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 43.

² Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. – М., 1968. – Т. 3. – С. 5.

³ Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. – СПб., 1910; Он же. Лингвистические и археологические наблюдения. – СПб., 1914.

⁴ Kiparsky V. Russische Historische Grammatik. Bd. III: Entwicklung des Wortschatzes. – Heidelberg, 1975. – 375 с.; Еленский И. Историческая лексикология русского языка. – Велико Търново, 1980.

- ⁵ Русская региональная лексика XI–XVII вв. – М., 1987. – С. 12–13.
- ⁶ Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // Виноградов В. В. История слов. – М., 1999. – С. 5–38. См. более позднюю статью его ученика: Дерягин В. Я. Проблема семантического тождества слова в исторической лексикологии // Русский язык. Языковые значения в функциональном и эстетическом аспектах. – М., 1988.
- ⁷ Сороколетов Ф. П., Кузнецова О. Д. Очерки по русской диалектной лексикографии. – Л., 1987. – С. 197.
- ⁸ Судаков Г. В. Предметно-бытовая лексика в ономаσιологическом аспекте // Вопросы языкознания. – 1986. – № 6. – С. 105–112.
- ⁹ Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – М., 1954. – С. 18–19.
- ¹⁰ История русского литературного языка старшей поры. Проспект коллективного исследования / Сост.: А. А. Алексеев, А. А. Архипов, Е. М. Верещагин, В. П. Вомперский. – М.: АН СССР. Ин-т русского языка, 1989. – С. 8.
- ¹¹ Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологии: Древнейший период. – М., 1956. – С. 3.
- ¹² Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание... – С. 12–13.
- ¹³ Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. – М., 1981. – Гл. 1.
- ¹⁴ Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986; Он же. Древнерусский литературный язык. – Л., 1989; Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко-этимологические и этнолингвистические очерки. – Л., 1986.
- ¹⁵ Пауль Г. Принципы истории языка. – М., 1960. – С. 43.
- ¹⁶ Судаков Г. В. География старорусского слова. – Вологда, 1988.
- ¹⁷ Историческая лексикология и лексикография русского языка. – Вологда, 1988. – С. 38–39.
- ¹⁸ Смолина К. П. Компонентный анализ и семантическая реконструкция в истории слов // Вопросы языкознания. – 1986. – № 4. – С. 97–105; Быстрякова О. И. Названия мер жидкостей в русском языке XVII в. // Диалектное и просторечное слово в диахронии и синхронии. – Вологда, 1987. – С. 10–21.
- ¹⁹ Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси...; Трубочев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт

групповой реконструкции). – М., 1966; Толстой Н. И. Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. – М., 1969.

²⁰ Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 17.

2. О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РУССКОГО СЛОВА

1 января 2001 года человечество перешагнуло историческую границу столетия и тысячелетия одновременно. От нас стремительно отдалился двадцатый век, достоянием истории стал век девятнадцатый, сблизился с Средневековьем восемнадцатый век. Язык «от Пушкина до Горького», очевидно, перестал быть современным. Проблема периодизации для исторической лексикологии русского языка стала особо актуальной.

Какие единицы, явления, процессы должны стать критериями для построения периодизации? На какие группы лексики или на какие процессы ориентироваться, намечая хронологическую схему? Как увязать ее с неравными темпами изменчивости разных пластов лексики? Какова степень зависимости периодизации истории лексики от истории этноса, пользующегося данным языком?

Но даже эти вопросы представляются частными по сравнению с такими глобальными проблемами, как, например, выбор начальной точки отсчета с связи с неочевидностью единства и тождества русского языка на протяжении всего периода его развития, учитывая его доисторическое (дописьменное) состояние. Целесообразно ли объединение в одно целое истории лексики двух родственных, но разных по времени функционирования языков: древнерусского (восточнославянского) V–XIII вв. и русского (с XIV в.)? Когда начинается новое, национальное состояние в истории русской лексики? Есть ли принципиальные отличия в развитии лексики национального языка от динамики словаря в донациональный период? Связаны ли между собою границы «лексических» периодов и акции нормативного характера, например, издание «Словаря Академии Российской» (1789–1794), «Словаря церковнославянского и русского языка, составленного Вторым отделением Академии наук» (1847) и т. д.?

Еще не обсуждалась и проблема выбора конечной точки отсчета для исторической лексикологии. Где заканчивается ее компетенция и начинается современная синхронная русская лексикология?

Содержательные дискуссии по этому поводу проходили в восьмидесятих-девяностых годах прошлого века¹.

Выбор начальной границы, казалось бы, предельно прост. История русских лексико-фразеологических единиц начинается со времени появления древнерусского языка, который, непрерывно развиваясь, перешел в старорусский язык и т. д. Древнерусский язык старшей поры, по традиционной версии существующий с V–VI вв. н. э., не был зафиксирован письменностью, его фиксация начинается со второй половины X в. (письменные источники сохраняются с XI в.). Реконструкцией лексики дописьменных эпох занимается этимология, имеющая свой предмет и объект исследования, использующая свои приемы и методы. Как справедливо заметил В. В. Виноградов, «историко-лексикологическое изучение слова нельзя отождествлять и сливать с историко-этимологическим. Последовательность и ход изменений значений слова, разъяснение тех реальных исторических условий, в которых протекали эти изменения, остаются по большей части за пределами этимологических исследований»². Описать дописьменную историю древнерусской лексики невозможно без этимологии, но собственно историко-лексикологическое исследование начинается с обращения к письменным источникам прошлых эпох. Однако, следует отдавать отчет в том, что в письменности старшего периода засвидетельствована далеко не полная картина языка, отражение реального словаря эпохи в этой письменности фрагментарно. Поэтому в историко-лексикологическом исследовании обязательны элементы реконструкции, в чем-то близкие этимологизированию по методам, но имеющие свою специфику в привлекаемых источниках, в хронологической глубине исследования и в его целях.

У исторической лексикологии и этимологии есть еще один общий объект: этимология слов, вошедших в русский язык в историческую, то есть письменную эпоху. Здесь данные письменных памятников, дополненные материалами исторического словообразования, играют первостепенную роль, здесь историческая лексикология помогает этимологии.

Поскольку историческая лексикология – это наука об исторических изменениях письменных источников, то этим определяется и начальная дата для исторической лексикологии русского языка (но не для истории лексики) – вторая половина X в., что – повторяем – не исключает необходимости описания праславянского и древнерус-

ского дописьменного лексического наследия как предыстории, как предлагал в свое время Ф. П. Филин: начать с реконструкции словарного состава языка восточных славян дописьменной эпохи, когда устная речь в ее диалектных разновидностях была единственным средством общения»³, здесь же он рассмотрел источники и методику такой реконструкции. Базой реконструкции будут свидетельства древних авторов (на греческом, арабском, латинском языках), сравнительные данные из более поздних славянских текстов, диалектные факты.

Временные границы при разделении истории языка или истории отдельных его уровней условны (не абсолютны, относительны), но они должны отражать имманентные, свойственные именно лексической системе принципиальные сдвиги. Критериев для выделения «лексических» периодов может быть несколько. Рассмотрим их в порядке, соответствующем их значимости в истории развития лексико-фразеологического состава русского языка.

Прежде всего должны быть учтены преимущественные источники пополнения словаря: внешние заимствования или свои, исконные средства. Развитие лексики напрямую зависит от хода культурно-исторического процесса. Так, на раннем этапе письменной истории русского языка важную роль играл греко-славянский симбиоз. Важны также взаимоотношения между общенародной и диалектной лексикой или активизация отдельных типов новообразований непосредственно в литературном языке или в сфере просторечия. Для разных словарных групп источники пополнения в один и тот же период были заметно неодинаковыми: отвлеченная лексика в древнерусский период – в значительной части сколок греческой мудрости, а конкретные наименования бытового характера самобытны по происхождению и наследуются из праславянской эпохи. Сюда же входит функционально-стилистическая характеристика лексики.

Вторым критерием могут быть избраны преимущественные тенденции (направления) лексико-семантических изменений. При этом должно быть учтено влияние изменений в структуре литературного языка, в составе говоров и в их отношениях с литературным языком, расширение словарного состава (какие именно предметно-тематические и лексико-семантические группы пополняются, какие деривационные процессы активизируются). Учитывается ситуация с семантической диффузностью лексем и пути ее преодоления. Здесь же рассматриваются типы семантических

переносов, развитие слов-символов, характер лексической системности.

Третьим основанием для хронологии могут быть преимущественные направления изменений в сферах употребления разных групп лексики.

В-четвертых, нужно учесть степень развития лексической вариантности и синонимии в разных типах (формах) речи.

Конечно, эти критерии взаимосвязаны, подвижность одного вызывает сдвиги в содержании другого. Какие-то критерии первостепенны лишь для выделения периодов, вся совокупность их требуется при подробной характеристике того или иного периода.

Быстрая изменчивость лексики обуславливает более дробную периодизацию ее истории по сравнению с аналогичными периодизациями для других уровней языка. Трудность построения хронологической схемы эволюции словаря определяется неодинаковыми свойствами и темпами изменчивости разных пластов лексики. Поскольку обновляемость разных пластов лексики неодинакова, то при создании периодизации нужно ориентироваться как на изменение наиболее подвижных лексико-фразеологических разрядов, так и на хронологические границы лексико-семантических процессов.

Предлагаем в качестве дискуссионного следующий вариант периодизации истории русской лексики. Он будет в чем-то соответствовать периодизации истории русского литературного языка, а в общих чертах совпадать с историей развития культуры и общественной мысли России. Здесь принят взгляд на русский язык как единство книжно-письменной и народно-разговорной разновидностей, поэтому периодизация в равной мере учитывает и характер литературного словоупотребления, свойственного той или иной эпохе, и состояние словаря живой устной речи.

I. Древнерусский период (вторая половина X–XIII в.):

1. Лексика языка Киевской Руси (вторая половина X–XI вв.);
2. Лексика языка периода русских феодальных княжеств (XII–XIII вв.).

II. Старорусский период (XIV – первая половина XVI в.).

III. Новорусский период (вторая половина XVI в. – первая четверть XIX в.):

1. Лексика начального периода формирования русской нации (вторая половина XVI в. – 60-е годы XVII в.);

2. Лексика языка Петровской эпохи и начала нормализации языка (конец XVII в. – середина XVIII в.);

3. Лексика периода русского просветительства (60-е–90-е гг. XVIII в.);

4. Лексика пушкинской эпохи (первая четверть XIX в.).

IV. Национальный период (30-е гг. XIX в. – начало XX в.):

1. Лексика периода демократизации общественной жизни России (30-е–60-е гг. XIX в.);

2. Лексика периода капитализма и развития пролетарского движения (70-е гг. XIX в. – 1917 г.).

Кратко охарактеризуем выделенные периоды.

I. Основу словаря древнерусского периода составили исконные элементы и новые греческие заимствования, а содержанием лексических процессов явилось формирование слоя книжно-письменных средств в связи с появлением письменности, взаимодействие церковнославянизмов и народно-разговорных элементов, что вызвало рост синонимии, стилистическую перестройку словаря, появление новых лексико-семантических парадигм. Промежуточной вехой стал XII в., когда развитие феодальной раздробленности, возрастание роли отдельных культурно-письменных центров привело к усилению вариантности и диалектной дробности в лексике, поэтому для второй половины этого периода, кроме проблемы взаимоотношения церковнославянизмов и народно-разговорных элементов, важно и взаимоотношение общерусских и местных средств (ср. подробный план данного раздела⁴).

II. В лексике старорусского периода происходят следующие процессы: реславянизация и нарочитая архаизация, экспансия церковнославянизмов и «приказных» штампов в новые речевые сферы, резкое противопоставление семантико-стилистического и культурного статуса книжных и разговорных средств, размежевание сфер употребления лексических групп по признаку «родовое» – «видовое», развитие интеграции в диалектной лексике. Начало формирования общерусской литературной лексической нормы в городских койне и лексикографической кодификации литературно-письменного языка. Новые семантические процессы в лексике: расширение многозначности и метафоризации, развитие гипонимо-гиперонимических отношений.

III. 1. Для данного этапа особенно заметна демократизация и укрепление общерусских начал. Активизируется словообразование на русской почве, увеличивается число экспрессивов, развивают-

ся терминосистемы. В связи с началом книгопечатания усиливается внимание к правилам словоупотребления. Усвоение заимствований осуществляется в основном через польское посредство, к концу периода их приток усиливается благодаря воссоединению Украины с Россией, влиянию форм западноевропейского быта и цивилизации, появлению театра и новых литературных жанров.

2. Расширяется полифункциональность литературного языка, обогащается тематика письменных текстов, что ведет к количественному пополнению словаря, в литературный язык переходят многие общенародные стилистически нейтральные средства. Ограничиваются функции книжнославянской архаики, активизируется отбор жизнеспособных славянизмов. Происходит увеличение иноязычных заимствований и процесс калькирования. Наблюдается множественность тождественных обозначений и широкая синонимия лексических средств, проявляется конкуренция синонимичных или тождественных аффиксов. Расширяется состав отвлеченной лексики.

3. Начинается формирование просторечия как части литературного языка, расширяется сфера употребления народно-разговорной лексики, диалектизмов. Наблюдается усиленное – до избыточности – обогащение словаря с помощью разных способов номинации, развивается перифрастичность. Одновременно усиливается упорядочение лексического состава литературного языка на системной основе, возрастает влияние норм литературного словоупотребления на просторечную и диалектную лексику повседневной речи (при характеристике использованы некоторые выводы монографии⁵).

4. Завершается формирование просторечия. Ликвидируется размежевание лексических пластов по их происхождению в стилистическом плане. Снимается проблема славянизмов как особой категории книжно-литературных средств. Усиливается приток иноязычных слов и интернационализмов.

IV. Создается единая и широко разветвленная (с функционально-стилевыми разрядами) лексико-семантическая и фразеологическая система. Активно развивается терминология. Усиливается процесс семантической и стилистической дифференциации слов разного происхождения с первоначально общим значением. Замедляется развитие лексических диалектизмов. Наблюдается волнообразное развитие лексической нормы: этапы стабилизации, иногда принудительной («советский новояз»), сменяются этапами

усиленного пополнения литературного словаря, решительного обновления форм и средств публичного общения.

В целом периодизация истории лексики, как видим, может и должна быть продвинута ближе к нашему времени, чем периодизация исторической грамматики, поскольку лексика – более динамичный и быстрее обновляющийся ярус языка. Так, лексико-семантические процессы и нормы словоупотребления в советский период заметно отличаются от того, что наблюдалось в русском языке второй половины XIX – начала XX в.⁶ В то же время грамматические и особенно фонетические (без учета динамики литературного произношения) нормы с середины XIX века и до наших дней не претерпели существенных изменений.

Чем объясняется похожесть предложенной периодизации на существующие периодизации истории литературного языка? Существующие периодизации истории литературного языка строятся на этнокультурных основаниях, конкретное же различие между периодами определяется в основном сдвигами в лексико-фразеологическом наполнении всех разновидностей литературно-письменного, а позднее – и устно-разговорного языка, поэтому периодизация истории литературного языка и хронологическая схема развития словарного состава в основных чертах будут совпадать. Похожесть этих периодизаций обусловлена их объективной зависимостью от истории этноса и эволюции его культуры.

Обобщающий труд по исторической лексикологии русского языка должен отражать выявленную периодизацию в истории лексики: праславянское лексическое наследие (см. блестящее исследование О. Н. Трубачева⁷) и древнерусский словарь дописменного периода, лексика древнерусского периода, лексика старорусского периода, лексика новорусского периода, лексика русского национального языка.

Внутри «хронологических» разделов может быть изложена история избранных, наиболее важных тематических групп, которые, в свою очередь, объединяются вокруг ключевых слов – хроногloss, причем изложение истории ключевых слов должно носить сквозной характер. В заключительной части каждого раздела следует описать основные закономерности и направления развития лексики соответствующего периода. Этот вариант описания наиболее применим по отношению к древнерусскому периоду. При описании лексики последующих эпох, начиная с XIV в., можно уделить больше внимания закономерностям из-

менения, тенденциям, особенностям функционирования лексики, используя для иллюстраций историю отдельных групп, опираясь на результаты уже выполненных исследований. При выборе принципа изложения материала: история групп или история процессов – предпочтение должно быть отдано истории процессов. История групп ввиду многочисленности групп будет использоваться как материал, иллюстрирующий историю процессов, выявленные закономерности и тенденции развития. Стержнем, связующим описание истории лексики разных периодов, будут как исторические судьбы ключевых слов, так и история лексических процессов, направлений развития, пронизывающих несколько периодов подряд.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., например: Историческая лексикология и лексикография русского языка. – Вологда, 1988. – С. 9–12 (на вопрос «Каковы хронологические рамки периодов, изучаемых исторической лексикологией русского языка? Как Вы обосновываете выбор начальной и конечной точек отсчета?» ответили М. А. Брицын, А. Д. Васильев, Л. А. Глинкина, В. Г. Демьянов, Л. П. Клименко, В. М. Мокиенко, Г. В. Судаков, Е. Ф. Широкопад); Судаков Г. В. Проблема периодизации в исторической лексикологии русского языка // Вопросы исторической семантики русского языка: Лексика и синтаксис. – Калининград, 1990. – С. 5–11; Историческая лексикология русского языка: Теоретический комментарий. Программа курса. Литература / сост. О. А. Черепанова, К. П. Смолина // Русская историческая лексикология и лексикография. – Вып. 5. – СПб., 2000. – С. 229–232.

² Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. 39.

³ Филин Ф. П. Историческая лексикология русского языка: Проспект. – М., 1984. – С. 46.

⁴ Историческая лексикология русского языка: Теоретический комментарий. Программа курса. Литература... С. 235–239.

⁵ История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века. – М., 1981. – С. 18–21, 31–43, 124–128.

⁶ Русский язык и советское общество: Лексика современного русского литературного языка. – М., 1968.

⁷ Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. – М., 2003.

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Изучение истории русского слова предполагает выяснение времени от времени тех проблемных ситуаций, которые сдерживают прогрессивный ход развития одной из древнейших отраслей лингвистической науки – исторической лексикологии. Эти проблемные вопросы следует разделить на две группы: а) проблемы развития лексикона в целом, б) проблемы изменения формы и семантической структуры отдельно взятого слова. То и другое одинаково важно, но первая группа проблем реже принимается во внимание, хотя никакое историко-лексикологическое исследование не может быть корректным, если исследователь не имеет какой-то версии развития словарного состава в интересующий его исторический период. Историческая лексикология русского языка как обобщение истории русского слова состоит из следующих трех компонентов:

1) описание на определенном историческом отрезке **истории отдельных слов** с их семантическими и словообразовательными связями,

2) изучение **формирования и функционирования основных лексических групп**,

3) **исследование важнейших процессов** в лексической системе языка.

Попробуем по порядку сформулировать проблемы первой и второй группы и проиллюстрировать некоторые из них, опираясь на последние по времени публикации. Отметим, что интересующие нас вопросы в общем виде были рассмотрены в книге «Историческая лексикология и лексикография русского языка»¹, позже регулярно затрагивали в своих публикациях Л. Ю. Астахина, А. Д. Васильев, В. Г. Демьянов, В. В. Колесов, К. П. Смолина, О. А. Черепанова и др.²

Проблемы изучения общей истории русского лексикона

1. Отсутствие или нечеткость **периодизации** истории русского слова. Если с начальной границей этой истории более или менее ясно: это первые памятники письменности, то о конечной точке, кажется, мы мало еще и задумывались, хотя очевидно, что язык «от

Пушкина до Горького» отошел в историческое прошлое и словарь современного русского литературного языка при всем уважении к традициям начинается с 20-х гг. XX в., поскольку лексика – феномен чрезвычайно подвижный. Важным является также определение границ между древнерусским и старорусским периодами или между старорусским (донациональным) и новорусским (национальным) периодами. Даже если и не удастся достичь единства мнений по поводу хронологических границ (см. наш вариант³), то и при наличии разных периодизаций важно знать, какое направление избрал тот или иной исследователь, чтобы понимать ход его мыслей. Положительный эффект такой дискуссии – формирование критериев, оснований для периодизации, т. е. выявление определяющих факторов развития истории слова.

2. Время и интенсивность **процесса «славянизации»** в русской лексике. Причем здесь важно не только количественное преобладание или уменьшение числа славянизмов, но их влияние на словообразовательные процессы, на общую стилистическую тональность контекстов и отсюда – на «заражаемость» разговорной и просторечной лексики книжно-славянскими интонациями.

3. Интенсивность процесса **освоения просторечно-разговорной лексики** литературным языком. Если принять во внимание разговорный элемент в агиографических текстах XV–XVIII вв., обилие диалектных и просторечных лексем в деловой письменности, начиная со времени первых берестяных грамот, влияние московских канонov приказного письма, то, вероятно, следует признать старорусский литературный язык гораздо более демократичным, чем это пока декларируется сложившейся научной традицией.

4. Временные границы и интенсивность влияния **иноземных элементов** на развитие русского слова по периодам: греко-византийское воздействие, тюркоязычное влияние, финно-угорское взаимодействие, украинско-польское посредничество, западноевропейское (немецкое, французское, английское) влияние и т. д.

5. **Факторы, определяющие развитие словарного состава** в каждый конкретный исторический период, и те **языковые стра-ты**, в которых в этот период **происходят решающие для всего лексикона динамические или функционально-стилистические изменения**.

6. **Типология лексических групп**, динамично меняющаяся с изменением факторов развития лексико-семантической системы.

Для этого, вероятно, необходимы сравнительно-сопоставительные исследования структуры нескольких лексико-семантических групп с учетом специально избранных критериев, например: способность группы к номенклатурному дроблению; соотношение родовых и видовых наименований в составе группы; степень аналитичности группы (соотношение числа мотивированных и немотивированных слов); степень развития синонимичности в группе (отдельно – для родовых и видовых слов); контекстуальная закреплённость значений и т. д.

Рассмотрим одну из указанных особенностей с учетом ее проявления в старорусской лексике. Способность группы к номенклатурному дроблению, с одной стороны, стимулируется социально-культурными и иными потребностями социума в наличии разнородных и разнохарактерных реалий предметного мира или духовных явлений, а с другой стороны, ограничивается множеством ситуаций, когда точное название предмета не обязательно. Причем это в равной мере касается как наименований предметов (слов с конкретным значением), так и названий духовных процессов и действий. Обычно это называют диффузностью или синкретизмом значений⁴. Но, во-первых, размытость границ денотата – нормальное явление в номинации и в повседневной речевой практике (кто из нас, кроме профессионалов, разбирается хотя бы в разновидностях сосудов для питья, столовых тарелок, ножей и пр.?!). О размытости как общем свойстве денотативных границ писал У. Лабов⁵. Размытость границ денотатов обуславливает нечеткость смысловых границ многих слов. Во-вторых, следствием вышесказанного является отсутствие жесткой закреплённости слова за реалией определенного вида⁶. Можно говорить о существовании взаимозависимости между объединением функционально близких реалий и группой соответствующих им слов: почти все близкие по внешним признакам реалии могут быть названы почти всеми словами соответствующей лексической группы, т. е. почти каждая отдельная реальность сообщества может быть названа почти любым или во всяком случае несколькими словами из соответствующей лексической группы: *блюдо – тарелка – ставец, ларец – скриня – коробка – шкатулка*. См. характерные признания старорусских писцов: «В прежних переписных книгах тот сундучок написан *скриня* с черпаками шитими» (1690) [РИБ-8, с. 965]; «В прежних переписных книгах написана та шкатунка *скринка* подорожная небольшая с посудою оловяною столовою» [Там же,

с. 1039]. Если это называть проявлением синонимичности лексем, то, вероятно, это и синонимичность особого рода.

7. Неодинаковая значимость лексем и целых лексико-семантических и тематических групп для речевой практики социума и главное – **неодинаковая роль их в процессе функционирования и развития лексико-семантической системы языка**. Составление реестра актуальных в этом отношении лексем и лексических групп – важная задача исторической лексикологии русского языка.

Названные общие проблемы развития лексикона могли бы быть учтены в обобщающей монографии по исторической лексикологии русского языка, которая стала бы одновременно важным моментом консолидации мнений ученых. По крайней мере, несогласные с концепцией обобщающего труда могли бы заявить о своем видении этих проблем, что способствовало бы дальнейшему прогрессу науки об истории языка.

Проблемы, касающиеся истории отдельного слова

1. Один из наибольших грехов в работе над историей отдельного слова – это **некорректный выбор источников**. Прежде всего мы имеем в виду случаи, когда источником (одним из источников) избираются словари. Некоторые коллеги, особенно юные, относятся к словарю, как к Библии, и без раздумий переносят в свои работы все данные словаря, включая их ошибки, огрехи и прямые недостатки. В одной из своих работ мы показали, как плохо соотносятся совершенно темные, семантически невнятные цитаты и содержащиеся в некоторых новейших лексикографических трудах толкования значений слов, как исследователи, не имея семантически прозрачных и ясных иллюстраций, приписывают «историческим» словам значения из словаря Даля или современных диалектных словарей⁷. По справедливому мнению Н. Ю. Шведовой, все групповые отношения, в которые вступает слово (частеречные, лексико-семантические, собственно грамматические, словообразовательные – для производных слов, деривационные, синтаксические связи, семантические связи, стилистические, функциональные – сфера употребления, хронологические и локальные, квалификационные и оценочные, орфоэпические, акцентологические, орфографические), должны быть в той или иной мере подтверждены иллюстрацией – оправдательной цитатой⁸. Ср. по этому по-

воду замечание Л. В. Щербы: «Не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше разнообразных примеров»⁹. Между тем иногда исторические словари фиксируют историческую лексему почти как экзотическое явление вместо того, чтобы давать разнообразный материал, иллюстрирующий значения слова и особенности его употребления. Сдержанное отношение исследователя к памятникам письменности или боязнь работы с ними – верный признак поверхностного труда. Без глубокой основательной работы с текстами не может быть научной истории языка. Иерархия исторических источников (по степени их значимости для исследований по истории русского слова) видится нам следующим образом: а) исторический текст (оригинал или добросовестная публикация), б) словарь языка соответствующей эпохи, в) научные источники по истории материальной или духовной культуры соответствующей эпохи (по истории той сферы жизнедеятельности общества, к которой имеет отношение фрагмент изучаемого лексикона), г) словари языка более ранних или более поздних периодов.

Для истории русского слова нет источника более надежного и более коварного, чем исторический письменный текст. В свое время профессор С. И. Котков (1906–1986) сформулировал основные требования к лингвистическому источнику и тем самым заложил начала лингвистического источниковедения (см. его книгу: [Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – М., 1980]). Специалисты по исторической лексикологии знают, что контекст, извлеченный из письменного источника, иногда оказывается единственным, к тому же и невинным в отношении лексической семантики исследуемого слова. Идеально, когда исследователь имеет дело с оригиналом – рукописным текстом источника и квалифицированно читает и интерпретирует его. Проблематично вести исследование на основе изданного источника, здесь решающую роль играет личность автора издания и зависящий главным образом от этой личности «критерий достоверности»¹⁰. Разные источники неодинаково отражают историю слов и динамику лексико-семантических процессов в языке: одни фиксируют смещение родо-видовых соответствий в тематической группе, другие запечатлели процесс движения «от конкретного к абстрактному» в пределах одного текста. Укажем еще на гапаксы и созданные воображением публикаторов и исследователей псевдогапаксы и вспомним отношение И. И. Срезневского к подобным

словам-недоразумениям: когда он сомневался в подлинности существования слова, то вносил его в словарь со знаком вопроса, намечая перспективу в разрешении вопроса для будущих исследователей.

Необходимо учесть, что история русского слова XVIII–XIX вв. изучалась некоторое время главным образом на основе печатных источников (например, это стало принципиальным положением для составителей Словаря русского языка XVIII в., см. также работы Ю. С. Сорокина, В. В. Веселитского), что, естественно, не обеспечивало всей полноты картины явлений и процессов, происходивших в словарном составе, особенно для XVIII в., когда преобладали столичные издания, а провинциальная печать и книгоиздания фактически отсутствовали. Между тем обращение к местной письменности (см. работы Л. А. Глинкиной, М. С. Выхрыстюк, И. А. Малышевой, О. В. Никитина, Е. Н. Поляковой, О. В. Трофимовой и др.) существенно расширяет представления о всей картине происходящего в языке¹¹. Применительно к XIX в., когда заметно возросла местная пресса (губернские и епархиальные ведомости, записки архивных комиссий, адреса-календари и т. д.), появились краеведческие издания, можно сосредоточиться на этом массиве источников.

2. Второе обстоятельство, снижающее качество исследований, – это невнимание к **сочетаемости** слова, нежелание учесть разнообразные контексты употребления слова (атрибутивные, объектные и т. п.), хотя для исторического слова, когда исследователь не может опереться на собственный опыт носителя языка, эти вещи более важны, чем для современной лексемы, тем более что с этим связано и выявление многообразных вариантов и модификаций самого изучаемого слова: фонетико-графических, словообразовательных, морфологических и пр.

Мнение о начале в национальный период осознанного отношения к проблемам развития и функционирования языка вполне справедливо и никем не оспаривается. Тем любопытнее более ранние (до XVIII в.) примеры внимания к речевым фактам, особенно процессам номинации, у древнерусских книжников (см. в главе I пункте 4 «О языковом сознании древнего русича»).

3. Важный момент – **частота употребления**, о которой во многих случаях исследователи нам ничего не сообщают. Представляется, что все случаи немногочисленного, особенно единичного употребления должны обязательно указываться. Приме-

нительно к слову в историческом контексте это особенно важно. Индивидуально-авторские слова и окказионализмы в пору абсолютной диалектной свободы, диктата узуса над нормой были тогда более частыми, чем сейчас. Недопустимо приписывать слову несвойственную ему (в практике исследований – как правило, более позднюю) семантику, сочетаемость, употребительность или особенность функционирования.

4. С проблемой употребительности связана и нечасто упоминаемая **проблема единства и тождества исторического слова**. Слово не может быть одним и тем же в разные исторические эпохи. Но какова степень его изменчивости – вот постоянный вопрос для историка языка. Приведу простой пример: ведро в древнерусский и старорусский период было предметом бондарного производства, то есть – деревянным, реже – плетеным из бересты, лыка (это был двойной цилиндр). Металлические и пластмассовые ведра – продукт нового времени. Старинные ведра входили в иной, нежели современный, ряд предметов (реалий), соответственно иным было и понятие о ведре, поскольку вслед за материалом менялась форма и функции предмета. Столовая посуда была чаще деревянной или глиняной. Металлические блюда на столах простолудинов были в редкость. Привычные нам стеклянные «питейные» сосуды появляются в конце XVII в. Среди бытовых вместилищ преобладали плетеные или долбленные изделия. Меняющийся материальный мир существенно влиял на семантическую структуру и стилистический статус слова, обозначающего изменившийся предмет.

5. Следующее обстоятельство – **разнообразие контекстов употребления слова**. Абсолютной закрепленности слова за определенными типами контекстов, кажется, никогда не существовало, и это требует внимательного прочтения и тщательного расписывания многих текстов, независимо от того, какой фрагмент лексикона является предметом исследования. Особый случай – библейские тексты или произведения, являющиеся переложением Библии или созданные на основе Библии. Первооснова употребления в них многих лексем спрятана в глубине веков и в многообразии языков-посредников, и потому функционирование лексемы в таких текстах слабо объясняется особенностями русского языка. Тем более важно разобраться с генезисом таких лексем или оборотов.

6. С этой проблемой связано другое – **необходимость учета особенностей текста**, например, учет специфики древнерус-

ского литературного текста с позиции древнего русича. Ведь идеальным в ту далекую пору считался текст, максимально повторяющий все достоинства образца, избранного для подражания. Поэтому в текстах, которые в общественном мнении Древней Руси были особо значимы, полагалось в максимальной степени воспроизводить фразеологию и стилистику выбранного образца. Любое отступление было не только литературным грехом, но и религиозной ересью. Возможно, мы, привыкшие к индивидуально-авторской манере изложения, объявляем шедевром древнерусской литературы то, что древнему русичу казалось отступлением от литературного этикета и книжного канона, то есть было дурным с его точки зрения. Заметим, что по-другому ситуация складывается в XIX в. События Отечественной войны 1812 г. способствовали формированию нового для России явления – публичного общения и формирования новых форм и средств публичной речи. Но эти первые ростки (ростопчинские листки-афиши, прокламации Генерального штаба, устные речи Кутузова, Денисова и др., вошедшие в фонд солдатской мифологии) имели слабое продолжение в агитационной литературе декабристов. До реформ 60–70 гг. XIX в. в России не было необходимости в новых формах общения. Поэтому так популярны были письмовники с шаблонами различных писем, разного рода руководства по написанию деловых бумаг, а для устной речи обязательны каноны классической риторики. Отмена крепостного права и последовавшие за этим земская и городская реформы, введение суда присяжных, оформление торгово-коммерческой и кредитно-финансовой сфер, развитие машинного производства и кооперативного движения существенно повлияли на обогащение лексики, на стилистическую перестройку лексической системы. Церковно-проповеднический стиль, судьба которого еще мало изучена¹², продолжал жить в то время своей жизнью, отчасти оказывая воздействие на некоторые формы литературного выражения. Риторика перестает быть образцом ученой словесности. Разнообразие форм выражения при неуважении к прежним канонам, дух практицизма обусловили замену риторики ортологией. Направление, заданное автором с псевдонимом Н. Абрамов¹³, не получило поддержки, зато более простое по исполнению руководство В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи» стало на долгие советские годы ориентиром для направления, обеспечивающего стабильность и клишированность любых

форм публичной речи. Что любопытно, практически не было устной формы публичного выражения. «По бумажке» полагалось выступать в эфире (причем с предварительной записью) и на любом публичном собрании.

7. Проблема типов текста и обусловленность этим лексико-фразеологического наполнения текста – одна из важнейших, но пока типология древнерусских текстов основывается преимущественно на тематическом содержании текста, что явно недостаточно даже для того, чтобы предсказать лексическое наполнение текста. Типология текстов национального периода, с легкой руки М. В. Ломоносова, оказалась связана с жанрами, что имело свою историческую истину для короткого исторического периода, но нельзя признать абсолютно идентичным реальному положению вещей в другие эпохи.

Рассмотренные вопросы не исчерпывают всего списка актуальных проблем исторической лексикологии. Нашей задачей было обратить внимание на наиболее злободневные, от которых зависит объективность исследований в тех сферах лингвистической науки, которые опираются на данные исторической лексикологии и исторической лексикографии русского языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Историческая лексикология и лексикография русского языка: методические материалы. – Вологда, 1988.

² См., например: Астахина Л. Ю. Слово и его источники. Русская историческая лексикология: источниковедческий аспект. – М., 2006; Васильев А. Д. Введение в историческую лексикологию русского языка. – Красноярск, 1997; Демьянов В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка XI–XVII вв. Проблемы морфологической адаптации. – М., 2001; Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. – Вып. 1–5. – СПб. (разные годы изданий и переизданий); Черепанова О. А., Смолина К. П. Историческая лексикология русского языка: теоретический комментарий, программа курса, литература // Русская историческая лексикология и лексикография. – СПб., 2000. – Вып. 5.

³ Судаков Г. В. Проблема периодизации истории русского слова и языковая ситуация в XVIII веке // «Единым письмом употреблением памяти подкрепляется вечность»: сб. науч. трудов памяти З. М. Петровой. – СПб., 2007. – С. 331–341.

⁴ Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). – М., 1973. – С. 95 (ср.: Трубачев О. Н.

Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – С. 168); Коготкова Т. С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). – М., 1979.

⁵ Лабов У. Структура денотативных значений // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1983. – Вып. XIV.

⁶ См. подробнее в нашей работе: Судаков Г. В. Предметно-бытовая лексика в ономастологическом аспекте // Вопросы языкознания. – 1986. – № 6. – С. 106–111.

⁷ Судаков Г. В. Иллюстрация в историческом словаре // Актуальные вопросы исторической лексикографии и лексикологии. – СПб., 2005. – С. 129–137.

⁸ Шведова Н. Ю. Парадоксы словарной статьи // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. – М., 1988. – С. 7–8.

⁹ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. – С. 285.

¹⁰ Современные проблемы источниковедения русской исторической лексикологии рассмотрела Л. Ю. Астахина в книге: Слово и его источники. – М., 2006.

¹¹ Выхрыстюк М. С. Тобольская деловая письменность второй половины XVIII века в аспекте современного лингвистического источниковедения. – Тобольск, 2006–2007. – Ч. 1–2; Деловой язык XVIII века по архивным данным городов Челябинска, Кургана, Тобольска. – Челябинск, 2004; Малышева И. А. Проблемы источниковедческого исследования письменных памятников XVIII века // Вопросы языкознания. – 1998. – № 3; Никитин О. В. Деловая письменность в истории русского языка (XI–XVIII вв.). – М., 2004; Полякова Е. М. Региональная лексикология и ономастика. – Пермь, 2006; Трофимова О. В. Жанрово-образующие особенности русских документов XVIII века (на материале тюменской деловой письменности). – Тюмень, 2002.

¹² См. работу: Инатова С. Н. Церковно-проповеднический стиль русского языка XIX века (на материале творчества святителя Игнатия). – Вологда, 2004.

¹³ Абрамов Н. Дар слова. Искусство излагать свои мысли. – СПб., 1900, Абрамов Н. Дар слова. Искусство писать сочинения. – СПб., 1901.

4. О ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ДРЕВНЕГО РУСИЧА

Мнение о том, что в начале национального периода в обществе формируется осознанное отношение к проблемам развития и функционирования языка, вполне справедливо и никем не оспаривается. Тем любопытнее более ранние (до XVIII в.) примеры внимания к речевым фактам, особенно процессам номинации, у древнерусских книжников, т. е. свидетельства вполне определенной рефлексии.

В период Московской Руси кодифицирующая роль московского приказного делопроизводства проявлялась в том, что, используя в имущественных росписях название какой-то хозяйственной реалии, писец, не уверенный, во-первых, в общерусском характере слова, во-вторых, в знании читателем хозяйственной полезности того или иного предмета, во избежание непонимания, двусмысленности старательно описывал функцию, предназначение предмета, помогая читателю правильно идентифицировать упоминаемую вещь. Подобная практика способствовала включению функционального компонента в семантическую структуру слова.

Вот некоторые наиболее показательные примеры такого рода (иллюстрации передаются средствами современной графики; курсив везде наш. – Г. С.): «*анбар* рыбной с мостомъ, где рыбу солят, да анбарец неводной, где сети держат» (1618 г., Соловецкий мон.) [АХУ-II, с. 276]; «скотной двор, а на нем строенья: ... омшеник да *овцам рубленой анбар* да 2 *повети* коровам» (XVII в., опись) [ДТП-I, с. 266]; «*анбар* Фомки Ситникова *кладут рогожи и лапти*»; «*анбар* Костьки Автамонова *бьют в нем животину*» (1676 г., писц. кн., Юрьевец Поволж.) [Мат. Костромы, с. 152]; «*анбар*, что хлеб меряют, да сарай, что *кладут соль*» (1637 г., опись Шуйск. там. избы) [Влад. губ. вед. 1856, № 28]; «в те *анбары* *кладут известь*» (1670 г., роспись, Архангельск) [ДАИ-6, с. 37]; «Двор скотной а на нем 8 *анбаров*, в 2 *анбарах* 58 стойл для коров; построен *анбар овцам*» (1677 г., Моск. у.) [Опис. аптек., с. 89, 91]; «да на твои, великого государя, *большие товарные весы важня...* а *важня*, государь, *учинена для тово, что они товары на том дворе весили...*на том же дворе *сарай, где соль кладут*» (1663 г., роспись построек, Псков) [Рус-швед. отн., с. 226]; «*пробивати ему воск в воскобойне*» (1630–40 гг., там. кн.) [Н. Новгород в XVII в., с. 76]; «д. Горка, а в ней *дворец коровей, живут коровники*» (1543–44 гг., Вологодский у.) [Шу-

маков, с. 64]; «двор воловей... а на том дворе животины 35 коров» (1672 г.) [Опис. аптек., с. 101]; «2 денника, в чем животи-на живет, перед ворота 2 житницы, а в них хлеб» (1677 г., Москва) [Опис. аптек., с. 118]; «кузница, где летом кузнецы к каменному строенью всякое кузнечное дело куют и связные свары сваривают» (1670 г., роспись, Архангельск) [ДАИ-6, с. 40]; «огуменник, а в нем соломы старой 7 ометов ржаной да омет овсяной» (1677 г.) [Опис. аптек., с. 98]; «амшеники тем пчелам к зиме построены» (1665 г., запись) [ДТП-I, с. 1111]; «на тех пасаках... старую и молодую пчелу во мшенники поставить» (1676 г., Белгород, отписка) [Багалеи, с. 90]; «погреб... а в нем ставят молочные скопы» (1677 г., с. Пахрино) – [Опис. аптек., с. 95]; «два сарая кирпичных, кирпич жгут» (1627–28 гг., писц. кн., Ярославль) [А. Сп. м.-3, с. 80]; «построить сараи, в кото-рых тех лошадей кормить и беречь, где пристойно» (1664 г, за-пись) [ДТП-I, с. 1095]; «поставить анбар – тот же сенник, в чем сено клали» (1631 г., память, Суздаль) [Влад. губ. вед. 1855, № 8]; «сушило о 2 жильях 5 сажен, а в них лежит лен» (1677 г., с. Пахрино) [Опис. аптек., с. 95]; «поставлена швалня шьют на братью всякое брацкое платье» (1684 г. опись С.-Прил. м.) [ВОКМ. Д. 2163. Л. 198].

Обратим внимание на разнообразные функции амбара – ан-бара и сарая: это и постройка для содержания скота, и кладовая, и производственное сооружение. По-видимому, решающим был тип постройки (материал для стен, особенности дверей), ее ме-стонахождение (в составе скотного двора или в производственном комплексе) и т. п.

Все приведенные примеры относятся к названиям хозяйствен-ных и производственных построек. Дополним этот ряд примерами из церковного и государственного делопроизводства, географиче-ской литературы, из художественных описаний: «в пекленицах, идеже пекутца хлебы» (XVI в., Стоглав) [Тр. Новгород. ГУАК-1, с. 126]; «поставил театрум, то есть каменное зело высокое зда-ние со многими теремы для всяких комедий, то есть действен-ных потех» (1670 г.) [Космография, с. 384]; «указал учинити комедию... и для того действия устроить хоромину вновь... И по тому великаго государя указу камидейная хоромина построена» (1672, Дворцовые разряды) [Лет. рус. лит-ры, с. 28]; «И в год его царского обеда дверем сущим отверстым полаты тоя, идеже кушал, всякому внити невозбранно повелевая, тогда во множестве

иных в столовую ону полату вниде Мартин Лютор» (кон. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 404].

Иногда пояснялась функция предметов мебели или хозяйственных снарядов разного назначения: «куплен замок *x казенке*, что в верхней полате, *где лежит бумага и свечи*» (1658 г.) [Кн. расх. Помест. пр., с. 296]; «куплено на носилки лубья и гвоздья, на чем носить навоз» [Заб. Мат.-I, с. 326].

Именно функция считалась определяющим признаком предмета, сделанного человеком для своих нужд, поэтому старорусские лексикографы, раскрывая значение слова, тоже иногда указывали на назначение предмета: *водоважда*: «канар, смокъ *што воду вытягает в гору*»; *врачебница*: «дом *где лечат*»; *бодец*: «остен чем *волы поганяют*» [Бер. с. 16, 17, 187]; *журавель*: «очепъ чем *воду черпаетъ*» (1700 г.) [Номенклятор немецк., с. 20].

Дополнительно заметим, что указание на род занятий, на выполняемую работу часто выступало мотивирующим признаком для номинации лица по профессии, что подчеркивает социальную значимость этого качества в оценке личности древним русичем: «Жил в дворе *поварок* Шестюнка *ести варил* и хлебы пекъ; нанели *дрововоза* Нечку Росиху из ысад к варнице *дров придвигати*; *розгребалищикомъ* дали семь алтын *розгребали* в июле навоз, наймовали *вожелников возити навоз в поле*» (1607 г., Тотьма, кн. пр.-расх.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 6. Л. 49, 49 об., 142 об.]; «К Велику дни *варили пиво*. *Пивовару* дал *от варенья* два алтна четыре денги» (1655 г., Тотьма, кн. пр.-расх.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 46. Л. 48 об.]; «торговых дву бань *банищики*» (1622 г., кн. прих. Туринского острога) [АЮБ-II, с. 302]; «дано *рукавишнику* слобожанину Федру *от исподок от вязаня* пят алтнъ» (1622 г., кн. пр.-расх. арх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 12. Л. 170 об.]; «дано *бочернику от набою от бочек и от чанов набивал обручи*» (1633 г., С.-Пр.м.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 33. Л. 23]; «наймовал *изженницъ рож жат*» (1638 г., Вологда, кн. пр.-расх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 18. Л. 126]; «наймовал *бороноволокотъ* паренину *боронити* и навоз *вываживат* осмерым *вываживалником* дал 6 ал 4 де» (1663 г., нр.-расх. кн., Вологод. у.) [ВОКМ. Д. 2284/4131. Л. 9 об.]; «давано *поялищиком* поденного корму, как были у магистра *для поянья лат* в камидейные хоромы» (1672 г., Москва) [Моск. театр, с. 12]; «работат ему и жит в *подконюшниках и пасты коней* у мнстря в поскотине» (1689 г., нр.-расх. кн. Тр.-Гледен. м.) [ВОКМ. Д. 9548. Л. 10].

Оценим другой прием характеристики предмета, также часто употребляемый писцами. Стремясь точно и ярко описать предмет, древнерусский книжник использовал тождесловы – слова той же лексико-семантической или тематической группы: родовые наименования или названия, представляющие разные стороны и качества описываемой вещи.

Писец – создатель текста использовал синонимические наименования (однословные и составные) внутри одного и того же текста, в том же или следующем предложении: «Да как оне тое рухлядь вынесли *из избы* на двор, и купчина с сыном своим за ними ж за сторожи пошел *ис хором*» (1595–98 гг., посол. Тюфякина) [Пам. моск.-перс.-1, с. 387]; «в Гостиной улице *изба богаделенная*, а в ней десять человек богадельных старцов... да к той же *богадельне* дано всем богадельным старцам на огород пустово порозжево места» (1696–98 гг.) [А. Можайск., с. 67]; «жили во дворе *в детех* наемные казаки Бгдашко да Антонко... наймовали во двор *в детеныши* Ивашка» (1607 г., Тотьма, кн. пр.-расх.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 6. Л. 48 об.]; «запечатано было то вино на кабаке в задней *избушке*... а стояло то вино на кабаке в *ызбе* въ задней» (1613 г., Белоозеро) [А. Подмоск., с. 140]; «смечали и ценили в Шуе *тюрму* и около тюрьмы тын и *сторожню* ... *тюремная изба* в тыну трех сажен да *изба стороженная* полутретьи сажени» (1636 г., роспись, Шуя) [АЮБ-III, с. 375]; «и как мы будем у *коровья дворца*, и те люди проводили нас в Ъвановской монастырь... нас проводил от *коровни* в Ъвановской монастырь» (1636 г., В. Устюг, явка) [АХУ-III, с. 193]; «нанял Михея Григорьева сна Кожина в *валеж* на чetyреста сажень... нанял на чetyреста сажень на *валежные дрова*» (1655 г., Тотьма) [ГАВО. Ф. 512. Д. 46. Л. 67]; «на горе же *харчевенные избы*, которые написаны в оклад... с *ызбы*, что возле Родкины *харчевни*, оброку рубль» (1665–67 гг.) [Пр.-расх. кн. Синбирск. приказной избы, с. 30]; «сделана *поваренная полата* в дву анбарах а среди той *поварни* для крепости с старого буту сделан столб» (1671 г., роспись, Архангельск) [ДАИ-6, с. 147]; «вышел на *боровое место* на *сухмен*... прилегли *места сухменные* и нетравяные в тех местах» (1689 г., Вологод. у., записка) [ГАВО. Ф. 1260. Кор. 11]; «лежал в *сторожке* без памяти... Фаддеико к нему монаху для посещения в *сторожню* приходил... Иеромонах Герман постригал ево Макария в городе Каргополе в *тюремной сторожевой избе*» (1690 г., Каргополь, допрос) [Олонецк. сб., с. 120].

Подобные случаи свидетельствуют о стремлении писца и к более точному обозначению реалии, и к разнообразию языковых средств. Последнее обстоятельство было решающим при создании художественного текста, см.: «повелеваю ти ити в *домъ* свой, и повеле у *здания* своего въ стене устроити гробъ» (XVII в., Пов. о Шиле) [Пам. СРЛ, с. 21]; «Некий человек *дом* имея великий прилучен же бе стеною ко *хлевинке* убогаго некоего работнаго человека... дивяшеся убогаго *житию*, како в *хижице* своей и в толиком убогом *жителстве* непрестанно веселится..., прииде же ко убогому во убогий *домик* его, вопроши жену его... принесох аз мех сребра тайно и привесих во дверех *храмины* твоя» (кон. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 347–348].

Отдельно приведем пример сознательной рефлексии по поводу слов *сенник* – *потклет* в Домострое при описании свадебного чина: «И как время приспее, пошлют от тестя к жениху старшего слугу сказать, что друшка и сваха едутъ с постелею, велите оуказати *сенникъ*, и к которому месту приехати, *а по обычному потклетъ*; и как приедут на дворъ и идут *в сенникъ а по простому в потклет*» (XVII в.) [Домострой. Заб., с. 172, 183]. Здесь *сенник* оценивается как слово высокое, соответствующее значимости свадебного обряда, а *потклет* – обычное, простое, разговорное.

Этот прием среди прочих активно использовала лексикография той поры, ср. разные приемы определения значения слова в словаре П. Беринды: *горница*: ‘на горе на будовилю дом’; *гостиница*: ‘домъ гостинный’; *дреколь*, алябарта, галябарда, албо кий, сокира, рога-тина; *преторъ*: ‘ратушъ, домъ судовый, судилище’; хранило, хранилище, стражъ: «сторожа, вежа, або башта, где стражъ стережет, темница» [Бер., с. 27, 28, 33, 97, 145]. Ср. то же в словарях XVIII в.: «Рожонъ, остень» (1700 г.) [Номенклятор голланд., с. 76]; «Килимъ, или коверъ; серги, зри оусерязи; Оужище корабельное, или конать» [Поликарп., с. 314, 642, 730].

Далее на новом материале рассмотрим динамику в старорусский период микрогруппы «наименования бани». Баня входила в состав почти каждого двора, были и общественные бани. Своеобразие ситуации объяснялось одновременным употреблением в языке, зачастую на одних и тех же территориях, нескольких наименований, различающихся по мотивационным признакам, по времени возникновения и по преимущественной сфере употребления (тексты соответствующих жанров).

Примем следующую версию распределения слов (и составных наименований с ними) по времени преимущественного употребления: **древнерусский период** (X–XIII вв.) – *мъвь* (*мъвня*, *мъвива*, *мъвьница*) – от глагола *мыти*, *истобъка* – от глагола *истопити*, *пърть*, *баня* – заимствование из латинского, *лазьня* – от глагола *лазити*; **старорусский период** (XIV–XVII вв.) – *байна* – *байня*, *мыльня* – *мыльна* – от *мыло* (использованы некоторые данные из работы [Козырева И. С. Из истории формирования словарных составов русского и белорусского языков (баня – лазня) // Русский язык. – Минск, 1981. – С. 104–106, 111]). Последнее связано с распространением в России мыла, первые мыльни появились в царском обиходе. Кроме того, мыльной называли не только всю баню, но и часть бани, где мылись с мылом, в отличие от парной с полком, где парились.

Слово *мыльня* (*мыльна*), успешно соперничавшее в XVI–XVII вв. с названием *баня* (и его производными), в письменности впервые зафиксировано в 1522 г. [СлРЯ XI–XVII вв., с. 9, 331], севернорусский вариант *мыльно* – в 1553 г. [Там же, с. 330]. Есть возможность уточнить данные СлРЯ XI–XVII вв. По словарю, деминутив *мыльнишко* впервые отмечен в текстах в 1577 г. [Там же], слово *мыленка* – в 1578 г. [Там же]. А вот наши факты: «место дворовое пусто, а хором на них избишко да *мыльнишко*; дер. Подрезово пуста, а в ней хором: 3 дв. пусты, 3 избы, 3 сенишка да *мылинка*» (1539–1540 гг., Москва) [Кн. п. Моск., с. 298, 300].

В XVII в. *мыльня* со своими производными особенно активны в московской приказной письменности (царские указы воеводам, воеводские грамоты на местах), поэтому слово было известно практически повсеместно, встречается в пословицах и в фольклоре: «Алчень в кухарне, жаждень в пивоварне, а нагъ бос в *мыльне*»; «Веникъ в *мыльне* всемъ госнодинъ» (XVII в.) [Симони. Пословицы, с. 76, 87]; «Его матушка родная / Опосля его не вдолге / Белу *мыленку* топила» [Соболевский, с. 99].

Словари пока не учли фразеологизированного составного названия *торговая мыльня*, см. пример: «Взял я, холон твой, из оброку на Короче твою государеву *торговую мыльню* на год» (1646 г., чел. казака П. Гунбина) [Короча, с. 216]. Заметим, что ряд составных названий со словом *баня* гораздо богаче. Из сочетаний *мыльня с сенми*, *перед мыльной сени* (1583 г., Новгород) – [Заб. Дом. быт-1, с. 442) позже формируются *мыленные сени*

(*передмыленье*) (1681 г., Москва) [Там же, с. 414] и *мыльня с передбаньем* (1689 г., кн. описи Голицыных) [Д. Шакл.-IV, с. 186].

Слово *баня* (со своими производными), будучи зафиксированным в письменности с XI в. [Востоков-1, с. 10], благополучно пережило бури времени и широко употребляется в современном русском языке. Для его древнерусской и старорусской биографии характерно следующее: банное омовение как часть свадебного обряда, баня как знак крещения и символ духовного очищения (*баня, мыющая скверну*) способствовали закреплению слова в прямом и метафорическом значении во всех жанрах письменности и без территориальных ограничений. Кстати, *мыльня* таким знаком очищения не являлась, и слово *мыльня* в текстах церковно-религиозного содержания не зафиксировано. См.: «Мамельфа же моляше абие прияти *баню безсмертия, рекше крещения*» (XVI в.) [ВМЧ, окт. 4–18, с. 809]; «Вы породилися и *банею святаго крещенья* освятились» (1614 г., соборная грамота рос. духовенства) [ААЭ-III, с. 53]. В то же время, если речь шла о бане как помещении для гигиенических целей, то эти два слова свободно замещали друг друга: «Я холоп вашъ у себя на дворе *баню* топил и парился; топил ночью *мыльню*» (1633 г., чел., Москва) [МДБП, с. 48, 49]; «А в *мыльню* де Григорей с мужиком шли пеши, а из *бани* ехали в санях» (1649 г., Москва) [Яковлев. Холопы, с. 226]. В словарях начала XVIII в. приводятся чаще два этих слова как наиболее распространенные: «О мылни, или баини; мыльня баиня» (1700 г.) [Номенклятор голланд., с. 94]; «баня – мыльня; мыльня – баня» (I пол. XVIII вв.) [Рук. лекс. с. 34, 187]

К сожалению, в словарях пока не зафиксированы составные наименования *торговая баня, откупная баня* и др., хотя, например, о торговых банях как о типичном явлении писали даже иностранцы, посещавшие Москву: «бани существуют и общественные, назначенные для пользования тому и другому полу, где за небольшую плату их владельцу народ моется, по крайней мере, два раза в неделю» [Яков Рейтенфельс. Сказание святейшему герцогу Козьме III Тосканскому о Московии. Падуя, 1680. – М., 1905. – С. 153]. Приведем по одному примеру на популярные названия: «Да на Воронеже ж у реки Воронежа на берегу *оброчные бани*, оброк с тех бань платят ежегодно воронежским воеводам» (1615 г., писц. кн. Воронежа) [Мат. Ворон.-II, 1891, с. 20]; «Да на Можее ж реке *баня государева*, топят верные целовальники

государю из прибыли» (1616 г.) [А. Можайск., с. 96]; «откупная баня на Нижнем посаде» (1621–22 гг., Н. Новгород, писц. кн.) [РИБ-17, с. 208]; «а отданы дрова к большой бане к женской цоловалнику» (1619 г., Астр. акт. № 411, сст. 1) [КДРС]; «против башни по-за городью торговые бани» (1629 г., Москва, роспись Китай-города) [АС-2, с. 732]; «Да ему же Ондрею и белая баня, и тое баню перенести ему с того места на свою ж на деленную землю» (1629–39 гг., раздельная, Сольвычегодск) – ДАИ-2, с. 91); «Устюжанин Семен Петров Оленев в таможенной бане в каменнице кожушные дуги кирпичем выкладывал» (1676–77 гг., В.Устюг) [ТК-III, с. 124].

В нашей картотеке более ранней цитатой, чем в СлРЯ XI–XVII вв. (1599 г.) [СлРЯ XI–XVII вв.-1, с. 66], зафиксировано слово *байня*: «Изрубили избу в дрова на приежном дворе и *байню*» (1583 г., расх. кн. Тотем. сол. промысла) [ВХК, с. 39].

Архаизмом для общерусского языка становится слово *лазня*, хотя оно и включается в словари XVII–XVIII вв. Единственный случай его однозначного употребления, причем в сочетании *торговая лазня*, относится к старообрядческой практике: «А егда мужики и женки приходят мыться в *торговую лазню*, тогда верхнее платье скинув с себя, такожде и пояс, и рубаху, и штаны, крест поверзает» (1666 г.) [Суб. Мат.-4, с. 222]. Разумеется, сказанное не отрицает факта его длительного употребления в диалектах, особенно на территориях, где были распространены бани «по-черному». То же относится к лексеме *мовница*, которая на протяжении всего старорусского периода последовательно употреблялась в письменности Великого Устюга и Галича: «Того же лета погоре на Устюге от скоморошья *мовницы* посад» (сп. кон. XVII в., Устюж. лет.) [ПСРЛ-37, с. 50]; «двор в тыне, изба, мовница, да и со всеми хоромы» (1501, суд. список, Галич) [АСЭИ, с. 271]. Уникальный случай употребления слова *теплица* наряду с лексемой *баня* объясняется желанием писца разнообразить номинацию реалии в художественном тексте: «Но обычай бяше новобрачным ради измовения тала в баня входити, и по совокуплении того с своею купно з госпожею и женою вниде той предиреченный отрок в *теплицу*. Но зде страх, зде трепет! Дивно чудо содеяся тогда, внегда отрок вниде в *баню*» (1616–19 гг.) [Вр. Тимофеева, с. 99]. Слово *теплица* еще регулярно включалось лексикографами XVIII в. в словарные труды [Номенклятор голланд., с. 21; Вейсман, 1731 г., с. 64].

Третья особенность характеристики предмета древнерусским писцом – подчеркивание его особого признака. Учитывая разнообразие бытовых реалий и иных предметов материальной культуры, множественность их наименований на огромных российских территориях, древнему русичу в интересах общения с жителями других областей приходилось выбирать такие номинативные единицы, в которых легко вычленился мотивировочный признак или достаточно точно назывался характерный признак предмета: *дровяник, книгохранилище, портомойня, столовая – горница столовая, изба кожевная, сарай кирпичной, камидейная полата*. Ср. названия разных хозяйственных построек, образованные с одним и тем же корнем *кон-*: «переписать также в конюшнях лошадей и в конюшеннх анбарах кореты» (1689 г., наказн. память, Москва) – [Д. Шакл.-III, с. 170].

В формате намеченной темы (о процессе номинации предмета в древнерусском языке вообще и о выборе конкретного наименования при создании конкретного текста) коснемся судьбы такой «деликатной» лексико-семантической группы, как названия отхожего места.

Семантическим стержнем группы был корень *-ход-* со значением движения: *выход, заход, отход*. К этим словам присоединялись *задец* (от корня *-зад-* с учетом местоположения по отношению к жилому дому туалетной пристройки) и *нужник* (от общеславянских *нужа, нуда*). Все слова, входящие в это сообщество, имели исконное происхождение.

Выход: «Дано Березовскаго стана Мокею Печенкину, вычистил *выход* у приказной избы, тридцать алтын» (1678–79 гг., расх. кн., Хлынов) [Тр. Вят. УАК-5, с. 74]. См. еще пример употребления *выход – отход* в одном тексте: «на кружечном дворе починить *выход*, да перед старою горницею сени приклонные, да *отход* рубленой» (1672 г., Тула, смета) – [АЮБ-III, с. 377]. Слово *выход* отмечается в вятских и тульских актах.

Заход: «Чистили столоваи кельи *заход*, дано 4 алтына» (1666–67 гг.) [Кн. пр.-расх. Волоколам. м., с. 379]. В СлРЯ XI–XVII вв. приведены два примера из текстов, вышедших из старообрядческой среды. Есть также пример из Возвещения протопopa Аввакума: «У властей тех от воздержания тово великого *заходы*-те насраны полны» (1676 г.) [ТОДРЛ, т. 36, с. 148]. В лексиконах XVII–XVIII вв. это слово отмечено наряду с другими: «heimlich gemacht (тайно делать – Г. С.) – отход, задец»,

заход» [Вен. сл., с. 262]; «заход – нужник, отход» [Рук. лекс., с. 118]; «das Prifet, заход» (1765 г.) [Целлариус, с. 203]. Думается, что можно фиксировать ограниченное употребление этого слова, что определялось его разговорно-просторечным характером.

Кажется, самым распространенным в старомосковский период было слово *отход* (в нашей коллекции зафиксировано более двадцати примеров, в том числе более десяти иллюстраций только из расходной книги Поместного приказа): «тех служилых людей наругаючися посадил в тюрьму под аманатцкои *отход*, и якуты и жонки якутцкие сверху на голову нам холопом твоим и на ядь нашу мочилися и калилися» (1645 г., чел., Якутск) [Колон. Якут., с. 34]. В лексиконе отмечено: «*Отход* – нужник, заход» [Рук. лекс., с. 260]. Зафиксировано и составное наименование *чулан отходной*: «в тех же сенях *чулан отходной* с дверми, чулан забран тесом» (1682 г.) [Заб. Дом. быт-1, с. 579].

Слово *задец* пыталось соперничать с лексемой *отход* по широте территории и частоте употребления (особенно показательны в этом отношении два последних примера из приводимых ниже): «*задец* чистили, дал 1 ден.» (1597 г., Сольвычегодск, кн. расх.) [ВХК XVI в., 1, с. 170]; «пяти человеком от *задца* от чишенья рубль шесть алтын» (1650 г., Москва) [Кн. расх. Помест. пр-1, с. 390]; «бобыл Гришка Савелев чистил затцы» (1668 г., Вологда, кн. пр.-расх.) [ГАВО. Ф. 883. Л. 80 об.]; «срубить и поставить и сомшить горница с комнатою ...с повалышею и с *задцом* да задняя горница... с чуланами и с *задцом*» (1672 г., Олонец, поручная) [АЮБ-I, с. 328]; «велел завезть, где б люди не видали, где у него *отходные задцы*, и, растянув меня, велел держать за руки и за ноги и велел бить» (1676 г., Коломна, допрос) [Д. Иос. Колом., с. 100]; «да в той же малой нолате прежней *задец* заделать, а вместо того сделать новой *отход*... и в *отходе* сделать окошка небольшие и двери в *отход* сделать с рамами» (1694 г., дом патриарха) [Мат. Москвы-I, с. 939].

Слово *нужник* появляется в письменности при описании царских палат в последнем десятилетии XVII в., причем ему предшествует составное наименование *нужный чулан*: «куплено в село Преображенское... на государев двор... к сеням и к *нужному чулану* железного ряду у Ивана Тимофеева 4 жиковины черны» (1691 г.) [Сб. Петра-1, с. 357]; «в сенях *по чулану по нужнику*»

(1693 г.) [Сб. Петра-1, с. 373]; «наняты чистопряты вычистить *нужники*» (1696 г., Москва) [Заб. Мат.-I, с. 320].

Эвфемизм церковнокнижного происхождения, изобретенный древнерусским книжником, *нужная места утробныя потребы* не получил распространения, но сам факт его употребления характерен: «Мирская чадь, видящи его тружашася, и братня келия ноставляюща своима рукама, и *нужная места утробныя потребы* устояща... удивляеми бяху о смирении старца» (XVI в.) [Ж. Дан. Пер., с. 57]. Пример как данного эвфемизма, так и семантика корней всей данной лексико-семантической группы позволяют утверждать, что, несмотря на всю простоту нравов того времени, понятия естественной стыдливости были доступны древним русичам. Русский человек и тогда хорошо понимал, какие слова следует включать в письменный текст, какая фразеология допустима в разговоре на завалинке, а что можно сказать только в мужском кругу.

Средневековая усадьба русича и в сельской местности, и в городе была непременно обнесена оградой: «кругом озаборено» – так описывается хозяйственный двор Нило-Столбенской пустыни в 1663 году (Кн. пер. Нил. Столб., с. 86) [КДРС]. Ограда входила в состав дворового строения, одним из основных ее элементов были ворота; были, кроме этого, и задворные, и полевые постройки. Но ограда не была национальным символом Руси, в Западной Европе или Азии ограды были гораздо крепче: их строили из камня, глины и кирпича, стены поднимали выше человеческого роста. Русские ограды, хотя и отличались разнообразием, но их плели из прутьев, делали из тонких стволов деревьев. Они не столько защищали от незваных гостей, сколько преграждали доступ скоту, обозначали границы владения. Конечно, в древности, особенно на севере, бывали ограды и посерьезнее, из толстых стволов деревьев или камня и кирпича. Лексико-семантическая организация тематической группы «названия ограды» была достаточно системной. Формирование ее заняло несколько столетий, а типы оград (и их названий) различались территориально, что зависело от структуры лесных массивов, характерных для того или иного региона.

Прежде всего обратим внимание на наличие родовых наименований, часть из которых выполняла только функцию общего наименования (*городьба, изгорода*), а другие в зависимости от смысла контекста могли варьировать свою роль: то родовые, то видовые (*забор*).

В некоторых примерах, приводимых далее, будут указываться и конкретные названия изгородей (*тын, забор, замет, острог, частокол, скит*), и названия элементов, из которых состоит изгородь (*прясло, столб, частокол, жердь, ворота*), и названия составных элементов ворот (*верeya, калитка, щит*).

Городьба: «да около двора *городба тын стоячей*; да около двора *городба в забор*» [там же, с. 47]; «от улицы ворота и *городба в замет*» (1586 г., В. Новгород) [Кн. ям., с. 46, 47, 59]; «а *городьбы* около двора *в замете* пять *прясел*, да две *верей* новые у ворот лежат» (1613 г., купчая, В. Новгород) [АС-2, с. 775]; «круг двора *городба ...замет и прясло частоколу а частокульная городьба* пополам» (1627 г., Москва, купчая) [Мат. Москвы-II, с. 619]; «продал на дворе *избу и дворовую городбу*» (1632 г., Воронеж. у.) [Ворон. а.-1, с. 207]; «а позади двора *городьба частоколь*» (1645 г., Москва, роспись) [Дд-II, с. 681]; «да кругом двора *городба* дватцат *шест* *прясел заборишку*» (1652 г., память, Москва) [Моск. речь, с. 336]; «у ворот была *городьба прясло*, и тово нет» (1653 г., отписка, Звенигород. у.) [А. Морозова-1, с. 185]; «около двора *городьба острог* ставлен в сосновом лесу» (1668 г., Твер. у.) [Заб. Дом. быт-1, с. 443]; «около двора *городьба скиту* дубового» (1678 г., Белгород) [Котков. Очерки, с. 145]; «кругом двора *городба плетневая*» (1689 г., Моск. у., отп. кн.) [Д. Шакл.-IV, с. 435].

Название *дворовая горожа* – полный дублет *дворовой городьбы* представлено одним примером: «да *дворовои горожи* третей *жеребеи*» (1636 г., Мценск, отказн. кн.) [Южн. отк., с. 182]. См. также *горожа* и *огорожа*: «да окол двора *огорожа забор* и *жердя* что есть какой *горожи*» (1691 г., Белев. у.) [АЮБ-II, с. 408–409].

Из конкретных наименований наиболее популярны в старорусский период *заборъ* и *заметъ* как разновидности *городьбы*. Примеры из Великого Новгорода (см. далее) свидетельствуют, что были и *заборы в замет*, и *заметы в забор*, то есть принципиальной разницы между этими типами *городьбы* не было: *забрати, заметати* имело значение 'закладывать доски, жерди в пазы столбов или вставлять между столбами иным образом': «*городьба* около двора *забирана* в столбах *забором*» (1671 г., Н. Новгород) [Разгром Разин., с. 236]. Забирали и заметывали не только изгороди, но и стены различных построек, но нас в данном случае интересует терминология русских изгородей, которые следовало

«около всего двора забрать и покрыть и сготовить» (1672 г., поручная, Олонец) [АЮ, с. 329].

Заборъ – *заборишко* состоял из прясел (звеньев): «около двора городба *в забо*; от улицы ворота и *забор в замет*; около всего двора *замет в забор*» (1586 г., В. Новгород) [Кн. ям., с. 47, 56]; «да пять *прясел забору*» (1645 г., Москва, роспись) [Дд-II, с. 681]; «кругом двора городба дватцат шесть прясел *заборишку*» (1652 г., Москва, память) [Моск. речь, с. 336]; «около двора и огорода кругом городьба *в заборех*» (1654 г., купчая, Шуя) [Опис. Шуи, с. 309].

Судя по показаниям письменных источников, слово *замет* (замет имел ту же структуру, что и *забор*: состоял из прясел, которые представляли собою стенки между столбами, забранные досками, жердями, бревнами сплошь или с промежутками) все же преимуществовало и по частоте, и по началу употребления (в СлРЯ XI–XVII вв. первая цитата относится к 1559 г., ср. наши данные): «двор огаражен *заметам* в столбы» (1500 г., Волоколамск) [АФЗХ-II, с. 30]; «велел вокруг ямского двора *замет* заметати или тын поставити» (1513 г., Москва, грамота) [ААЭ-I, с. 126]; «а поваренной де *замет* розвезли ратные люди казаки и иноземцы на караулы на дрова» (1615 г., Москва, грамота) [ДАИ-2, с. 66]; «около двора городьба прясла в *замет*» (1700 г., купчая) [Влад. губ. вед. 1856. № 24].

От глагола *заплотити* образовано редко употребляемое название бревенчатой ограды-навеса вокруг дворовых построек: *заплот* – *заплота* (см. его описание в первом примере). Кроме того, *заплот* – стена постройки, стена между постройками. См. примеры: «около двора *заплотины* и с кровлею, и с жердьем, и с поветью» (1583 г., Двина) [СГКЭ-1, с. 257]; «изба да клет с потклетом да *заплот* дворовой» (1626 г.) [Кн. там. Тур. острога, л. 98 об.]; «и *заплоти* где будет надобно новые забирают» (1678 г., Важск. у.) [Рус. яз. Источники, с. 171]; «около двора построен тын и *заплота* в столбах новое» (1689 г., Холмогоры, купчая) [СГКЭ-2, с. 219]. Все выявленные нами случаи употребления относятся к концу XVI–XVII вв. и связаны с севернорусской территорией (Важский уезд, Холмогоры, Двинской уезд, Сольвычегодск, Туринский острог).

Кстати, хорошо известное по церковно-религиозным текстам слово *оплотъ* (с отвлеченно-абстрактным значением 'защита вообще') в тех же севернорусских текстах приобрело варианты

оплотъ – *оплота* и обозначало тот же предмет, что и слово *заплоть*: «оплот круг двора зделать новой» (1699 г., Тотем. у.) [АХУ-I, с. 1469]; «круг двора оплота» (1618 г., Двина) [АХУ-II, с. 305].

Наименования изгородей от глагола *городити* (*загорода, изгорода, изогорода, изгородь, оградъ–ограда, оградецъ, оградаца, ограждение* – СлРЯ XI–XVII вв., вып. 5–6, 12) хорошо зафиксированы в XV–XVI вв., но в XVII в. уступают по употребительности *замету, забору, тыну, плетню* (см. иллюстрации в популярных исторических словарях). Добавим только отсутствующее в СлРЯ XI–XVII вв. слово *изгородишка*: «и *изгородишки* около дворишков обломали» (1648 г., чел., Симонов мон.) [Дд-III, с. 888].

Москва и Великий Новгород хорошо знали слово *плетень* как название изгороди, причем было принято двор со стороны улицы загораживать заметом, а заднюю сторону двора прикрывали плетнем, что характеризует и более низкое по сравнению с забором и заметом качество плетневой изгороди: «двор оплетен *плетнем*» (1510–1511 гг.) [АФЗХ-I, с. 57]; «от улицы замет, ворота заставлены досками, а назаде двора *плетень*» (1586 г., В. Новгород) [Кн. ям., с. 54]; «двор огорожен *плетенем*» (1592 г., Радонеж. у.) [А. тяг.-1, с. 78]; «казаки де и избы опять ставили и *плетень* хотяют около их плестъ по-прежнему» (1625 г., Москва, расспрос) [Дд.-I, с. 235]; «тот де двор не строен... около его городьба худа, огорожен *плетенем*» (1637 г., Москва – цитата из вяземской челобитной) [Рус-бел. связи, с. 148]; «возле одной избы анбар, возле другой клетъ, один огорожен забором, другой *плетнем*» (1676 г., Москов. у., опись) [ДТП-I, с. 246].

Забор забирали, замет заметывали, плетень плели, а тын тынили, то есть тын сооружали из вбитых в землю бревен, иногда заточенных сверху (ср., например, с частоколом, который набирали из тонких сосновых или березовых кольев, вплетаемых между жердями). Тын был сооружением внушительным по сравнению с плетнем и забором, названия его разновидностей говорят о наличии нескольких типов плетней, иногда одновременно на одной и той же территории: *тын вострой, тын в замет, тын стоячий, тын лежачий*. См. примеры: «велел вокруг ямского двора замет заметати или *тын* поставити» (1513 г., Москва, гр. вел. кн. Вас. Ив.) [ААЭ-I, с. 126]; «около двора половину *тыном* тынено» (1571–72 гг., Москва) [Кн. п. Моск., с. 1539]; «около двора *тын вострой* дву сажень» (1568 г.,

Белоз. у.) [ГКЭ-II, с. 129]; «меж избы и клетки спереди сени *тын стоячей*, а назаде сеней *в замет*» (1586 г., В. Новгород) [Кн. ям., с. 58]; «около двора *тын лежачей бревенной*; да на горе на задуга того двора старого *стоячево тыну* 60 тынин» (1663 г., роспись, В. Новгород, Псков) [Рус-швед. отн., с. 225]; «окола того двора *тын стоячей колотои дубовой*» (1685 г., Воронеж) [ГАВорО. Ф. 182. Оп. 2. Д. 1. Л. 3]. Зафиксирован также деминутив *тынишка*: «поставил избенку, клеть и *тынишка* самоволством» (1674 г., Воронеж, чел.) [Тр. Воронеж. УАК, с. 123]. Укажем дополнительно географию других зафиксированных письменностью случаев употребления: Московский уезд, Каширский уезд, Холмогоры, Олонец, Двинской уезд, Белгород, Курск, Короча, Симбирский уезд. Слово *тын* отмечено в словарях XVIII–XIX вв.: [Целлариус, с. 192] и [Бурнашев, с. 297].

Существовали еще такие редкие типы изгородей как *острогъ* и *скитъ*: «около двора городьба – *острог* ставлен в сосновом лесу» (1668 г., Твер. у.) [Заб. Дом. быт-1, с. 443]; «двор огородить *скитом*; около двора городьба *скиту* дубового» (1678 г., Курск, Белгород) [Котков. Очерки, с. 145].

Теперь перейдем к названиям элементов изгороди: *столбъ*, *жердь*, *частокол*, *ворота (завор)*, *вереза*, *калитка*.

Важнейшая часть изгороди – столб, приведем примеры, где тип изгороди характеризуется именно по наличию столбов (название типа изгороди + *в столбах*): «двор огорожен *заметам в столбы*» (1500 г., Волоколамск) [АФЗХ-II, с. 30]; «городьба около двора *забирана в столбах забором*» (1671 г., Н. Новгород) [Разгром Разин., с. 236]; «около двора построен тын и *заплота в столбах* новое» (1689 г., Холмогоры, купчая) [СГКЭ-2, с. 219].

Частокол – это и название типа изгороди, и название материала (частоколина – разновидность тонкой жерди), из которого делается изгородь: «а круг двора городьба *замет и прясло частоколу*...а частокульная городьба *поломана*» (1627 г., купчая) [Мат. Москвы-II, с. 619]; «а позади двора городьба *частокол*» (1645 г., роспись, Москва) [Дд-2, с. 681]; «около двора городьба, в городе одна половина загорожена тыном и *частоколом*» (1691 г., Симбирск, купчая) [Мат. ист. и юрид.-III, с. 68].

Изгородь состояла из *прясел* – *звеньев*. Пряслами измерялись частокол, замет, забор; прясла были дощатые и бревенчатые. Слово это хорошо описано в СлРЯ XI–XVII вв. (вып. 21, 32),

см. еще неучтенный вариант *прясна*: «круг двора городба заметом двадцать шесть *прясен*, пять *прясен* неполны» (1654 г., Моск. у.) [А. гр. распр-2, с. 265]. Зафиксировано в СлРЯ XI–XVII вв. *звенно* как элемент забора [вып. 5, с. 349].

Слово *ворота* не является новацией применительно к изгороди, оно известно в письменности с древнейших времен, однако в наших материалах зафиксированы названия разновидностей ворот, которые не учтены новейшими словарями: *ворота передние*, *большие* – *маленькие*, *створные* – *створистые* – *створчатые*, *тчанные* – *щаные*; *ворота щитом*, об одном *щиту* (о *двух щитах*, о *трех щитах*); *ворота притвором*, *ворота с калиткою*. См. примеры: «около двора тын вострой дву сажень, *ворота щаные*» (1568 г., кн. отпис.) [ГКЭ-II, с. 129]; «изба да клеть да *ворота передние*» (1615 г., Переславль) [ГКЭ-IV, с. 339]; «сени дву сажень с логтем да *ворота створчатые*» (1645 г., Москва, роспись) [Дд-2, с. 681]; «*ворота створистые с калиткою*, верей резные» (1654 г., В. Новгород, данная) [РИБ-5, с. 112]; «на улицы двое *ворота*: одне *большие*, а другие *маленькие с верями* и з *заметы*» (1663 г., Псков) [Кн. Поганкина, с. 3]; «а городба около двора забирана в столбах забором, *ворота тчанные*, *створные*» (1671 г., Нижегород. у.) [Разгром Разин., с. 236]; «двор его, Агеев, горожен тыном, *ворота притвором*» (1676 г., Воронеж, опись) [Тр. Воронеж. УАК-V, с. 463]; «*ворота о трех щитах*» (1688 г., Москва, купчая) [МДБП, с. 187]; «городба заборы, *ворота болишие об одном щиту с калиткою*» (1691 г., Москва, закладная) [АЮБ-2, с. 21]; «*ворота о дву щитахъ*» (XVII в., Москва, купчая) [Мат. Москвы-II, с. 703]. В былинах упоминаются «*ворота стеколчатые...* (от удара копьем. – Г. С.) *воротечка* скочили серед двора и раскололися (кон. XVII в.) [Былины, с. 195].

Вероятно, понятия «щит» и «створка» применительно к воротам тождественны, а выражения *ворота щитовые* – *ворота створчатые* синонимичны. *Ворота тчанные*, *ворота щаные* – это ворота дощатые.

Приведем более ранний, чем в СлРЯ XI–XVII вв., пример с деминутивом: «да чюланишко да *воротишка* да кругом двора городба» (1652 г., память) [Моск. речь, с. 336]. Отсутствует в указанном словаре и слово *воротечка*: «ударил он в ворота стеколчатые вострым копьем своим, *воротечка* скочили серед двора и раскололися» (кон. XVII в.) [Былины, с. 195].

В севернорусских актах изредка отмечается диалектное для старорусского языка слово *завор*: сь ево Ивашкава двора тое ж лошади следъ пошел санми теми же гумны в ынои *заворъ* (кон. XVII в., Суздал. у.) [Гр-ки, с. 278].

В заключение темы «изгороди и ворота» приведем пример более раннего, чем в СлРЯ XI–XVII вв., употребления слова *калитка*: «ворота створистые с *калиткою*, верей резные» (1654 г., В. Новгород, данная) [РИБ-5, с. 112].

Таким образом, необходимость характеризовать предмет побуждала древнерусского писца к поиску адекватных средств для описания предмета, заставляла задумываться над смыслом слов и выражений. Практика составления разного рода описей (рописей, списков) в средневековой России была повседневной: этого требовала торговля, таможенное дело и судопроизводство, родственные и коммерческие отношения и т. п. Самым тщательным образом описывалось любое имущество, вплоть до заплата на одежде. Наиболее актуальными, как показывают наши наблюдения, явились три способа описания (и соответственно – именования) предмета: 1) непосредственное указание на функцию, предназначение предмета; 2) указание на несколько типичных свойств предмета с помощью синонимического ряда; 3) указание на самое характерное свойство предмета через мотивировочный признак наименования. Во всех этих случаях писец должен был и этнографически точно описать предмет, и по возможности точно назвать его или привести ряд тождесловов, связанных с понятием о данном предмете.

5. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ИСТОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В МОСКОВСКОЙ РУСИ

Изменения в лексическом составе языка происходят на фоне определенной языковой ситуации и определяются особенностями этой ситуации. Рассмотрим более детально языковую ситуацию периода Московской Руси.

На развитие языка преднационального периода решающим образом влиял целый ряд факторов административного, социально-экономического и историко-культурного характера.

Во-первых, увеличивается территория Российского государства за счет окраинных земель: на западе за счет Пскова и Смоленска, на юге – до Воронежа, Оскола, Белгорода и других городов. Во-вторых, сформировался и эффективно функционирует государственный аппарат, а его делопроизводство, где тон задают московские приказы, влияет на письменную практику местных канцелярий. В-третьих, возрастает роль городов как центров экономики и культуры: умножаются их торговые связи, увеличивается число грамотных. В-четвертых, начинают развиваться наука и просвещение, складываются крупные монастырские библиотеки, появляются словари («азбуковники») и разнообразные учебные руководства («азбуки»). В-пятых, совершенствуются орудия и организация труда, примитивные ремесла преобразуются в более совершенные производства, интенсифицируется обмен технической и экономической информацией.

К концу XVII в. общность русской народности приобретает относительную устойчивость, начинается переход ее в нацию.

Процессы интеграционного характера усиливаются в диалектной среде. Обществу требуется общерусская норма в письменной речи, а также единый лексико-фразеологический фонд для общеходного и публичного общения.

Все это определяет исключительную важность детального изучения истории развития всех сторон языка преднационального периода, всестороннего исследования лингвистической ситуации переходной эпохи.

Обычно под языковой ситуацией понимают состояние литературного языка, в ту или иную эпоху, состав его разновидностей, взаимоотношение между литературным языком и общенародной речью. Подобное толкование языковой ситуации упрощает суть дела, но даже и при более широком понимании термина ограничиваются рассмотрением процессов в литературном языке. Полная картина состояния и развития языка народа в определенную эпоху складывается как минимум из оценки трех типов ситуаций, создающих в комплексе представление о лингвистической ситуации эпохи:

1) литературно-языковая (стилевая) ситуация: состав литературного языка, его разновидности, лексико-фразеологические и грамматические средства отдельных типов языка, состояние литературной нормы, отношение литературного языка к средствам «нелитературного» характера и т. д. (см. работы С. П. Об-

норского, В. В. Виноградова, Ф. П. Филина, Н. А. Мещерского, А. И. Горшкова, Б. А. Успенского и др.);

2) социально-языковая ситуация (социолингвистическая): речь различных социальных групп, неодинаковое соотношение в разных социально-речевых разновидностях литературных, просторечных и диалектных средств, степень владения литературным языком в разных социальных средах (см. работы В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, посвященные теории вопроса; конкретных разработок этой проблематики фактически еще нет);

3) лингвогеографическая ситуация: диалектное состояние языка данной эпохи, соотношение общерусского и местного на разных языковых уровнях, соотношение диалектных средств и литературных элементов в языке столицы и местных культурно-письменных центров (см. работы А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, Р. И. Аванесова, С. И. Коткова, Ф. П. Филина и др.). Каждый из этих типов языковой ситуации применительно к любому историческому периоду требует отдельного обсуждения.

Литературно-языковая ситуация в Московской Руси в разное время разными, а иногда одними и теми же авторами оценивалась неодинаково. Широко известно, например, такое мнение: «...русским литературным языком Средневековья был язык церковнославянский... стили русского делового, публицистического и повествовательного языка, несколько приспособляясь к церковнославянской системе, размещаются по периферии “книжности”»¹. Позднее автор цитаты академик В. В. Виноградов отступил от этой точки зрения, но сторонники ее находились и позже (ср.: «...престижное положение церковнославянского языка в качестве литературного языка продолжалось до второй половины XVII в.»². Обратим внимание на объем литературного языка в интерпретации сторонников изложенной выше идеи и соответственно – на ее фактическую базу. У В. В. Виноградова на первое место по значимости в литературно-языковом процессе поставлены неславянские тексты и произведения «еллино-славянского» стиля с чертами юго-западного происхождения³. Однако уже в первой редакции своей концепции литературного языка ученый смог оценить, насколько позволяли известные в ту пору источники, демократические тенденции в литературном языке. Тем не менее современные авторы, придерживающиеся мысли о церковнославянской природе литературного языка Московской Руси, сознательно сужают жанровый диапазон литературы, ограничивая его только конфессио-

нальной книжностью, полагая, что до второй половины XVII в. «история русского литературного языка – это история церковнославянского языка русской редакции. Тексты на русском (древнерусском) языке – в частности, памятники юридической, деловой, бытовой письменности находятся вне сферы литературного языка и вне литературы»⁴. Автор высказывания Б. А. Успенский повторяет и старый вывод В. В. Виноградова о ведущей роли книжной традиции юго-западной Руси в литературно-языковых процессах в России XVII в.⁵ Представляется более справедливой характеристика указанного процесса как самостоятельная без внешних воздействий консервация торжественно-риторического стиля в одной разновидности русской литературы XVII в. – литературе русского барокко⁶. Известно, что позднее академик В. В. Виноградов пересмотрел свое мнение об объеме литературного языка: «...с XV в., а особенно в XVI и XVII вв. все усиливаются процессы литературно-языковой обработки разных форм приказно-деловой речи, и деловая речь, по крайней мере, в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей литературного языка»⁷. Хотелось бы привести очень уместное в данном случае мнение Ф. И. Буслаева: «Не только в образованном обществе и в современной легкой журнальной литературе, но даже и между учеными людьми господствует застарелый предрассудок о том, будто бы наша древняя литература имеет характер по преимуществу церковный. При том это мнение доводят до того заключения, что даже и литературы, в собственном смысле этого слова, у нас не было, а были только книги богослужебного и церковного содержания с присовокуплением немногих произведений, хотя и имеющих предметом интересы не исключительно церковные, но составленных в однообразном тоне монашеских воззрений и убеждений»⁸.

Сторонники другой точки зрения тоже признают единый литературный язык, но с двумя разновидностями: «в XVI в. мы имеем дело с двумя разошедшимися стилистическими разновидностями одного и того же литературного языка, а не с двумя различными языками»⁹.

Напомним еще об одной, на наш взгляд, наиболее совершенной попытке описания разновидностей или «родов глаголения» в русской (подчеркнем: только русской) устной и письменной речи XVI–XVII вв., представленной в «Риторике» архиепископа Макария 1618 г. В ней выделены «род смиренный, который не

восстает над обычаем повседневного глаголанья» (устная речь), «род высокий», основу которого составляют общеупотребительные средства, но есть также метафоры и архаично-книжные элементы (художественная речь), «род мерный», представленный в грамотах, посланиях (деловая речь)¹⁰. Таким образом, в риторике представлен взгляд на русский язык XVI–XVII вв. как на единство из трех разновидностей в соответствии с основными функциями языка. Наличие этих сфер применения языка (добавим к ним еще культовую) реально осознавалось образованными людьми той поры, см. следующее обращение протопопа Аввакума к царю Алексею Михайловичу: «А ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его и *в церкви, и в дому, и в пословицах*»¹¹ (выделено нами. – Г. С.). Что касается известных показаний Г. В. Лудольфа о наличии у русских двух разных языков: для устного общения и для письма, то следует сказать, что менее всего эти показания можно отнести к тому времени, когда они были сформулированы, т. е. к концу или ко второй половине XVII в. Лудольф привел распространенное выражение («так у них и говорят»), относившееся, вероятно, к более ранней эпохе и касающееся не всех сфер применения языка, а лишь устной речи и конфессиональной письменности. В действительности же в России XVII в. «разговаривали, естественно, по-русски, но и писали главным образом по-русски, не по-славянски»¹². Кстати, по мнению Ф. П. Филина, «единого письменного литературного языка с упорядоченной системой норм, обслуживающего все нужды общества, в XVII и первой половине XVIII века не существовало», «от наличия в Древней и Московской Руси двух близкородственных, но разных письменных языков отказаться невозможно»¹³.

Задача состоит не только в том, чтобы определить состав имевшихся в то время средств общения – языков или их разновидностей, но и в том, чтобы выявить выполняемые ими функции, установить уровень их нормированности и отношение к устной разговорной речи. Наше мнение о литературно-языковой ситуации Московской Руси близко к точке зрения Ф. П. Филина о русско-церковнославянском двуязычии и сводится к следующему. На всем протяжении исторического периода до XVIII в. сохранял свой престиж, постепенно сужая сферу действия, церковнославянский язык русской редакции, принятый главным образом в конфессиональной (литургической, канонической, гомилитической, ди-

дактической) и конфессионально-светской (церковно-ораторской, полемической и агиографической) литературе. В одних сочинениях этот язык представлен в более «чистом» виде, в других, например, житиях местных святых, содержал значительное число исконно русских речевых средств. В эпоху Московской Руси развитие церковнославянского языка происходило лишь в конфессиональной литературе в соответствии с установками Киприана, но оно не было значительным. Борьба никонианцев со старообрядцами не привела к языковым переменам. Кроме церковнославянского языка русской редакции употреблялся русский литературный письменный язык, в котором выделялись две разновидности: а) книжно-традиционная и б) демократическая. Здесь идет активное наступление живого разговорного языка. Расширяется круг идей, представлений и понятий, обсуждаемых в письменности, но не разработан литературно-языковой этикет их описания, что приводит к усилению народно-разговорного элемента в целом ряде сочинений. Начиная с середины XVI в. и постепенно нарастая, осуществляется демократизация письменного языка, стихийная узуальная выработка фонетико-грамматических норм и увеличение общерусского лексического фонда. Нормализация в этот период реализуется путем подражания «образцовым» произведениям.

Письменная и устная разновидности русского языка существуют как обособленные системы, вступающие в контаминацию в новых повествовательных жанрах, их бывшее противопоставление сменилось органическим, проникающим сближением, при этом разговорная речь выступает как более существенная и определяющая основа национального языка, чем традиции книжнославянские¹⁴. По нашим наблюдениям, основное различие в области лексики между книжной и разговорной речью касалось разной употребительности и неодинаковых семантико-стилистических свойств как отвлеченной, так и конкретной лексики в этих двух типах речи¹⁵.

Русская средневековая письменность имела сложный состав, а язык ее развивался весьма динамично, поэтому литературно-языковая ситуация на Руси была неодинаковой не только в разные периоды истории языка, но непохожей и в соседствующие столетия. Языковое оформление повествовательных и художественных текстов зависело от быстро меняющихся политических, идеологических и религиозных течений эпохи, ср. язык художе-

ственных текстов XVI в. с его архаическими тенденциями и художественную речь XVII в., заметно освободившуюся от уз традиции. В наглухо «затворенном» опричном Российском государстве XVI в., где церковь и царь не допускали культурного возрождения, только публицистика обращалась к мирским темам (отсюда особое значение творчества Иосифа Волоцкого, Ивана Грозного, Максима Грека, Андрея Курбского, Вассиана Патрикеева, Ивана Пересветова), а беллетристика занимала второстепенное положение. В XVI в. продолжается «реставрация старокнижных традиций», начавшаяся в XV в.¹⁶

Все авторы, начиная с И. И. Срезневского, едины в оценке поворотного в истории языка XVII в.: «поворот и действительно начался в XVII веке. Еще не кончилось стремление языка книжного отдаляться все более от народного, когда уже явились попытки действовать наоборот, сблизить книжный язык с народным»¹⁷; «Резкое изменение общезыковой ситуации с XVII в. заключается в том, что разговорный язык получает доступ в письменность. Возникает целый ряд новых литературных жанров, очень мало связанных со старым церковнокнижным языком и в основном отражающих язык разговорный»¹⁸. Социально-исторические причины обусловили активизацию литературно-художественной деятельности общества в XVII в. Расширяется социальный состав пишущих за счет мирян разных чинов и сословий, увеличивается объем литературной продукции («эпоха молчания сменилась эпохой русского многоглаголания»), появляются новые роды литературы: поэзия и драматургия. Картина литературной жизни Средневековья, которую рисовали дореволюционная наука и филологи 20–30-х гг. XX в., сильно отличается от наших современных представлений о составе литературы Московской Руси. За последние десятилетия открыто большое число ранее не известных художественных, публицистических и историко-повествовательных текстов, обнаружены целые литературные школы, творческие направления и даже новые литературные жанры: лирическая поэзия, основанная на фольклоре, демократическая сатира, агитационная публицистика и т. п., то есть увеличились сведения об объеме самой литературной продукции, которые не всегда учитываются лингвистами. В XVII в. не проводятся мероприятия канонизирующего, обобщающего характера, как создание Никоновской летописи (20–30-е гг. XVI в.), собрание Великих Миней Четых. XVII век не собирал старое, он в избытке создавал свое.

Меняются отношения между литературой и деловой письменностью. Отдельные типы деловой речи в некоторые моменты приближались к книжно-литературному языку, а другие типы всегда ему противостояли. Неодинаковым было развитие деловой письменности в разных частях Русского государства. Местная деловая письменность эволюционировала медленнее, чем деловой язык Москвы. Разные процессы происходили, например, в юридической речи Москвы и в языке правовой документации на местах. Правовые документы одной и той же местности в языковом отношении не были одинаковы, так, язык московского Уложения 1649 г. более архаичен, чем язык царских указов, наказов воеводам, таможенных грамот и т. п., в каждом типе деловой письменности действовали свои узуальные нормы, еще малоизученные, поэтому наряду с попытками обобщения данных о специфике делового языка целесообразно продолжать дифференцированное изучение деловых текстов. Несомненна зависимость между расширением функций деловой речи и усилением роли собственно русской разговорной лексики в литературном языке. Однако отодвигать начало действия этих процессов до второй половины XVII в., как предлагала К. П. Смолина¹⁹, было бы неправильным. Уже в XVI в. наблюдается эпизодическое использование элементов делового письма в литературе и публицистике (Стоглав, Домострой, хозяйственные и технические руководства). С двадцатых годов XVII в. процесс принимает широкие размеры (агитационная письменность Смуты, сатирические произведения и т. п.), с этого времени, а не со второй половины XVII в., как считал С. С. Волков²⁰, деловой язык представлял развитую полифункциональную систему.

Коснемся состояния устной речи Московской Руси. Просторечия, понимаемого сейчас как эмоционально-сниженный пласт литературного языка и наддиалектные, не имеющие изоглоссы явления, стоящие вне литературного языка, в XVI–XVII вв. не было. Для периода Московской Руси речь горожан не была отделена от диалектной речи сельского населения. Мнение об относительном единстве уже в XVII в. общерусского городского просторечия²¹ не может быть принято из-за отсутствия фактических данных. Ф. П. Филин предполагал, что «выделение просторечия началось во второй половине XVIII в.»²². В XVI–XVII вв. отчетливо противопоставление «народно-разговорное – книжное». В понятие «народно-разговорное» мы включаем элементы обще-

русского употребления из речи городского и сельского населения и диалектные средства. Все эти явления принадлежат устной бытовой речи, они отражаются в деловой письменности, частной переписке, а также в разговорниках и азбуковниках, где в целях ознакомления иностранных купцов с русской речью воспроизводились реальные ситуации бытового и делового общения.

Как показывает анализ памятников письменности, средством повседневного общения русских в XVI–XVII вв. был русский разговорно-бытовой язык диалектного характера, в котором имелось значительное число общерусских средств (ср. мнение Б. А. Ларина: «...исследования актов и других памятников письменности... опровергают предположение о едином и общенародном разговорном языке Московской Руси»²³). Вся территория России была в равной мере диалектной, в меньшей степени это относилось к Москве и нескольким крупным ремесленным центрам, как Великий Новгород, Псков, Вологда, Астрахань и др., в коийне которых заметнее проступали общерусские черты, не подавляя, впрочем, местного начала. Одновременно укажем на предположительный характер высказанного выше суждения, поскольку сравнительно-сопоставительные исследования койне русского средневекового города на фоне крестьянской речи окружающего региона пока еще никем не выполнены. Главная трудность при этом – изучение речи населения окружающего региона, что осложнено отсутствием текстов, связанных с мелкими сельскими пунктами. Замена исторических сведений современным диалектным материалом заметно снижает доказательность выводов.

Несколько иной была картина в Сибири и южнорусских областях, население которых в то время сильно обновилось: здесь процессы нивелирования диалектных особенностей и отбора общерусских средств в результате непосредственного общения уроженцев разных областей могли идти довольно быстро, хотя и с меньшей интенсивностью, чем, например, в Москве. Существовавшие в этот период формы устной и письменной речи: художественной, деловой, культовой и др. – были в разной степени связаны с диалектным разнообразием устной бытовой речи. Что касается проблемы так называемой «диалектной основы национального языка», то можно утверждать, что единственной диалектной основы не было и быть не могло. Перерыва в развитии языка древнерусской народности к языку великорусской народности не было, нет границы и между донациональным и национальным состоянием языка. Фонд об-

щерусских средств, переходящих из одного языкового состояния в другое, постоянно возрастал, именно он и был ядром, основой, базой национального языка. В этом ядре одни элементы, например, родовые названия, появившиеся в древнерусский период и ранее, были первоначально чаще южнорусскими, а значительное число видовых обозначений зафиксировано лишь в XV–XVII вв. и первоначально в севернорусских источниках²⁴. Ведущая роль среднерусских говоров и особенно говора и письменности Москвы состояла в том, что благодаря историческим условиям формирования русской нации именно здесь происходил процесс отбора, закрепления и распространения общерусских средств.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. – М., 1938; Хютль-Фольтер Г. Диглоссия в Древней Руси // Wiener slavistisches Jahrbuch. 243. 1978.

² Хютль-Фольтер Г. Диглоссия в Древней Руси... С. 111.

³ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. ... С. 22.

⁴ Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. – М., 1983. – С. 85.

⁵ Там же.

⁶ Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка. – М., 1983. – С. 135.

⁷ Виноградов В. В. Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. // Вопросы языкознания. – 1969. – № 6. – С. 25.

⁸ Буслаев Ф. И. История русской литературы. – М., 1904. – Вып. 1. – С. 251.

⁹ Мещерский Н. А. История русского литературного языка. – Л., 1981. – С. 113.

¹⁰ Бабкин Д. С. Русская риторика XVII в. // ТОДРЛ. – М.; Л., 1951. – Вып. VIII. – С. 348.

¹¹ Сочинения протопопа Аввакума. Памятники истории старообрядчества XVII в. – Л., 1927. – Кн. 1. – Вып. 1. – С. 475. (Ср. оценки: Камчатнов А. М. История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века. – М., 2008. – С. 207–218.)

¹² Котков С. И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – М., 1980. – С. 47.

¹³ Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. – М., 1981. – С. 108, 111.

¹⁴ Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. – Л., 1961.

¹⁵ Судаков Г. В. Синонимы в литературно-художественных текстах XVII в. // Парадигматические и синтагматические отношения в лексике и фразеологии. – Вологда, 1983.

¹⁶ История русской литературы. – Л., 1980. – Т. 1. – С. 238, 241–242.

¹⁷ Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X – сер. XVIII в.). – М., 1975. – С. 130.

¹⁸ История русской литературы... С. 258. (Ср. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. ... С. 47; Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. ... С. 63.)

¹⁹ Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка. – М., 1959. – С. 37.

²⁰ История лексики русского литературного языка кон. XVII – нач. XIX вв. – М., 1981. – С. 7.

²¹ Волков С. С. Лексика русских челобитных XVII в. Формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства. – Л., 1974. – С. 181.

²² Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка... С. 7.

²³ Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси... С. 32.

²⁴ Судаков Г. В. Лексикология старорусского языка. – М., 1983.



Глава II.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СЛОВО В СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1. СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ВАРИАНТНОСТЬ (НАЗВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ)

Предметно-бытовая лексика имеет очевидную связь с этнографическими качествами обозначаемых реалий, поэтому следует отметить, что верхняя одежда русских в период Московской Руси была преимущественно длиннополой, ср. замечание иностранца, посетившего нашу страну в XVI в.: «Московиты очень бранят короткую итальянскую, французскую, испанскую и германскую одежду, потому что она оставляет открытыми те части тела, которые следует скрывать более всего. Сами же они, следуя обычаю всего Востока, одеваются для степенности в два или три платья почти до пят»¹.

Названия верхней длиннополой одежды были довольно устойчивы, но территориальная модификация реалий была стимулом для регионального варьирования семантики и морфемной структуры слов, т. е. способствовала развитию дериватов и лексико-семантических вариантов. Изменчивость в сфере предметно-бытовых названий – сложное явление, здесь действуют две противоположные тенденции: 1) конкретный характер номинации предрасполагает к постоянству и однозначности слова; 2) переменный вид реалии в связи с ее функционированием в географическом пространстве вызывает сдвиги в семантике и фонемно-морфемном облике слова. Выявление подобных различий на историческом материале требует большой работы по сбору фактов, идентификации реалий по описаниям, сопоставлению их с конкретными названиями и т. н.

Мы рассмотрим несколько полисемантических слов, имеющих семантические варианты, однокоренные соответствия и характеризующихся территориальной дифференциацией. Для исследования выбраны семантически близкие слова с корнями *свит-* и *сук(н)-*, которые появились в разное время и обозначали разновидности длиннополой верхней одежды, а в ряде случаев – одежду до колен и выше, в зависимости от ее назначения. В описании будет постоянно присутствовать второй временной план – показания словарей XVIII в. и русских говоров национального периода, что необходимо для уточнения семантики, географии и дальнейшей судьбы лексем.

Свита ('род первой верхней одежды') отмечается в первых письменных памятниках, например, в Изборнике 1076 г. [Срезн.-З, с. 275]. Слово возникло в праславянскую эпоху от *сѣвити*, известно в других славянских языках [КЭСРЯ, с. 298]. В древнерусский период существительное *свита* ('одежда постриженников') распространено в произведениях религиозного содержания и летописях. В аналогичных текстах сохраняется в XVI–XVII в.: но не ту абие постризаше его, но прежде иовелеваше ему облещися в *свиту* длъгу еже от сукна черна и в ней преходити съ братма время довольно, дондеже изъявыкнѣша весь устрой монастырьский [ПЛДР-IV, с. 338].

Кроме того, в XVI–XVII вв. *свита* в значении 'одежда вообще, чаще верхняя' употребляется в списках с более ранних текстов, а также в церковно-религиозной литературе, художественных и фольклорных текстах архаично-книжной ориентации: «изыде купчинъ, имея *свиту* и хлебъ» [Тихонравов, с. 311]; «овогда убо безъ срачицы, овогда же безъ *свиты* возвращашеся» [Пам. церк.-учит., с. 68]; «Александръ же всих македонѣвъ в *свиты* перские перемены, персы же в македонские *свиты* облече» [ПЛДР-V, с. 98].

Случаи употребления лексемы за пределами вышеуказанных типов текстов ограничены, в деловой письменности она отсутствует.

У деривата *свитка*, наблюдаемого в текстах с конца XV в., иная сфера употребления и другая семантика. Хотя он создан по модели деминутива, но уменьшительного значения в своей семантике не имел. *Свитка* в отличие от *свита* называет, как правило, конкретный реальный предмет одежды типа широкой длинной сорочки, которую часто носили монастырские работники и монахи. Наименование употребляется в историко-повествовательных и деловых текстах: «по преставлении же его обретошася под *свиткою* на

теле его велики чеи железны» [ПСРЛ-XXV, с. 300]; «дано... за сапоги да за *свитку* за порьтки» [ЛОИИ. К. 115. Д. 662. Л. 6]; «купил *свитку* белу дал осмь алтынъ» [КДРС]; «черницы ходять якоже мирския жены... а *свитка*, сиречь рубаха, якоже у женъ мирскихъ была» [Проскинитарий, с. 29]; «келья *свиточная* а в ней моют *свитки* на братью» [КДРС]. Ср.: «*Свитка* – монашеская срачица, зри: власяница и срачица» [Лекс. трезяз., с. 637]; «*Свита* чернцы зовут рубашку» [Рук. лекс., с. 373].

В значении 'рабочая верхняя одежда монастырских служек, тип сермяги' слово *свитка* представлено по всему Европейскому Северу России (В. Новгород, Тихвин, Белозерье, Вологда, Подвинье): «4 запоны холщевые, 14 *свитокъ* холщовыхъ муко-сейныхъ, 12-ры рукавицы» (Ник., 1910, с. 194); «хлебнику Филке купил безрукавную *свитку*» [ГАВО. Ф. 883. Д. 19. Л. 186 об.]. Ср.: *Свита* – *гуня худая* [Рук. лекс., с. 373].

В коллекции Государственного Исторического музея представлена одежда XVII в. из грубого серого сукна, длиной до колен, без ворота, с суживающимися к запястью рукавами, она идентифицирована как *свита*². Не оспаривая существа идентификации, уточним только название предмета одежды: в XVII в. его могли называть только *свиткой*, а не *свитой*.

Вместе с тем с XVII в. у слова *свитка* представлено также значение 'женская нарядная верхняя одежда': «да взяла *свитку* ионошеную синюю матери моей приданое» [Протопонов-2, с. 261]; «даю приданое... *свитка* настрафилная с нарядом цена два рубля две гривны да *свитка* летчинная цена рубль с гривною» [АЮБ-III, с. 287]; «поняль я Кириль у него Алексея за себя сестру его родную Анну Никифорову дочь, а съ нею взяль приданого... *свитка* поношенная добрая съ рядом» [КДРС]; «же-не моей Марине... дочерей и племянницъ замужъ отдать, приданого имъ дать по *свитке* доброго сукна» [АЮБ-I, с. 566]. Данный лексико-семантический вариант зафиксирован в двинских и зауральских источниках.

Активность слова *свитка* отразилась в появлении деривата с уменьшительно-уничижительным оттенком: «Одень мою спинку, вели дать *свитку*. Воистинно, государь, хожу гол, что бурой вол. Свитченко у меня одно, и то не бывало с плечь давно» [ТОДРЛ-XXI, с. 77].

В местных говорах национального периода *свита*, *свитка* употребляются со значениями, близкими к отмеченным в старо-

русском языке: 'рабочая мужская верхняя одежда типа халата' – тул., новг., орл., тамб., курск., белгор., влад., моск., череп. [Опыт, с. 199; Атлас рус. нар. говоров центр. обл. к востоку от Москвы, карт. 195; Карт. Сл. рус. говоров Карелии; Иванова В. Ф. Сл. говоров Подмосковья. М., 1969, с. 463]; 'старая поношенная одежда' – псков., онеж. [Карт. Сл. рус. говоров Карелии; Карт. Псков., обл. сл.], т. е. слово проникает и на юг (см. современные описания свиток³).

Развитие значения 'одежда' у слова *сукъно* было отмечено в памятниках древнерусского периода [Срезн.-III, с. 615], тогда данный способ семантической деривации ('ткань' – 'одежда') был довольно распространен. Однако эта тенденция не нашла закрепления в языке, вероятно, ввиду многозначности исходной лексемы и спада активности данного принципа номинации. Однако в текстах XVI в. подобные примеры еще отмечаются: «а его за скуть лихого *сукна*, в нем же хожаше; в рубех и в *сукне* обльчены» [Срезн.-III, с. 615].

С XVII в. в письменных источниках наблюдаются специальные названия с корнем *сукн-*: довольно распространенное *сукня* (1610), *суконник* (1632), *сукник* (1638).

Сукня – 'верхняя женская одежда из сукна, чаще зеленого цвета, на пуговицах' – широко употребляется в севернорусских и сибирских актах, изредка – в московских, отмечено в западной части южнорусской области (Смоленск, Брянск, Путивль, Яблонев, Дедилов), например: «сорофан богрецом обложен, с круживам жемчужным да *сукню* зелену настрофилну» [Пам. об. Смол., с. 56]; «жены его однорядка... да *сукня* зелена» [АС-2, с. 204]; «однорядка женская да две *сукни* распашные, обе сукно английское светлозеленое съ нарядомъ цена 9 руб.» [Богосл., с. 150]; «Явил угличанин Фалелей Григорев... три *сукни* женские ж зеленые сукно аглинское» [РГАДА. Ф. 137 (Устюг). Д. 41. Л. 12 об.]; «покрали воры... три *сукни* женских десять авчинъ» [РГАДА. Ф. 1202. Оп. 2. Д. 375. Л. 4]. См. данные из пермских памятников⁴, южнорусские примеры⁵.

Охарактеризованный лексико-семантический вариант слова *сукня* является синонимом к северо-восточному слову *свитка* 'женская нарядная одежда'.

В западнорусской области, а может быть, и на юге *сукня* обозначало мужскую и женскую одежду⁶. Кстати, в старобелорусском языке *сукня* – 'мужская и женская верхняя одежда'⁷.

Слово *суконник* отмечается редко, пункты его употребления: Подвинье, В. Устюг, Онега, Вологда. Один раз зафиксировано в тексте, написанном в Воронеже. Вероятно, это семантический дублет к слову *сукня*, так как описание предмета одежды, обозначаемого этими словами, совпадает вплоть до зеленого цвета ткани: «унесли зицун да штаны из белово сукна да *суконник* женской летчинной темнозелен» [Мат. Ворон., с. 324]. Упомянутый в воронежском акте *суконник* отождествлен с *сукманом*, см.: «Неустрой Тарарыхов продал усмонскому атаману Федору Петрову из опальных Тимошкиных животов Лебедевцова *суконникъ* да сошника с по-лицею... а взял в государеву казну у Федора за *сукман* да за сошники шес алтын» [Мат. Ворон., с. 394–395].

Сукник встречается только на севере: «я, Акилина, взяла *сукникъ* овечи двенатцать алтынъ» [Ефименко, с. 28]; «*сукник* синей овечей подержаной пугвицы оловянные, *сукник* зеленой одинцовой подержаной» [КДРС].

Сукня и *суконник* довольно распространены в говорах национального периода и обозначают различную суконную одежду [Даль-IV, с. 358], сведений о бытовании лексемы *сукник* нет.

Слово *сукман* изначально известно в качестве имени собственного: *Сукман Тимофей Топорков* (1460 г.) [Веселовский, с. 304], с XVI в. известно и как нарицательное со значением 'суконный балахон, кафтан, свитка'. Происхождение лексемы не выяснено окончательно. По одной версии *сукман* – от *сукать*, *сукно*, ср.: 'Сукманина сев.-вост. – ткань, у которой основа льняная, а уток шерстяной' [Даль-IV, с. 358]. Есть предположение и о тюркской этимологии [Фасмер-III, с. 798–799]. Нам представляется вероятным его исконно русское происхождение, но со следами влияния тюркских заимствований на *-ман*.

Слова *сукман*, *сукманец* фиксируются на севернорусской территории, в районе Торжка и в восточной зоне южнорусского наречия (Воронеж, Новосиль, Яблонов, Лебедянь, Севск): «страница нисана старцу Никону Коцию. 176 году февраля в 15 день дал... ряску новую тонкую, *сукман* новой сукманной, коты белые новые» [Шляпин, с. 209]; «да его ж Захарева кафтаня крсть серебряной да *сукман* синей заложены» [КДРС]; «лежит де подле дороги платье: неведомо *сукман* синей, неведомо кафтан» [АЮБ-III, с. 283].

Судя по примерам, *сукман* был семантически близок к словам *свитка* и *сермяга* в значении 'суконная рабочая одежда'.

Позднее в вятских и тверских говорах известно *сукман* 'суконный кафтан' [Опыт, с. 220].

Сукман 'женская рабочая одежда из грубого сукна, вероятно, тип сарафана' наблюдается в письменности с конца XVI в.: «зделали коровнице Дарье *сукман* сукоюй цена 12 алт» [Вотч. хоз. книги, с. 150]; «*сукманъ* женской десятеры коты красные» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 82. Л. 40 об.]; «шапка муская черленая небольшая поношенная *сукман* женской белой поношеной» [КДРС]; «мы де у той вдовы пьяным обычемъ взяли насилством два зипуна сермяжных белых... да *сукман* синей» [ГАВО. Ф. 182. Оп. 3. Д. 416. Л. 5]; «оставляетца у меня первой моей жены Анны приданого платья... ферези дорогильные желтые теплые, *сукман* черленой красной поношен» [АЮ, с. 462]; «Дано в Заболотное коровнице на *сукманъ* да овчиннику на балахонъ три алтна» [ВОКМ. Д. 9548. Л. 26].

Районы употребления слова *сукман* 'тип женской одежды': Подвинье, Посухонье, Олонец, Тихвин, Валдай, Мангазея, т. е. севернорусская территория, и Воронеж.

Деминутивы к слову *сукман* связаны с данным лексико-семантическим вариантом и зафиксированы тоже в севернорусской деловой письменности: «а ис клети взяли... *сукманенко* суконное женское да кафтаненко ветчаное» [КДРС]; «купил у Якова, *сукманишко* коровничье ветхо» [КДРС].

Сукман зафиксировано в старобелорусском языке как название мужской и женской одежды⁸.

Показательны данные современных новгородских, тверских, московских и воронежских говоров, где *сукман* – 'женский сарафан из сукманины' [Опыт, с. 220; Карт. СРНГ].

Отметим обнаруженное в южнорусской области территориальное противопоставление лексем *сукня* и *сукман*: *сукня* – западная зона, *сукман* – восточная зона. Лишь в документах из Яблонова известны оба эти слова: «ис караби вынели... *сукман* цветом синей» [РГБ. Ф. ОИДР. Акты. Д. 2/10. Л. 1]; «в коробье было однарядка цена пят рублей да *сукня* красная цена четыре рубли» [Там же. Д. 2/13. Л. 1].

География употребления слова *сукман*, в частности, его бытование в восточной части русской территории, является дополнительным аргументом в пользу тюркского происхождения элемента *-ман* в этом слове.

Все рассмотренные наименования – исконного происхождения, но возникли в разное время, с помощью разных принципов номина-

ции и способов словообразования: а) по технологии производства ткани; от глагола *свивати* образовано *свита*, далее по модели первичного деминутива (на -к-), *свитка*, от него, в свою очередь, образован деминутив на -енк- – *свитченка*; б) по материалу; от *сукно* создана *сукня*, по модели на -ник: *суконник* и *сукник*; о слове *сукман* сказано выше. Характеризуя предметы одежды с разных сторон, даже при совпадении общего ядра в семантике, эти слова различались оттенками значения, т. е. активно развивали лексико-семантические варианты. В этот процесс не были вовлечены лексемы *свита* ‘монашеская одежда’ ввиду своего терминологического характера и *свита* ‘верхняя одежда вообще’, последняя вошла в синонимический ряд родовых названий одежды: платье – одежда – порты. Выпало из активного употребления слово *сукно* ‘одежда’ в связи с угасанием метонимического способа номинации в группе «одежда» и развитием суффиксальных способов словообразования.

Важно отметить факты синонимичности отдельных дериватов в составе одного корневого гнезда и лексико-семантических вариантов, например, в значении ‘тип женской одежды’ семантически сближаются *сукня*, *суконник*, *сукник* и *сукман*. Синонимичны по отношению друг к другу *свитка* и *сукман* в значении ‘суконная рабочая одежда, сермяга’.

Жанрово-стилевое размежевание характерно только для пары *свита* – *свитка*: первое замкнуто в сфере литературы архаично-книжного направления, второе известно в деловой письменности. Все остальные слова – достояние деловой речи и устного повседневного общения.

Причины территориальной дифференциации проанализированных слов хорошо известны. Только слово *свитка* ‘тип монашеской одежды’ имело общерусский характер. Остальные лексемы характеризовались ограниченными ареалами употребления. Севернорусизмами для XVI–XVII в. были *свитка* ‘рабочая одежда, сермяга’ (на всем Севере) и *свитка* ‘женская одежда’ (северо-восток и Зауралье); приобретению данных вторичных значений в севернорусских актах способствовала широкая употребительность здесь слова *свитка* ‘монашеская одежда’ благодаря обилию на севере монастырей. Севернорусские *сукник* (общее для всего севера) и *суконник* (северо-восток) появились без постороннего влияния, на основе русских словообразовательных моделей. Зато южнорусизмы *сукня* (западная зона) и *сукман* (восточная зона) испытали постороннее воздействие, определившее и территориальное противопо-

ставление лексем: *сукня* – результат западнославянского влияния, *сукман* – следствие тюркоязычного воздействия. В севернорусских актах эти лексемы употреблялись без ограничений.

Хотя процессы семантического развития в кругу названий длиннополой верхней одежды активно продолжались в преднациональный период, но наступало время короткой одежды, поэтому анализируемые наименования постепенно сокращаются в употреблении, переходя в разряд диалектных или просторечных наименований крестьянской одежды.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI века. – М., 1983. – С. 73.

² Труды Государственного исторического музея. – М., 1959. – Вып. 33. – Таблица.

³ Лебедева А. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX – начала XX в. // Русские. Историко-этнографический атлас. – М., 1967. – С. 247.

⁴ Полякова Е. Н. Названия предметов одежды в пермских памятниках XVII–XVIII веков // Лингвистическое краеведение Прикамья. – Пермь, 1977. – С. 44.

⁵ Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв. – М., 1970. – С. 163.

⁶ Борисова Е. Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. – Смоленск, 1974. – С. 78.

⁷ Марченко Е. З. Названия одежды и головных уборов в старобелорусском языке XV–XVI вв. (на материале деловых памятников Великого княжества Литовского) // УЗ вузов Литовской ССР: Языкознание. – Вильнюс, 1964. – Вып. 13. – С. 103.

⁸ Там же.

2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКИ (НАЗВАНИЯ ВМЕСТИЛИЩ ДЛЯ ПОСУДЫ)

Хозяйственная и культурная деятельность общества ощутимо сказывается на развитии словарного состава языка. Эволюция форм быта, усовершенствования в ведении домашнего хозяйства

ведут к пополнению и обновлению традиционных лексических объединений, а также к развитию новых тематических групп. Группа названий вместилищ для столовой и кухонной посуды фактически развилась в старорусский период за счет изменения семантики ранее существовавших слов, а также благодаря процессам словообразования, традиционным для русского языка; иноязычные заимствования здесь редки. Большая часть анализируемых наименований фиксируется в письменных источниках, начиная с периода Московской Руси.

Для слов, составляющих описываемую группу, характерны следующие мотивационные признаки: название действия (*став* – от *ставити*; *погребчик* – от *погреб*, которое в свою очередь от *погребати*), название содержимого, т. е. хранимого типа посуды (*судница* – от *судно*). Первоначально некоторые слова имели другие значения: *став* – ‘тип посуды’, у ряда лексем семантика ‘вместилище для посуды’ появилась на определенной ступени деривационного процесса (*погребчик*, *судница*).

Став как название посудного ящика связано семантически и формально со словом *став* ‘разновидность посуды’, которое было известно с начала XVI в., впервые отмечается в духовной Дмитрия Ив. 1521 г. В значении ‘посудный ящик’ слово наблюдается в рязанских памятниках XVI в.¹, но наиболее широко распространяется с середины XVII в.: «*став* с ножами» (Москва, 1648 г.) [Кн. пер. казны Ник., с. 72]; «*став* писаной деревянной, а в нем 12 ложек корелчатых; *став* обложен бархатом рудожелтым, оправа месты серебряныя, в нем 10 ножей да двои вилки» (Москва, 1689 г., оп. им. Голицыных) [Д. Шакл-IV, с. 208, 216]. Из выявленных примеров следует, что *став* имело значение ‘коробочка, футляр для хранения столовых приборов’. Можно отметить также значение ‘совокупность определенного числа предметов, соединенных каким-либо образом, например, вложенных один в другой’: «дати ми, Меньшику Голенину, *став* блюд колужской» (1528 г., дух. В. Узкого) [АФЗХ-II, с. 91]; «два *става* блюд даны» (Москва, 1674 г., кн. расх.) [ДТП-III, с. 215]. В картотеке ДРС имеются аналогичные примеры из двинских, белозерских и волоколамских текстов второй половины XVI в.

В письменных источниках часто употребляется деминутив *ставик*, который обозначал ‘вместилище для хранения столовых приборов и посуды’. В исторических словарях это слово не от-

мечено, в текстах наблюдается с 1630 г.: «4 *ставика* ставчиков троецких» (Москва, 1630 г.) [РИБ-3, с. 967]; «*ставик*, а в нем 6 *стоканцов* *стекляных*» (Москва, 1689 г., оп. им. Голицыных) [Д. Шакл.-IV, с. 92]. Сюда относится и вариант *вставик*: «а обиты боранными кожами три *вставика* в которые *вставики* вставляют водяные скляницы» (Москва, 1641 г., кн. расх.) [Заб. Дом. быт-I, с. 671]. Из этого единственного примера, известного исследователям, следует, что *вставик* – ‘футляр, коробка с гнездами для посуды’ (ср. другое толкование: ‘сосуд с крышкой’ – Сл РЯ XI–XVII вв.). *Ставок* – словообразовательный вариант к *ставик* – является полным семантическим соответствием к *став* ‘футляр для столовых приборов’: «*ставок* столовой с ножами, в нем тринадцать ножей» (Вологда, 1661 г., оп. им. арх.) [ЛЗАК-III, с. 41].

В московских актах единично отмечается слово *ставенек*, обозначающее футляр для столовой посуды: «посланному поднес... *ставенек* с столовыми судами, а в том *ставенке* стакан, солонка, росолник, ножик с вилки, ложка, 2 блюда, 4 тарели, чашки» (1675 г., ст. сп.)².

Гнездо слов с корнем *став* – в значении ‘вместилище для столовых приборов, иногда – для посуды’ активно функционировало в русском языке и в национальный период (Даль). Однако одновременное употребление *став* ‘тип посуды’ и *став*, *ставок*, *ставенек* ‘вместилище для посуды’ порождало в речи семантическую двусмысленность и привело в конце концов к угасанию второго значения в слове и сокращению употребительности его производных в этом значении. В порядке компенсации от глагола *поставити* было образовано слово *постав* со значением ‘посудный шкаф, посудная стойка’, которое наблюдается в письменности с 1648 г. как общерусское средство: «я сирота твой у них за *поставом* уснул» (Вологда, 1648 г., чел.) – [Вологод. губ. ведомости. 1861. № 3]; «два стола, в том числе один писан, да *постав*, а в *поставе* посуда медная и деревянная, стеклянная и глиненная» (Москва, 1700 г., он. им.)³. В следующих примерах *постав* имеет значение ‘ящик, коробка, футляр, в котором хранили посуду и столовые приборы’: «2 *постава* стаканов и кувшинцов и малых розсолников и рюмок» (Москва, 1677 г.) [Опис. аптек., с. 65] (ср. показания словаря XVIII в.: *постав* – ‘шкаф с полками и дверцами’ [САР-1].

Еще шире употреблялось слово *поставец*, значение которого И. И. Срезневский определил как 'столик' [Срезн.], хотя в текстах есть описания поставцов самых различных форм. Впервые слово отмечается в рукописи 1556 г. (ср.: с 1578 г. — [Срезн.]), см. примеры: «суды были на *поставце* серебряные и в столы блюда были обычные государевы» (Москва, 1556 г., прием послов)⁴; «а стол у государя был в Грановитой в большой подписной полате. А *поставец* был Большой Соловец и прибавочные суды изо всех *поставцов*» (Москва, 1595 г., прием послов — Перс. д.-I, с. 201)). Ср. описание посудных поставцов иностранцами: «Среди залы, где мы сидели, стоял под сводами великий четырехгранный столп, вокруг него со всех сторон широкий стол, и был тот стол шириною с каждой стороны столпа в две добрых доски... На столе этом, вокруг упомянутого столпа, выставлена была одна лишь позолоченная серебряная посуда, несказанно великолепная и роскошная, доставала она гораздо выше, чем до половины столпа, и один ряд стоял над другим»⁵; «Вокруг столба имеются полки, в виде ступенек, одна над другой, покрытые материями. На каждую ступеньку ставят серебряные вызолоченные кубки разных видов и форм, большие и малые, и чаши восьмигранные, круглые и продолговатые»⁶. *Поставец* сочетал в себе признаки стола и шкафа, а подвешенный к стене напоминал и полку, это определяло его многофункциональность: в *поставце* хранили посуду, лекарства, книги, на нем раскладывали готовую пищу, шили одежду и т. п. Известно, что *поставцам* в царском дворце даже присваивали собственные названия: «В посольской книге упоминаются различные *поставцы*: Соловец, Колодезь, Судно, Писарь, Христофор и др. Каждый из них содержал, по-видимому, определенный набор посуды»⁷. *Поставцы* известны главным образом в московских и владимирских источниках, есть свидетельства употребления слова *поставец* 'стол, шкаф' в рязанских памятниках XVII в.⁸ В целом значение слова можно определить следующим образом: 'столик для столовой утвари и припасов; посудный ящик с полками или шкаф'. В одном тексте встретилось уменьшительное *поставчик* 'стол для столярных работ': делал к царю Петру Ал. в хоромы *поставчик* столярный по-налойному (Москва, 1683 г., кн. расх.) [Заб. Дом. быт-1, с. 432].

Словам *постав*, *поставец* в языке национального периода была суждена более активная жизнь, чем слову *став*. Ср. определения

слова *поставец* в словарях XVIII в.: «*Поставец* со всякою посудю; *поставец*, поставчик, полки; *поставец*, шкап, ковчег» [Вейсман]; «*поставец*, сундук, ящик, шкаф⁹; *поставец*, поставчик – род стоячего ящика с полками и дверцами для посуды» [САР]. См. более поздние показания: «Постав посудный, *поставец* и поставчик, судница, посудник, полочки или шкафчик для расхожей посуды, буфет; *поставец*, поставчик – вообще стол, столик, особенно с ящиком, полочками, со шкафчиком, налой; шкафчик стенной, угольный, судница, посудник, посудный шкаф [Даль]; '*поставец* – род невысокого шкафа с полками для посуды; подсобный столик, на который ставились принесенные из кухни кушанья для подачи их к столу; дорожный ящик, шкатулка для провизии, напитков' [МАС]. В настоящее время *поставец* – устаревшее слово.

Влиянием книжного языка можно объяснить употребление в одном случае сложного слова *сосудопоставка* 'поднос для столовой посуды': «Како отрокъ стол устроити имать? – Скатерть белую постелет, *сосудопоставку* посреде положит, талеру принесет» (кон. XVII в., Гражд. обычаев детских)¹⁰. Вероятно, это окказиональное образование, в других текстах оно не зафиксировано, оно и не могло закрепиться в языке, поскольку слова с корнем *став-* использовались как названия вместилищ, а не подносов.

Считаем ошибочным выделение сложного слова *блюдопоставецъ* в следующей фразе: «2 лукошка, 5 чаш пантюх, *блюдопоставецъ*, корыто рыбное, нитей парусных 4 мотка» (Кириллов, 1656 г.) [СлРЯ XI–XVII вв.]. В других текстах слово не обнаружено, не известно оно русскому языку национального периода. Полагаем, что *блюдопоставец* – результат неверного прочтения, это соединение слов *блюдо* и *ставец*, которые хорошо документированы письменными источниками.

Слово *погребец* образовано от *погреб*, имело значение 'ящик, коробка с ячейками для хранения стеклянной посуды с напитками', отмечается в письменности с середины XVI в.: «а меду давали по двенатцати ведер, а пива по двенатцати ведер, да мушкатели по *погребцу*, как в четверть ведра» (1554 г., ст. сп.) [Польск. д.-II, с. 454]; «да *погребец*, а в нем скляница» (Астрахань, 1598 г., досмотр)¹¹; «в задней келье *погребец*, поволочен ворванью, окован железом, а в нем шесть скляниц» (Москва, 1630 г., оп. им.) [РИБ-3, с. 939]. Деминутив *погребчик* отмечается в письменности с 1626 г.: «торговому человеку за по-

гребчик бумажный в нем четыре склянки маленькие зеленые 3 алт. 2 д., куплен к царице в хоромы на водки» (Москва, 1626 г., кн. расх.) [Заб. Дом. быт-2, с. 693]. Многочисленные факты свидетельствуют об общерусском характере слов *погребец*, *погребчик*, они употребляются в деловой письменности и в летописях, см. летописное свидетельство об устройстве погребца: «тех составных водок стклянка осталася и есть в аптеке, стоит в *погребце*, в наугольном заднем гнезде» (Летописец 1619–1691 гг.) [ПСРЛ-20, с. 197]. С тем же значением употребляются эти слова и в языке национального периода [САР; Даль].

Слова *став*, *поставец*, *погребец* (и родственные с ними) решительно преобладали над другими названиями вместилищ для посуды, но их широкая семантика ввиду многофункциональности реалий приводит к необходимости в новых, более специализированных наименованиях, внутренняя форма которых более определенно бы указывала на значение слова: это *судница*, *судня* (от общего названия *судно* – *суды*). Данные лексемы отмечаются в письменности лишь во второй половине XVII в., причем первоначально на ограниченной территории: *судница* – в районе от Звенигорода до Рязани, *судня* – в Воронеже, см. примеры: «Д судницы осинового став болшей» (Звенигород, у., 1661 г., ои. им.) [ЦГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 14. Л. 97]; «*судница* деревянная с покрывшкою круглая и в ней два блюда десять ложек брата ковшик стоканъ» (Рязань, 1688 г., оп. им.) [ГА Рязан. обл. Кор. 205. Л. 18]; «продано три коробы и *судня* осиновая» (Воронеж, XVII в.) [ГАВорО. Ф. 182. Оп. 3. Д. 844]. В XIX–XX вв. *судница* ‘поставчик, поставец, посудница, посудная лавка, прилавок, рундук в избе, иногда над лавкой в одну или две полки, с дверками или с засовом’ является также локальным словом, известно в севернорусских, восточных, московских, рязанских и смоленских говорах [Даль и др.]. По данным картотеки СРНГ, *судня* ‘шкаф для посуды’ известно в московских, рязанских и смоленских говорах.

Из-за сравнительно позднего появления слова *посуда* (лишь с конца XVI в.) в донациональный период не успели развиваться производные от него со значением ‘вместилище для посуды’, они стали популярны лишь в говорах национального периода: олонецких, иркутских и др.

В языке Московской Руси отмечены единичные случаи употребления наименований вместилищ, образованных от названий

посуды. В описи имущества Голицыных встретилось слово *торельник*: «подблюдник и *торелник* кореновой плетеной, пена 10 д.» (Москва, 1689 г., оп. им.) [Д. Шакл.-IV, с. 92]. Позднее известно *тарелочник* – ‘корзина для складывания, убирания тарелок’. Одним примером зафиксировано слово *ядовочник* ‘ящик для хранения и перевозки ядов’: «розход старца Макария Полуехтова на Москве будучи: ...кожа на *ядовочник* осмь денег» (1665 г., кн. расх. Свир. м., № 60) [КДРС]. Возможно, подобные лексемы имели местный характер. Данный принцип номинации не получил развития в языке, он отражен лишь в старорусских диалектах как проба потенциальных возможностей русского словообразования.

В старорусском языке употреблялись также слова *казенка* и *шкаф*, которые обозначали вместилища многофункционального назначения, но иногда имели значение ‘место для хранения посуды’.

Рассмотренные наименования, как показывает анализ их семантики, чаще обозначают переносимые или перевозимые вместилища для посуды, но иногда являются и предметами мебели постоянного местонахождения. Названия вместилищ для посуды имеют исконное происхождение, они возникли как результат номинации по действию или по хранимым предметам и представляют собой гнезда однокоренных слов. Появление в старорусский период названий, указывающих на конкретные виды хранимой посуды, было вызвано тенденцией к конкретизации и спецификации наименований, но нашло выражение лишь в отдельных говорах или местных формах деловой письменности. Локальные факты отмечаются и среди других названий. Все названия, за исключением искусственного книжного образования *сосудопоставка*, являются элементами деловой и разговорной речи. Отмечается длительная сохраняемость в языке большинства лексем, хотя их значения и степень употребительности подвергаются определенным изменениям.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Борисова Е. Н. Из истории бытовой лексики рязанских памятников XV–XVII вв. Дис. ... канд. филол. наук. – Рязань, 1965. – С. 182.

² Памятники дипломат. отношений с империею Римскою. – СПб., 1851–1871. – Т. 4. – С. 1010.

³ Там же. С. 98.

⁴ Щербачев Ю. Н. Путешествие его княжеской светлости герцога Ганса Шлезвиг-Гольштинского в Россию 1602 г. // ЧОИДР. – 1911. – Кн. 3. – С. 307.

⁵ Аллепский П. Путешествие антиох. патр. Макария в Россию в половине XVII в. – М., 1896. – С. 23.

⁶ Там же. С. 26.

⁷ Юзефович Л. А. Из истории посольского обычая к. XV – нач. XVII в. Столовый церемониал московского двора // Исторические записки. – М., 1977. – Т. 98. – С. 333.

⁸ Борисова Е. Н. Из истории бытовой лексики рязанских памятников XV–XVII вв. ... С. 152.

⁹ Полной латинской Гесперов лексикон с российским переводом. – М., 1796. – Ч. 1. – С. 78.

¹⁰ Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания. – Пг., 1918. – С. 44.

¹¹ Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. – М., 1899. – Вып. 1. – С. 329.

3. АРХАИЧНОЕ И НОВОЕ В ГНЕЗДЕ СЛОВ С КОРНЕМ *КОРОБ-/КРАБ-*: ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ

Словарный состав русского языка в XVI–XVII вв. пережил значительные лексические и лексико-семантические изменения. Сложный процесс языковой консолидации русской народности в связи с ее переходом в национальное состояние повлек за собой обновление большинства групп лексики, активный отбор общерусских средств с широкими жанрово-стилевыми возможностями, переход в разряд архаизмов слов, употребляемых по традиции в текстах, утрачивающих свою актуальность. Указанные явления наблюдались и в названиях плетеных вместилищ для разных предметов, куда входили слова с корнем *короб-/краб-*, являющиеся наиболее употребительными в данной тематической группе.

Как и многие другие названия бытовых вместилищ, анализируемые слова были многозначными и, кроме основного значения, обозначали также тип измерительного сосуда и меру объема. Все

гнездо слов с указанным корнем на основании письменных источников XVI–XVII вв. может быть восстановлено в следующем виде (с учетом фонетико-орфографических вариантов и уменьшительных образований): *коробъ*, *коробка* (*коробочка*, *коробченка*, *коробченко*), *коробье*, *коробья* (*коробьишко*, *коробейка*, *коробечка*, *коробейченко*), *коробок* (*коробчик*, *коробочек*, *коробчишко*), *коробец*. Сюда же примыкают *коробъ*, *кробишка(о)* и несколько малоупотребительных слов церковно-книжной сферы с неполногласием: *крабийца*, *крабейца*, *крабица*, *крабѣца*, *крабѣя* – *крабия*. Возникло это гнездо в праславянскую эпоху и является общеславянским по своему распространению [Фасмер-II, с. 330] (расшифровку сокращений, не вошедших в перечень в конце монографии, см. в книге: [Словарь русского языка XI–XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений. – М., 1975].

Слово *коробъ* имело значение ‘плетеный или выгнутый из луба, драни сундук или большая корзина округлой формы с крышкой’ [СлРЯ XI–XVII вв.-7, с. 329]. Наиболее ранние примеры его употребления находим в новгородских грамотах 1265 г. [Срезн.-I, с. 1288]. См. более поздние иллюстрации: «*короб* с мелким со всяким лоскутьем» (1648 г.) [Кн. пер. казны Ник., с. 67]; «к московьской поездке под образы куплен *короб* лубяной» (Вологда, 1652 г., кн. пр.-расх. арх.) [ВОКМ. Д. 2165. Л. 282]. *Короба* использовались для перевозки одежды, продуктов и разных товаров. Размер и внешний вид *короба* определялся характером перевозимого товара, так, ящик или кузов для перевозки угля также именовался *коробом*: «75 *коробов* плетеных, в чем уголья возят» (Кашир. у., 1696 г., оп.) [КМР-1, с. 121]. Как уже сказано, *короба* делались исключительно из дерева и луба, см. характерную в этом отношении взаимозамену: «у Филиппа Копылова купил *короба*, сушить на том лубе прикащику порох» (1680 г.) [Кн. расх. Хлынов., с. 83]. Однако есть упоминания и о металлических *коробах*: «явил Тимофеи Артемьев 2 котла ветхих, *короб* медной» (Тихвин, 1688 г., кн. там.) [Рус. швед. отн., с. 482]. Слово *короб* имело общерусское распространение, употреблялось главным образом в деловой письменности, встречается также в художественных текстах демократического содержания, например: «у боярони куры все переслепли и мереть стали, так она, собравши в *короб*, ко мне их прислала, чтоб де батко пожаловал, помолился о курах» (ок. 1673 г., Ж. пр. Авв.) [Изборник, с. 645].

От слова *коробъ* по модели деминутивов были образованы *коробка* (с 1358 г.), *коробок* (с 1594 г.), *коробец* (с 1634 г.), к которым в свою очередь также появились производные.

Слово *коробька* имело два основных значения: 'небольшой ящик, плетеный или гнутый из луба, драни, для хранения и перевозки домашней утвари и товаров', 'металлический или деревянный ларец, шкатулка для хранения ценных бумаг и вещей'. Приведем иллюстрации: 1) «взял потаемене *коробку* в которой было куницъ полтретья сорока сорочки коленских три» (1570 г.) [Польск. д. 3, с. 750]; «купил... 8 *коробок* осиновых» (Белоз. у. 1582 г. кн. пр.-расх. К.-Бел. м. № 3. Л. 42) [КДРС]; 2) «даю сну своему князю Дмитрию... *коропка* (сердони)чна золотомъ кована» (ок. 1358 г.) [Дух. и дог. гр., с. 16]; «взяли монастырских денег ис клѣти из монастырские ис *коропки* двадцать пять рублей» (1579 г.) [АС-1, с. 569]. Заметим, что *коробки* для денег и бумаг оковывались, их снабжали пробоями и замками и чаще называли *ларец* или *шпатуля*, поэтому слово *коробка* в значении 'металлический или деревянный ларец, шкатулка' встречается редко, причем иногда заменяется словом *коробья*, ср. показания челобитчика и ответчика об одном и том же предмете в московском судном деле 1599 г.: «взялъ живота его подломив *коробку* НГ рубли денег да кушакъ – украл из *короб(ь)и* НГ рубли денег да шапку» [Моск. речь, с. 341]. *Коробка* в значении 'небольшой ящик, плетеный или гнутый из луба, драни' семантически сближается с однокоренными словами *коробъ*, *коробьишка* (возможно, и *коробок*), что проявляется во взаимозамене этих слов в одном и том же тексте применительно к одной и той же реалии: «отпустили с ним, Ивашком, на тех его лошадях рухляди своей *коробки* с бельем да две кадки, одна с капустою, да ржи мешок, да в *коробке* овса с осмину – Пронька Евтифеев сказал: ...*коробьишку* с бельем, на другой подводе *короб*, а в нем овса две чети» (Москва, 1690 г., расспрос) [Д. Шакл.-2, с. 478]. По показаниям лексиконов XVIII в., семантически близки к слову *коробка* лексемы *скринка* и *ящик*: 'коробка, скринка, коробочка, скрыночка, ковчег' [Вейсман, с. 524]; 'коробка, ящик' [Целлариус, с. 142].

От слова *коробка* образованы *коробочка* (с 1329 г.), *коробенка* (1602 г.), *коробченка* (1644 г.). Ранняя фиксация в письменности слова *коробочка* позволяет соответственно удревнить и время появления в письменности слов *коробка* и *коробок*, отнеся их к началу XIV в.

Коробочка, как и *коробка*, имело оба значения, о которых речь шла выше: «привез из Осташкова даводчик Меншик *коробочку* с рухледью» (Волокаламск, 1581 г., кн. пр.-расх. И.-Вол. м.) [ВХК, с. 196]; «в *коробочке* живота моего: пять рублей денег да два бобра темные» (Волог. у., 1608 г., дух.) [АЮ, с. 458]. Металлические *коробочки* могли служить сосудами для напитков, например, для сбитня: «серебряные посуды... 2 *коробочки* збитневых» (Москва, 1690 г., оп.) [Д. Шакл.-З, с. 140]. В текстах *коробочка* может заменяться в зависимости от содержания и интонации речи словами *коробка*, *коробейка*, *коробья*, например: «*коробочка* немецкая маленка писана, а вынята ис кованой *коробочки*, про которую сказал Василей Болотников, что в ней запаночка и иная рухлядь, а указал ту *коробью* и *коробочку* на дворе в похоронках» (Казань, 1622 г.) [Смутное время, с. 97]; «тое *коробочку* выдала ему княгиня Марья Хованская, сказала, что та *коробка* царевны Ирины Михайловны» (Москва, 1639 г.) [Заб. Дом. быт.-1, с. 468]. *Коробка*, как и деминутивы *коробейка* и *коробченка*, имеющие оттенок уничижительности, являлись общерусскими лексемами, см. примеры с двумя последними словами: «взяли *коробенку*, а в *коробенке* 12 руб. с полтиною денег» (В. Устюг, 1602 г.) [АХУ-II, с. 540]; «на полатах *коробченка* красная, покрышка взломлена, а в ней шапенка муская» (1644 г.) [Дон. д.-2, с. 675]. Приведем еще пример из судного дела, где один и тот же предмет называют *коробченко*, *коробья* и *коробка*: «на збереженье дал ему *коробченко* свое, а в той моей *коробченкѣ* было денег пятнадцать рублей – и *коробью* де у нево поставил, и ныне та *коробка* у нево, казначея старца Митрофана» (Вологда, 1683 г.) [ОВС-XII, с. 93]. Данный пример дает возможность выяснить причины взаимозамены слов с несовпадающими оттенками в значении при описании одной и той же, не меняющейся внешне реалии. Речевой этикет той поры, хорошо отраженный в деловой письменности, предписывал говорить о чем-либо, имеющем отношение к субъекту речи, в уничижительно-пренебрежительном и уничижительно-уменьшительном плане. Те же реалии в отношении к объекту речи характеризуются более объективно, в точном соответствии с их внешними качествами. Таким образом, в первом случае перед нами будет ситуативно-субъективное, во втором – ситуативно-объективное описание.

Коробок – семантическое соответствие муж. рода к слову *коробка*: «продала хмелю *коробок*, взяли полтора рубли» (Во-

лог. у., 1594 г., кн. торг. С.-Пр. м.) [ВХК XVI в., с. 132]; «свеч пуд 15 гривенок и с *коробком*» (Тихвин, 1026 г., кн. там., № 1265, 42 об.) [КДРС]; «куплена два *коробка* в чом солод возят» (Белгород, 1642 г., кн. там.) [Южн. там., с. 8]; «дюжина *коробков* немецких жестяных, 3 дюжины очков» (В. Устюг, 1677 г., кн. там.) [ТК-3, с. 76]. Наибольшее число употреблений слова *коробок* относится к северо-восточной зоне севернорусского наречия (Тихвин, Подвинье, Вологда, В. Устюг, Енисейск), оно отмечено также в Москве и Белгороде. В национальный период *коробок* в значении 'корзина или короб' употребляется и ярославских, мурманских и архангельских говорах, а *коробок* 'маленькая коробка' – в вологодских, псковских и курских [СРНГ-14, с. 347], то есть сохраняет свои локальный характер. Деминутив *коробочек* семантически соотносится со словом *коробок*: «ящик де с книгами и с писмами был в *коробочке*, и те *коробок* и ящик взял у него великаго государя крестовый дьяк» (Москва, 1665 г., допрос) [Суб. Мат. 1, с. 404]. *Коробчишко* характеризуется уменьшительно-уничижительным оттенком в значении: «что, господине, было рухлядишка и кабал, и яз, господине, собрав в *коробчишко*, поставил у Федора» (1561 г.) [АЮБ-I, с. 222].

Слова *коробчик* и *коробец* употребляются в таможенных книгах Сольвычегодска и В. Устюга, что позволяет говорить об их диалектном для старорусского периода характере. Кроме того, уменьшительный оттенок в их значении не является данью речевому этикету эпохи, в таможенных книгах требовалась объективная квалификация товара, поэтому данные слова обозначали предметы малого размера, т. е. небольшие кораба: «3000 игол, *коробчик* стекол, 500 булавок» (Сольвычегодск, 1655 г., кн. там.) [ТК-II, с. 481]; «ис *коробца* вынял кепу бухарскую два рубля да однорядку» (В. Устюг, 1634 г., явка) [АХУ-3, с. 163]; «3 косяка бумази, 2 *коробца* сахару» (Сольвычегодск, 1656 г., кн. там.) [ТК-II, с. 480]. Слово *коробчик* после XVII в. не отмечается. Лексема *коробец* в настоящее время известна в вятских, уральских, владимирских и смоленских говорах [СРНГ-14, с. 345].

Широко распространено в старорусский период название *коробья*, оно имеет все основные значения группы однокоренных слов: 'большой плетеный или гнутый из прутьев, луба, драни сундук, корзина округлой формы, с крышкой, для хранения и перевозки разной поклажи', 'небольшая коробка, деревянный ларец для хранения ценностей, бумаг, часто окованный', 'тип поварен-

ной посуды, небольшая металлическая округлая коробка для жидких и сыпучих веществ', 'мерный сосуд'. Памятниками письменности слово свидетельствуется с XIII в.: «въ нървое *коробее* на 12 грвне» (XIII в., бер. гр. № 438) [Новг. гр. 7, с. 42]. Проиллюстрируем указанные значения минимумом примеров: «внутри церкви велми много погорело у купцевъ въ *коробьяхъ* всякаго товара» (нач. XVI в.) [Новг. IV лет., с. 92]; «*коробья* казенная, обруч исподней, денной, знати ножем перерезан, а дно у *коробьи* выбито, а в *коробье* толко две явки» (Важ. у., 1601 г., явка) [АХУ-2, с. 158]; «поваренных судов: *коробья* медная с колцы в пять ведр, веко медное» (Н. Новгород, 1622 г., кн. писц.) [РИБ-17, с. 342]; «другая *коробя* медная ж что свитки моють» (Суздаль, 1660 г., оп. имущ. Сп.- Ефим. м.) [РГАДА. Ф. 1203. Оп. 1. Д. 29. Л. 254]; «поваренных судов медных: *коробья* по обе стороны лужена, 4 чюмича» (Москва, 1676 г., оп. аптек.) [ДТП-1, с. 211]; «*коробью* ржи собе и своимъ детемъ» (1419 г., купчая) [ЛЗАК-35, с. 135].

В первых двух значениях слово *коробья* синонимично словам *коробка*, *коробочка*, *коробчишко*, *коробейка*, что проявляется в фактах их взаимозамены в определенных речевых ситуациях, в этих взаимозаменах находят свое выражение и правила речевого этикета той поры, см. примеры: «поставил сундучок да *коробью* за печатью брата моего Ивана, а печать – имя брата моего, а в сундучке и в *коробке* крепости земляные и людцкие и деловые и грамоты всякие» (Казань, 1554 г., дух. И. И. Курчева) [АФЗХ-2, с. 251]; «что, господине, было рухлядишка и кабал, и яз, господине, собрав в *коробчишко* поставил у Федора Иванова сына Баскакова, и та, господине, кабала тамо ж в *коробье*» (1561 г., гр. Правая) [АЮБ-1, с. 222]; «Пятунка, собрав свое рухлядишко в *коробью*, кинул в ледник – велел бы ему тое *коробочку* ево с серебром у Юрья Болотникова из ледника взять» (Москва, 1622 г.) [Смутное время, с. 100]. Приведем пример, когда синонимическая взаимозамена (*коробья* – *сундук* – *казна*) касается не однокоренных слов: «новоисправленные книги у них были и стояли в *коробье* в соборной церкви – новые книги из церкви вынесли вон и положены под церковью в сундуке – и собрав казаки в Черкасском городке новые все книги, поставили в казне под церковью» (XVII в.) [ДАИ-12, с. 129, 157, 166].

В значениях 'большая плетеная или гнутая из прутьев, луба, драни корзина округлой формы' и 'небольшая коробка, деревян-

ный ларец' слово *коробья* является общерусским. *Коробья* 'небольшая металлическая округлая коробка для жидких и сыпучих веществ' известно только в среднерусской полосе. *Коробья* 'мерный сосуд' – достояние письменности северо-запада (В. Новгород, Тихвин, Поморье). В настоящее время слово *коробья* в первых двух значениях широко употребляется в территориальных диалектах [СРНГ-14, с. 349].

Деминутив *коробышко* (к первым двум значениям слова *коробья*) известен в письменности с 1574 г.: «учали, государь, мое *коробышко ломати*» (1574 г.) [Швед. д., с. 274]; «да *коробышко* унесли совсем, а в коробье было ожерелье жемчужное» (1626 г.) [АХУ-III, с. 19].

Коробейка имело значение 'небольшой короб', это слово чаще называло вместилище для денег, ценных вещей и бумаг и по своей функции в речи относилось к средствам ситуативно-субъективного описания: «да в той же казне *коробья* Петрова племянника моего Пешкова... и прикащики мои отдадут Петру ту *коробейку* Пешкову» (1560 г., дух. С. Д. Пешкова-Сабурова) [Лих. сб.-1, с. 40]. Это слово имело два деминутива: *коробеечка* (1626 г.) и *коробейченка* (1672 г.): «яв(ил) устюженецъ Максим Федоров снъ 40 *коробеечек* белыхъ» (Тихвин, 1626 г., кн. там. № 1265, 141 об.) [КДРС]; «принесъ онъ Лука ко мне *коробейченко* веревкою связана а в *коробейченке* была вкладная да рубашонка» (Свирь, 1672 г., А. Свир. м., № 329, ест. 3) [КДРС]. *Коробейка* со своими производными – севернорусский диалектизм, зафиксированный в В. Новгороде, Тихвине, Белозерске, Свири, Онеге, Велье, Подвинье, Ваге, В. Устюге, Сибири, это слово наблюдается изредка в московских и волоколамских источниках. В национальный период *коробейка* сохраняет свой диалектный характер и географию распространения: онежские, олонечские, вологодские, архангельские, вятские и сибирские говоры [СРНГ-14, с. 344].

В исторических словарях отсутствует пока слово *коробь* (жен. р.), обозначающее то же, что 'коробка': «жестяные четыре *короби* в гнездахъ, пятая *коробь* испорчена, в двух *коробях* было деревянное масло и того масла осталось только в одной *коробкѣ* а те две порожние две *короби* лубяные с травами ж» (Смоленск, 1662 г., расп.) [Мат. медиц.-1, с. 40]; «купить *короб (ь)* липовую большую с пробой да на обертку той *коробки* и на увяску две рогожи рядные» (Москва, 1683 г., память) [Мат. рус.-груз.-1,

с. 210]. Имелся и деминутив *коробишко(а)*: «и была в клетешке *коробишко*, а в *коробишке* пасынка моего Аники складня с Прокопьем Базлуцким да сорок рублей» (Яренск, 1652 г.) [Протопопов, с. 140]; «от моей *коробишки* ключ потеряла и я сирота ...тое коробку велел ей женишке своей снести к матери» (1691 г., Колл. Зинченко, № 136, сост. 1) [КРДС]. В национальный период *коробь* 'большая корзина' отмечается только в новосибирских говорах [СРНГ-14, с. 349].

Лексемы с южнославянской огласовкой в корне являются достоянием церковнокнижной литературы и некоторых летописей, изредка в деловой письменности упоминаются предметы церковной утвари, в наименованиях которых есть корень *краб-*. Все эти названия: *крабийца* – *крабейца* (XVI в.), *крабица* (XIV в.), *крабья* – *крабия* (XIV в.) – *крабыща* (XVI в.) имели значение 'коробка, ларец, чаша для ценностей и церковных реликвий', см. примеры: «*крабищу* хрусталу серебромъ золоченымъ оковану съ финифтомъ» (XVI в.) [Львов. лет.-2, с. 427]; «*крабица* продолговата невелика обклеена сафьяном, а в ней животворящее древо» (Москва, 1671 г.) [Заб. Дом. быт.-1, с. 690]; «коньха нарицается матица жемчужная, образом она аки *крабыща*: иметь де в себе пределы и малы и велики, аки сусечцы, в них же обретається жемчюгъ» (XVII в.) [Алф.⁽¹⁾, Л. 118 об.; КДРС]; «по едину же страну храма того до верха наставленных великих ларцев и *крабии* с рухлом драгим» (кон. XVI в.) [Каз. ист., с. 157]. В дальнейшем слова с корнем *краб-* постепенно выходят из употребления.

Таким образом, названия с корнем *короб-/краб-* – древнее славянское языковое наследие, в это гнездо входит более 20 слов и вариантов. Многие слова из числа рассмотренных были многозначными, что обусловлено вариантностью внешнего вида вместилищ (по объему, по материалу) и разнообразием их функций. Внутри лексического объединения наблюдаются различные семантические связи между словами, в основе этих связей лежит синонимия названий, а также правила речевого этикета эпохи (см. ряды взаимозаменяющихся в контекстах слов: *короб* – *коробка*; *коробочек* – *коробочка* – *коробка* – *коробья* – *коробейка*; *коробченко* – *коробишко* – *коробка* – *коробья* – *коробочка*). Добавим к этому синонимии названий внутри лексико-семантической группы (*короб* – *кошель* – *лукошко*) и за пределами семантической группы (*коробка* – *сундук* – *казна*; *коробка* – *скринка* – *ящик*).

Основные сферы употребления анализируемых названий – деловая письменность, связанная с нею художественная литература демократического содержания и фольклор, то есть такие разновидности речи, основой которых является живое народное слово. Вместе с тем семантически близкие однокорневые лексемы могут различаться по сферам употребления и стилистической окраске: *кравийца* – церковно-книжное, принадлежит к высокой торжественной лексике, *коробка* – разговорное общеупотребительное средство. Размежевание может носить и территориальный характер: *коробья* ‘плетеное круглое вместилище для домашнего скарба’, ‘деревянное вместилище для драгоценностей и денег’ – общерусское, *коробья* ‘металлический сосуд для жидких и сыпучих веществ’ – среднерусское, *коробья* ‘мерный сосуд’ – северно-западное; территориально ограниченные слова представлены в основном в севернорусских источниках: это севернорусское *коробейка*, великоустюжское и сольвычегодское *коробец* и *коробчик*.

В рассмотренном объединении однокоренных слов лексемы с неполногласием составляют архаичный ряд лексических средств, названия с полногласием являются примером бурно развивающейся группы, пополнение которой вызвано не только потребностями номинации новых типов вместилищ, но и стремлением к разнообразию языковых средств, к эмоционально-оценочной характеристике бытовых реалий.

4. ПРЕДМЕТНО-БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА В СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Основные лексико-семантические процессы в нашей работе иллюстрируются данными предметно-бытовой лексики. Термин «предметно-бытовая лексика» определяет соответствующий слой словаря с двух точек зрения: 1) по отношению к определенной сфере человеческой жизни и деятельности, а именно, к быту; 2) по отношению к другим группам лексики материальной культуры и быта, обозначающим не предметы, а действия, процессы, качества, состояния и т. п. Данная лексика относится к этнографическим названиям, «этнографизмы – это слова, обозначающие предметы и понятия, связанные с особенностями быта, материальной и духовной культуры данного народа, народности или

местности»¹, различаются общезыковые этнографизмы и этнографические диалектизмы. Иногда бытовую лексику сближают с народной терминологией, т. е. терминами различных ремесел и отдельных видов производственной деятельности сельского населения. Основанием для такого сближения служат однозначность части бытовых слов, связанность их с определенным ремеслом или хозяйственным процессом (винокурением, плетением корзин, портновским делом, сапожничеством, изготовлением деревянной посуды и т. п.), стилистическая нейтральность. Наблюдается в бытовой лексике и специализация значения слова, т. е. сужение его семантики, которое выражается в ограничении сочетаемости слова в определенном значении, а также в случаях переноса значения по общности признаков, когда исходное значение целиком включает в себя все признаки нового значения. Следует указать и на «встречные» качества народного термина, сближающие его с бытовым словом: он выполняет лишь номинативную функцию, часто представляет собою «не особое слово, а только слово в особой функции»², причем преимущественно слово бытового характера, имеет дублиеты и варианты. Специальное значение часто становится основой для создания термина³. Однако можно говорить об известной терминологичности лишь отдельных групп предметно-бытовой лексики, в целом же она в отличие от терминов является принадлежностью речи всего коллектива, т. е. каждого человека, а не профессионально ограниченной группы лиц, относится постоянно к сфере быта, характеризуется наличием синонимов, многозначностью и диффузией семантики, жанрово-стилевым расхождением.

Семантические свойства конкретной лексики предметно-бытового характера изучены еще недостаточно⁴. Например, Н. Д. Арутюнова, отнеся конкретную лексику к идентифицирующим именам, выявила у последних 22 отличительных признака⁵, но большая часть из них, по нашему мнению, относится к синтаксическим свойствам слов. Исследователи неоднократно отмечали, что в семантике конкретно-предметных существительных наблюдается самая тесная связь лексического значения слова с конкретными свойствами реалии⁶, не случайно так популярна в диалектной и исторической лексикологии идея комплексного изучения слова, предмета и связанных с ними обрядов и поверий, см., например, предложенную Н. И. Толстым и С. М. Толстой программу развития этнолингвистики и созданного на этой основе этнолингви-

стического словаря славянских древностей⁷. В объем лексического значения конкретно-предметных слов входят в большей или меньшей степени два показателя конкретных свойств реалии: функция или назначение и особенности внешнего вида. Следует различать слова, обозначающие реалии со строго фиксированной функцией, и названия предметов многофункционального назначения. У первых в основе лексического значения лежит именно указание на функцию обозначаемого предмета, к таким словам (но не ко всем конкретно-предметным именам) относится следующее утверждение Д. Н. Шмелева: «...названия предметов, созданных человеком, функционально ориентированы в семантическом отношении. Функциональный элемент является, по-видимому, неотъемлемым элементом их семантической организации... Функциональное назначение предмета, действительно, часто представляет собой тот элемент в семантике слова, который наиболее устойчив исторически»⁸. Мотивирующим признаком подобных слов иногда является название содержимого (*перечница* 'сосуд для молотого перца', *солонка* 'небольшой сосуд для соли, подаваемый к столу'), процесса, выполняемого с помощью предмета (*рукомойник* 'небольшой висячий сосуд для умывания'), указание на предназначенность для использования в определенных условиях (названия одежды *летник*, *холодник*) и т. п. У вторых в содержании лексического значения учтены одна или несколько особенностей внешнего вида реалий, это слова с комбинаторной семантикой⁹, к ним относятся, например, названия отдельных разновидностей предметов по особенностям внешнего вида: материалу, форме, окраске, характерным деталям и т. п. (см. старорусские названия разновидностей ковшей: *лебедь* 'ковш в форме плывущей птицы', *кленовик* 'ковш из древесины клена', *конюх* 'ковш с ручкой в виде головы коня с изогнутой шеей', *скобкарь* 'ковш с двумя ручками-скобками' и др.). Применительно к таким словам справедливо высказывание Б. А. Ларина о том, что «для некоторых идей и представлений, связанных со словами, зрительный образ вещи является их основным, бесспорным или даже единственным содержанием. Таковы, например, представления из области материальной культуры (об одежде, утвари, орудиях производства)»¹⁰. Разумеется, не исключена возможность существования в языке и промежуточных, переходных случаев.

Конкретный референт и (или) его зрительный образ – основа семантики предметно-бытового слова. Особенно важно это учиты-

вать при анализе казалось бы хорошо знакомых слов древнерусского или старорусского языка: реалья, ими обозначаемая, могла в старину иметь внешний облик, не совпадающий с современным представлением о предмете, и исследователя подстерегает опасность «осовременивания» значения слова, например, блюда до XVIII в. были чаще деревянными или глиняными, бритвы в допетровскую эпоху были только ручными и напоминали складной нож (см. археологические показания на этот счет¹¹ и рисунки упомянутых реалий в «Букваре» К. Истомина 1694 г.).

Следует отметить преимущественную моносемантическую предметных слов и слабую развитость синонимии, что усиливает их денотативную прикрепленность, отсюда предложенное для них Д. Н. Шмелевым условное название **денотативы**¹². При наличии у слова нескольких значений его денотативная прикрепленность слабеет. Такое слово легче вступает в связи с членами других лексико-семантических групп. Кроме того, в предметно-бытовой лексике в силу ее преимущественно разговорного характера развита диффузность или синкретизм значений (явления диффузности в лексической семантике¹³; развитая диффузность в семантике слов разговорной сферы¹⁴). Необходимо, видимо, различать два разных случая диффузности в семантике слова, особенно применительно к древнерусскому или диалектному материалу: а) объективная языковая диффузность, подтверждаемая регулярностью употребления слова в диффузном значении; б) контекстуальная, факультативная диффузность, обусловленная семантической неясностью или двусмысленностью контекста. Нечеткость смысловых границ предметно-бытовых слов с конкретным значением может быть обусловлена размытостью границ денотатов (о размытости как общем свойстве денотативных границ см. в работе, посвященной описанию психолингвистического эксперимента с названиями разного рода сосудов для питья¹⁵).

В языке донационального периода часты случаи, когда совокупность функционально близких реалий и группа соответствующих им слов взаимозависимы, то есть каждая из близких по своим свойствам, прежде всего по функциям, реалий может быть названа любым словом из соответствующей лексико-семантической группы: *блюдо – тарелка – миска – ставец, коробка – ларец – скриня – скринка – шкатула – шкатулка* и т. д.

Кроме того, лексико-семантические связи древнерусских слов в составе лексико-семантической группы определялись первона-

чительно происхождением этих слов, а затем всё более сферой функционирования слов. Поэтому при анализе исторического слова постоянно надо учитывать, какой круг источников использовал исследователь, в какой мере использованы оригинальные письменные источники соответствующей эпохи, достаточное ли количество фактов в распоряжении исследователя. Особенно осторожно, с известной долей скептицизма следует относиться к показаниям исторических словарей, поскольку их готовили в разное время, по разным методикам и несовпадающим концепциям, да и составители имели разную филологическую подготовку.

Лексико-семантические связи предметных слов обусловлены в значительной степени реальными связями обозначаемых предметов, но значения этих слов, естественно, сохраняют свой лингвистический статус¹⁶. Существует мнение, что между членами лексико-семантической парадигмы, состоящей из слов предметно-бытового характера, наблюдаются отношения свободной зависимости, или «относительной автономии»¹⁷, что «в большей части случаев обиходные слова образуют несимметричные и прерывистые парадигмы»¹⁸, однако требует обсуждения вопрос о факторах, усиливающих или ослабляющих лексико-семантические связи в парадигмах, поскольку степень связанности слов в разных группах неодинакова. Малочисленные группы имеют более тесные семантические связи и более стройные отношения между членами, примером такого объединения является группа названий футляров в старорусском языке. Названия футляров, т. е. вместилищ, основной функцией которых является предохранение предмета от повреждений при перевозке и хранении, были образованы от глаголов, указывающих на процесс укрытия чего-либо (*влагалище* — от *влагати*), от существительных — названий укрываемых предметов (*игольник* — от *игольный, игла*), употреблялось и иноязычное заимствование *чехол*, не имеющее мотивации в русском языке. Наблюдения над текстами показывают, что наиболее широкую сферу употребления в языке донационального периода имело родовое название *влагалище* (с XII в.) [Срезн.-1, с. 377], значение которого варьировалось в зависимости от семантико-стилистических качеств контекста: от общего 'вместилище для временного хранения каких-либо предметов' до конкретных 'сума', 'ножны', 'коробка' и т. п. [СлРЯ XI–XVII вв.-2, с. 206]. Обобщенность семантики слова *влагалище*, не всегда преодолеваемая в конкретном контексте, была причиной появления сходных названий *лагалище*

(с 1595 г.) и *нагалище* (с 1626 г.) с более определенным значением 'футляр', например: «20 очки с *нагалищи*, 20 портищ нашивок» (Кн. там. Тихвин, мон. № 3, Зоб. 1626 г.) [КДРС]. *Лагалище* употреблялось редко, в XVIII в. на убыль идет и употребление слова *нагалище*, оно становится диалектизмом и обозначает чехлы для колющих и режущих орудий в сибирских и архангельских говорах [СРНГ-19, с. 194]. Сужение и специализация значения характеризуют эволюцию слова *готовальня*, заимствованного из польского языка и семантически переосмысленного, ср. польск. *gotownia* 'туалет с разными предметами' [ЭСРЯ-4, с. 151], в старорусском *готовальня* – 'ящичек, футляр для разных предметов, туалетных принадлежностей или инструментов' [СлРЯ XI–XVII вв., -4, с. 109], известны также однокоренные образования *готоваленка* и *готовалка* с тем же значением. В языке XIX в. *готовальня* имеет значение 'баул, сумка для карманных приборов, например, чертежная готовальня' [Даль-1, с. 388], позднее закрепляется в значении 'набор чертежных инструментов' [МАС⁽²⁾-1, с. 399]. От наименований предметов, хранящихся в футлярах, возникли слова *лжичен* и *ложечник* [СлРЯ XI–XVII вв.-8, с. 229, 273]. Однокоренные названия футляров для игл: *игольница* (с 1607 г.), *игольник* (с 1641 г.), *наигольник* (с 1647 г.) и *игольня* (с 1677 г.) – были распределены территориально: *игольница* – западное и северо-западное, *игольня* – смоленское, *наигольник* – сибирское, *игольник* – общерусское, см. примеры первых письменных фиксаций: «*игольница* жило ноженница» (1607 г., Псков) [Разг. Т. Фенне, с. 104]; «сто *иголников* кожаных» (Якутск, а., к. 4, № 5, 2. 1641 г.) [КДРС]; «20 на *иголников* жестяных» (Якутск, а., к. 7, № 10, 35. 1647 г.) [КДРС]; «могилевской мещанин Семен Андреев явил... 14 *иголен*, 10 кушаков» (1677 г.) [Рус-бел. связи, с. 198] (см. описание старорусских футляров для игл, найденных при археологических раскопках на Русском Севере¹⁹). Названия *игольник*, *игольница* дошли до наших дней [МАС⁽²⁾-2, с. 628]. Во второй половине XVII в. значение 'футляр из дерева или ткани' фиксируется у слова *чехол*: «он сделал к митрополиче к лучшей шапке къ деревянному *чохлу* плащ с концом» (Кн. расх. Никона-1, 1651 г.). В московских источниках обнаружены наименования *шапочник* 'футляр для шапок' и *монастырек* 'футляр для столовых приборов и гигиенических принадлежностей'. Специализированное родовое название *футляр* появляется лишь в национальный период.

Группа старорусских названий футляров имела все признаки системного лексико-семантического объединения: родо-видовую иерархию (предельно общее название *влагалище* – родовые слова *лагалище* и *нагалище* – видовые наименования *готовальня*, *ложечник*, *игольница*, *шапочник*, *монастырек*), синонимические связи (*лагалище* – *нагалище*, *игольник* – *игольница* – *игольня*), дифференцированные по отношению друг к другу значения, специфический для данной группы набор мотивировочных признаков и словообразовательных моделей и т. д. Ср. также описания названий вместилищ индивидуального пользования для денег и ценных бумаг²⁰.

Каждая группа предметно-бытовой лексики имеет свой семантический центр («опорные слова» – по Ф. П. Филину): это наиболее употребительные лексемы, богатые производными. Часто роль центра выполняют гнезда однокоренных слов, особенно распространенные в названиях плетеных вместилищ (с корнем *короб-/краб-* в текстах XVI–XVII вв. выявлено около 20 слов: *короб*, *коробка*, *коробье*, *коробья*, *коробок*, *коробец*, *коробченка*, *коробочка*, *коробчик*, *коробочек*, *коробчишко*, *коробьишко*, *коробейка*, *коробеечка*, *коробейченко*, *крабийца*, *крабья*, *коробишка*), в названиях вместилищ из дерева и металла (с корнем *-голов-* обнаружено более 10 слов: *зголовашек*, *подголовашек*, *подголовашник*, *подголовник*, *подголовок*, *подголовочек*, *подголовченко*, *подголовчишко*, *призголовашек*, *призголовок*, *приголовашек*) и т. д. Большинство названий в каждой группе имело одинаковую цепочку семантической деривации, например, названия одежды: «материал» → «одежда» (*багряница*, *рубище*, *попиток*), названия вместилищ: «материал», «способ изготовления» → «вместилище» → «мерный сосуд» → «мера» (*лубь*, *пошевь*), причем у некоторых слов все эти значения могли быть представлены одновременно, с недостаточной дифференциацией, поэтому в бытовом словаре постоянно идет активный процесс дифференциации и спецификации семантики слов, ср.: в XVI в. *мешок* обозначало ‘большое по объему вместилище из кожи, ткани, рогожи’, *рогожа* – ‘рогожное полотно; вместилище из рогожи’; в XVII–XVIII вв. *мешок* имеет значение ‘большое вместилище из холста’; *рогожа* – ‘плетенное из мочала полотно’, *куль* – ‘вместилище из рогожи’.

Определенное влияние на степень семантической связанности лексем оказывал генетический фактор. В названиях мужской

верхней одежды, где были элементы разного происхождения (ср.: *кафтан*, *армяк*, *абаб*, *чекмень*, *азям* – тюркские слова, *жупан* – арабизм, усвоенный из французского через западнославянское посредство, *кабат* – иранское, усвоенное через польское посредство, *бешмет* – татарское, *терлик*, *халат* – турецкое, *камзол* – из итальянского через немецкий, *мантиль* и *вамс* – из немецкого, *ливрея* – из французского, *вотола* и *плащ* – исконные образования и т. д.), отсутствуют семантические связи, охватывающие все слова этой группы. Наоборот, названия рукавиц, возникшие в основном на русской почве (*рукавица*, *перстница*, *голица*, *верхница*, *деяница*, *шубница*, *вязеница*, *водяница*, *плетеница*, *надолонка*, *дубленка*, *кожница*, *исподка* и др.), отличаются значительной семантической организованностью, имеют одинаковую лексическую сочетаемость, проходят одинаковый путь семантической эволюции, составляют свои синонимические ряды и даже антонимические пары типа *верхница* ‘верхняя рукавица’ – *исподка* ‘нижняя рукавица’, что редко встречается в группах предметных слов.

Указанные признаки далеко не исчерпывают сложную семантику анализируемой лексики. Дальнейшее изучение семантических особенностей предметно-бытовых слов могло бы идти как традиционным путем описания отдельных групп в синхронном и диахронном плане, так и с помощью сравнительно-сопоставительного анализа двух или более лексико-семантических и тематических групп с учетом следующих критериев: степень аналитичности (число мотивированных и немотивированных слов), соотношение родовых и видовых слов, способность к номенклатурному дроблению, степень синонимичности (отдельно – для родовых и видовых слов), контекстуальная закреплённость значений и т. д. Некоторые из этих показателей предлагались ранее для семантико-типологических исследований²¹. Эти критерии проверяются с помощью формальных операций и поддаются текстовому описанию. Оценим результаты их применения к старорусской предметно-бытовой лексике, приведенные в обобщающей таблице (см. ниже).

При вычислении процентного соотношения среди мотивированных названий не учитывались деминутивы, с учетом их число мотивированных названий заметно возрастет. Среди родовых названий есть такие, которые в отдельных значениях имеют видовой характер, они учитывались дважды: как родовые и как видовые.

Анализ показывает значительное преобладание в составе старорусской предметно-бытовой лексики мотивированных названий

исконного, т. е. славянского и русского, происхождения. Исключения составляют названия верхней короткополой одежды, заимствованные в русский язык вслед за реалиями лишь в конце XVII – начале XVIII в. (ср. исконные *душегрея, нагрудник, безрукавка*, заимствованные *кошуля, кошуха, курта, куртка, куртишка, курдя, бострог, кунтуш*). По ряду мотивировочных признаков названия одежды обособляются от названий утвари («действие, которое производится с помощью одежды по отношению к определенной части тела», «цвет», «характерная деталь одежды»). В свою очередь при номинации предметов утвари заметное место занимают признаки: «особенности технологии изготовления предмета», «объем», «форма». Общее и довольно распространенное мотивировочное свойство у слов этих тематических сфер – «материал».

Лексические группы	Мотивир./ немотивир.	Родовые/ видовые	Мотивировочные признаки в %
Общие названия одежды	55/45	40/60	Действие – 57 материал – 18 кусоч ткани – 16 цвет – 9
Общие названия посуды	90/10	91/9	технология – 90 материал 10
Названия длинной одежды	80/20	18/82	материал – 54 действие – 36 технология – 10
Названия короткой одежды	37/53	0/100	Действие – 34 часть тела; деталь – по 33
Названия меховой одежды	61/39	5/95	действие – 46 материал; функция – по 18; цвет; деталь – по 9
Названия рабочей одежды	68/32	12/82	Материал – 60 цвет; технология – по 20
Названия столовой посуды	75/25	0/100	содержимое – 54 действие; форма – по 18; посуда; деталь – 7 объем – 3
Названия кухонной посуды	66/34	0/100	действие, функция – 60; содержимое – 16 объем; форма – по 8 технология и пр. – 8

Остановимся более подробно на характеристике родовых и видовых наименований. Больше развитие в отмеченных лексических группах получили слова с видовыми значениями, в отдельных случаях даже родовые названия обозначают конкретный вид одежды, посуды и т. д. Наблюдается специфика в способах пополнения родовых наименований в зависимости от жанрово-стилевой сферы употребления: в деловой письменности – составные наименования позднего происхождения, в книжной речи – слова, утрачивающие денотативную опору в предмете в связи с выходом его из бытового употребления и выражающие в условно-обобщенном виде идею «одежда», «посуда», «постройка», ср.: «для церковно-книжной письменности были характерны отказ от конкретной лексики и широкое использование слов, обозначающих родовые понятия»²². Иногда на первом этапе формирования однословного родового наименования оно функционирует как собирательное существительное, ср. *посудье* – около 1571 г., *посуда* – с 1599 г.: «воду новую так отведаешь, будет здоровая или нездоровая, покропи ею *посудие* какое оловяное или медное» [Назиратель, с. 179]; «и *посуда* де всякая его Первушина была на том его дворе» (1599 г., чел.) [Руск.-кавк., с. 326]. Особенно активно слово *посудье* употреблялось в первой половине XVII в., выступая как синоним к слову *суды*: «платье и запасы всякие, и деньги, и *посудье*, и скот всякой... всем завладела та сноха наша Анна»; «...у снохи своей Анны прогнали платья и кузни, и *судов* всяких» (1627 г., чел.) [Семевский, с. 63]. Лексема *посуда* до середины XVII в. употребляется редко, активизация этого наименования начинается с 50-х гг. XVII в., оно вытесняет слово *посудье* и заметно ограничивает использование формы *суды* (от *судно*).

Обращает на себя внимание относительная недостаточность числа родовых слов, а также их слишком общая, недифференцированная семантика. Например, в древнерусский период названия головных уборов определенно входят в одну группу с названиями одежды, лингвистическое размежевание слов по более мелким группам отставало от уже осознаваемого распределения разных типов одежды, поэтому родовых слов *одежда*, *платье* и пр. было вполне достаточно для обозначения одежды, головных уборов, передников и т. д. Выделение названий головных уборов в особое лексическое объединение намечается в старорусский период, здесь функции родового слова на некоторое время было вынуждено

взять на себя слово *шапка*, но уже в XVIII в. появляется составное наименование *головной убор*. По мнению Г. Н. Лукиной, развитие родовых слов в отдельных группах названий одежды могло задерживаться из-за отсутствия соответствующих глаголов, от которых они образовывались²³. Однако глагол – не единственная база образования общих названий. Первопричиной наличия или отсутствия родовых слов, на наш взгляд, является степень развития дифференцирующей способности лингвистического сознания у этноса, пользующегося данным языком. Так же обстоит дело в лексике посуды и названиях бытовых вместилищ. Здесь в древнерусский период было лишь одно родовое наименование *судъ*, с конца XVI в. появляется *посуда*; в древнерусский период начинают формироваться родовые названия для отдельных групп посуды по материалу: *скляница*, *плетеница* и др., общие названия посуды с учетом функции (столовая, поваренная, кухонная) формируются в национальный период, а в ряде недостаточно отграниченных лексических групп по причине многофункциональности реалий не оформились и в настоящее время.

Семантические особенности предметно-бытовой лексики определяют такую особенность ее употребления в речи, как избыточность лексических средств за счет одновременного употребления родового или одного-двух видовых слов или двух видовых одновременно: *рукавицы дубленицы*, *ковш кленовик*, *рукавицы верхницы вязаницы*. Причиной такого употребления является стремление к всестороннему и точному обозначению-характеристике реалии в целях более эффективного общения. Используемые при этом названия имеют яркую, образную форму, подчеркивающую один признак реалии и затемняющую все остальные ее свойства, поэтому появляется необходимость в дополнительных наименованиях, с других сторон характеризующих предмет.

Сравнение способности разных групп лексики к номенклатурному дроблению показывает заметную распространенность этой черты у конкретных названий по сравнению с родовыми, ср. названия разновидностей шуб: *одеяло*, *одевальница*, *гусарка*, *солдатка*, названия котлов: *тройчаток*, *кашник*, *квасник*, *медник*, *коноб* и др., известные по русским текстам XVI–XVII вв. Еще богаче эти группы в разговорной речи и диалектах национального периода.

Сравнение степени и областей синонимического варьирования обнаруживает значительную развитость синонимию родовых названий, особенно в тематической группе «одежда», причем преи-

мущественно в сфере книжной письменности²⁴, вместе с тем это свидетельствует о сильной контекстной обусловленности семантики родовых названий предметно-бытового характера.

Представляется перспективным сравнительно-сопоставительное изучение разных групп предметно-бытовой лексики и по таким критериям, как модели семантической деривации или типы полисемии, уровень диффузности семантики слов и т. п. Актуальность предметно-бытовой лексики в повседневном речевом общении требует активной работы по ее исследованию с использованием традиционных и новых методов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Этерлей Е. Н. Об этнографизмах и их месте в диалектном словаре // Диалектная лексика. – Л., 1976. – С. 16.

² Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. МИФЛИ. – М., 1939. – Т. V.

³ Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. – Л., 1964. – С. 205.

⁴ Сороколетов Ф. П. Лексическое значение и словарная дефиниция // Исследования по исторической семантике. – Калининград, 1980. – С. 81.

⁵ Аспекты семантических исследований. – М., 1980. – С. 174, 184–185, 202.

⁶ Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники). – М.; Л., 1936. – С. 53; Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). – М., 1966; Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. – М., 1973; Сороколетов Ф. П. Рец. на кн.: Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». – М., 1975 // Вопросы языкознания. – 1977. – № 2. – С. 157.

⁷ Толстой Н. И., Толстая С. М. Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г.: Доклады советской делегации. – М., 1983.

⁸ Шмелев Д. И. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). – М., 1973. – С. 234–235.

⁹ Сороколетов Ф. П. Лексическое значение и словарная дефиниция... С. 8.

- ¹⁰ Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники)... С. 19.
- ¹¹ Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия. — М., 1968 (Свод археологических источников СССР. — Е-155).
- ¹² Шмелев Д. И. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка)... С. 150.
- ¹³ Там же. С. 95; Трубачев О. Н. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. — М., 1976. — С. 168.
- ¹⁴ Коготкова Т. С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). — М., 1979. — С. 19.
- ¹⁵ Лабов У. Структура денотативных значений // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. — М., 1983.
- ¹⁶ Шмелев Д. И. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка)... С. 34, 104, 142.
- ¹⁷ Там же. С. 142.
- ¹⁸ Шмелев Д. Н. Способы номинации в современном русском языке // Общественные науки. — 1984. — № 2.
- ¹⁹ Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века (археологические находки на о. Фаддея и на берегу залива Симса). — М., 1951.
- ²⁰ Судаков Г. В. В чем носили деньги древние русичи? // Русская речь. — 1984. — № 2.
- ²¹ Филлмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. — М., 1983.
- ²² Иссерлин Е. М. Конкретная и абстрактная лексика в литературном языке XVII в. // Начальный этап формирования национального языка (на материале русского языка). — Л., 1960. — С. 5.
- ²³ Лукина Г. Н. О некоторых признаках лексико-семантических групп древнерусской лексики // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. — М., 1984. — С. 76.
- ²⁴ См. подробнее: Судаков Г. В. Синонимы в литературно-художественных текстах XVII в. // Парадигматические и синтагматические отношения в лексике и фразеологии. — Вологда, 1983.



Глава III.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СЛОВО В СОСТАВЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (НАЗВАНИЯ НАТЕЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ)

Для наименования нательной одежды существовало родовое название *белье* (от * *belъ* + *ьjъ* [ЭССЯ-2, с. 86] и реже – *белое платье*. Впрочем, весь состав лексики нательной одежды они своим значением не покрывали, так как обозначали только белую нательную одежду. Слово *белье* отмечается в письменности с 1554 г. (ср. мнение П. Я. Черных о том, что *белье* ‘нижняя одежда’ употребляется со второй половины XVII в.). См. примеры употребления этого слова параллельно с сочетанием *белое платье*: «а что в сундуке и в куропке *платья белья*: робашек, полотен... и то все разделить» (1554 г., дух.) [АФЗХ-2, с. 251]; «да *белова*, государь, *платья* взяли: 10 рубашек мужских альневных и посконных да десятеры портки» (Смол, у., 1605 г., чел.) [Анпилогов, с. 435]; ср. другие примеры, свидетельствующие об общерусском характере слова *белье* [СлРЯ XI–XVII вв.-1, с. 138–139]. С первых употреблений в письменности слово *белье* имеет значение ‘некрашеное полотно и изделия из него’. В связи с многозначностью этой лексемы параллельно функционирует более конкретное наименование *белое платье*, обозначающее одежду из некрашеного полотна. В дальнейшем *белье* в расширительном значении сохраняется в говорах и просторечии, а в литературном языке чаще обозначает одежду из некрашеной ткани или вообще нижнюю одежду и вытесняет выражение *белое платье*.

К названиям нательной одежды, общей для мужчин и женщин, относились *рубашка*, *рубаха* (от *рубъ* ‘холст, кусок ткани’ > *рубаха* > *рубашка*): *рубашка* – с 1521 г., *рубаха* – с 1568 г.,

рубашенка – с 1579 г., *рубаша* – с 1607 г., *рубашечка* – с 1632 г., *рубашенцо* – с 1642 г., *рубашкишка* – с 1644 г.

Рубашка – название мужской и женской одежды, общей для лиц всех сословий, это наиболее употребительное слово из однокоренных, распространено на всей русской территории: «взяли грабежу мерин да пять гребенин да три *рубашки*» (Юрьев, 1521 г., судн. дело) [АФЗХ-1, с. 13]; «десять *рубашок* мужских и женских лняных и посконных» (Медынь, 1538 г.) [РИБ-2, с. 772]; «послов ограбили, оставили в одних *рубашках* и поясы сняли» (1572 г., посольство И. М. Воронцова) [Ст. сп., с. 59]; см. также: (1579 г., кн. пр.-расх. И.-Вол. м.) [ВКХ XVI в.-2, с. 240]; (Москва, 1599 г., чел.) [Котков. Моск. речь, с. 341]; (Казань, 1622 г., допрос) [А. междунар., с. 98]. Слово *рубашка* редко встречается в художественных текстах, отсутствует в исторических и религиозных сочинениях, зато в деловой письменности и фольклорных записях отмечается без ограничений, что свидетельствует о его разговорно-просторечном характере, см.: «холщовая *рубашка* – не нагота, а невейная крома – не голод»; «свинопас и *рубашку* пропас» (XVII в.) [Отр. пословиц, с. 46, 52].

Слово *рубаха* появилось раньше, чем *рубашка*, но в письменности фиксируется позднее и употребляется в целом реже: на каждые 100 случаев употребления слова *рубашка* в деловых текстах приходится до 60 употреблений лексемы *рубаха*, так, в «Домострое» употребляется почти исключительно слово *рубашка*. Представляется не вполне достоверным мнение С. И. Коткова о преобладании варианта *рубаха* над *рубашка* в южнорусской письменности, которое не подтверждается ни фактами, ни статистическими данными. Тем не менее лексема *рубаха* также носила общерусский характер и имела такие же семантические и стилистические качества: «Шарапку на *рубахи* десять денег» (Волог. у., 1568 г., кн. пр.-расх. П.-Обнор. м.) [РИБ 37, с. 3]; «дозирати, как *рубахи* моют» (XVI в.) [Дм. с. 33], (ср. др. список: *рубашки*); «*рубаха* мужская ветошная цена 2 гривны, *рубаха* черемисская цена полтина, *рубаха* ярославская строченая шолкомъ цена полтина, *рубаха* московская такая ж цена полтина, *рубаха* вязана шелком казанская цена 8 гривен, *рубаха* пестрядинная кизылбзшская цена полтина» (Енисейск, 1687 г.) [Цен. роспись, с. 81, 96]. Можно наблюдать названные слова в одном и том же тексте как взаимозаменяющиеся: «на Петре платья: *рубашка* и

портки конопляные, а пояса на *рубах* нет» (Важ. у., 1612 г., судн. дело) [АХУ-III, с. 211]; «А о *рубашках* я с Тимофеем писал. Три *рубахи* приплите. Давно *рубахи* надобно: часто наг хожу» (1670 г., письмо Аввакума) [Ж. пр. Авв., с. 219]. По-видимому, *рубашка* по сравнению с *рубаха* было более официальным названием, *рубашкой* называли и соответствующую одежду лучшего качества.

Дериват *рубаша* не имел широкого распространения, его появление – результат действия аналогии (от *рубашка* по аналогии с *рубаха*): «рубаха, *рубаша*, сорочка» (Псков, 1607 г., разговорник) [Фенне, с. 90]; дозировать, какъ красные *рубаши* моют (нач. XVII в.) [Дм. К., с. 27].

Названные ранее деминутивы имели разговорный характер и отмечены только в деловой письменности, приведем по одному примеру на каждое слово: «продаль *рубашенко* да порченка, взялъ 10 денегъ» (1567 г., кн. пр.-расх. К.-Бел. м.) [Ник.-1, I, с. 15]; «три штаники полотняные да три *рубашечки* полотняные» (Тарног. у., 1632 г., явка) [АХУ-III, с. 116]; «старое женское шубенко да ветошное *рубашенцо* да котишка на ногах» (Якутск, 1642 г., судн. дело) [Колон. Якут., с. 154]; «*рубашкишки* и оденки купить не на что» (Москва, 1644 г., чел.) [Дон. д.-2, с. 535].

Разновидности рубашек различались по материалу или по характеру употребления.

В севернорусских говорах XVI в. холщовые рубахи имели специальные названия: *холщевица* – 1559 г., *холщевня* – 1559 г., *холщевка* – 1563 г., *холщага* – 1575 г., *холщевенца* – 1578 г. Все они употреблялись в деловой письменности одного региона – нижнего и среднего Подвинья, бассейна реки Ваги: «купил две шубы дал десят ал без денги две *холщевицы* дал девят денег»; «две овчины десят денег две *холщевни* дал три алтна» (Двин. у., 1559 г., кн. пр.-расх. Корел. м. Д. 935. Л. 78) [КДРС]; «четыре *холщевицы* да двои порченка да утиралник... *холщевку* Андрею» (Двин. у., 1563 г., кн. расх. Корел. м. Д. 937. Л. 48, 68 об.) [КДРС]; «две рубахи *холщаги* за пят алтнъ» (Двин. у., 1575 г., кн. пр. Корел. м. Д. 941. Л. 18 об.) [КДРС]; «купил товару 9 рубах *холщевиц* дал 20 алтн» (Холмогоры, 1558 г., кн. пр.-расх. Ант.-Сийск. м. Д. 1. Л. 204) [КДРС]; «купил *холщевенцу* дал 2 алтын» (Холмогоры, 1578 г., кн. пр.-расх. Ант.-Сийск. м. Д. 1. Л. 67 об.) [КДРС]. В письменности XVII в. такие слова пока не отмечены.

На севернорусской территории существовал также обычай одновременного ношения двух рубах: нательной *исподки* и поверх нее – *верхницы*.

Исподка (от *испод-*) имела значение ‘женская рубашка, чаще нательная’, это слово фиксируется с 1605 г., историческими словарями не отмечено. Употреблялось оно в Вологде, Великом Устюге, на Ваге: «меня Агафьицу ограбил... снял с меня сукман белой да рубаху *исподку*, да с ворота крест сорвал» (Важ. у., 1605 г., явка) [АХУ-II, с. 553]; «взяли две рубашки *исподки* женские тонкие, а цена рубахамъ по десяти алтынъ» (В. Устюг, после 1626 г., чел.) [Сенигов, с. 174]; «двадцать рубашек мужских и женских *исподок* и *верхниц*, цена восемь рублей» (Важ. у., 1633 г., явка) [АХУ-III, с. 153]; «пропало у меня сироты з двора с сараю с шеста две рубашки мужьская да женская по утряпой зоре безвесно и ннешного РОА г июля въ ЕК день тое свою женскую *исподку* познала на ней Кунаве» (Волог. у., 1662 г., чел.) [ГАВО. Ф. 1260. Кор. 7. Д. 42]; «пропала у снохи моей с шеста с повити рубашка *исподка* женская» (Волог. у., 1667 г., чел.) [Там же. Кор. 11. Д. 103]. *Исподка* по отношению к севернорусскому глухому сарафану действительно была нательной, «исподней» одеждой. Отмечены случаи употребления слова *исподка* в значении ‘мужская рабочая нательная рубашка’: «выдано хлебнику Петрушке Летчаку на *исподку* без рукавъ семь аршинъ холста» (Вологда, 1683 г., кн. расх. арх.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 127. Л. 43 об.-44]. *Исподка* в значении ‘нижняя рубашка, обычно женская’ употребляется в национальный период в вологодских, вятских, ярославских, архангельских, костромских, уральских, сибирских говорах [Васнецов, с. 99; Даль-2, с. 55; КВОС; Опыт, с. 75; Сл. Ср. Урала-1, с. 205; СРНГ-12, с. 232; КЯОС]. По-видимому, слово возникло в старорусский период в речи населения, занимавшего бассейн Сухоны и Ваги, а оттуда распространилось в соседние говоры, в Зауралье и Сибирь. Псковское и тверское *исподница* с тем же значением, что и *исподка* [Даль-2, с. 55], могло возникнуть позднее под влиянием слова *исподка*.

Верхница ‘одежда, чаще рубашка, надеваемая поверх другой одежды’ – также севернорусское слово, наблюдаемое со второй четверти XVII в. в важских, великоустюжских и сибирских источниках: «тот вор Гриша украл рубаху лляную женскую *верхницу* да 2 плата головные» (Важ. у., 1630 г., явка) [АХУ-II,

с. 698]; «Фекле Оленеве 176 году марта в 22 день дано на *верхницу* да на сарафан холста 16 аршин с переменою» (В. Устюг, 1668 г., кн. плат. Мих.-Арх. м.) [Шляпин-2, с. 276]; «дано в службу коровнице одиннатцать локот холста толстово на *верхницу*» (В. Устюг, 1682 г., кн. плат. Тр.-Гледен. м.) [ВОКМ. Д. 9548. Л. 3, 20 об.]). Письменные источники XVII века не дают оснований для вывода о повсеместном употреблении наименования *верхница*, хотя такое мнение высказывалось в литературе. Семантический объем слова с течением времени расширился, оно стало обозначать различные виды верхней одежды, но география его осталась прежней: это севернорусские и сибирские говоры [СРНГ-4, с. 161].

В двинской рядной за 1638 год отмечено слово *вороток* в значении 'женская сорочка, которую носили в паре с сарафаном': «наделку я Акилина взяла... сукникъ овечей двенатцать алтынъ, *вороток* десять алтынъ» [Ефименко, с. 28]. Ср.: «Вороток – надеваемая со штофником кисейная сорочка» [Подв., с. 22]. В исторических словарях это слово отсутствует.

Наряду с лексемой *рубашка* высокой употребительностью отличалось слово *сорочка*, известное многим славянским языкам. В русской письменности наблюдается с 1377 г. (по летописи – с XI в.).

Вариант *срачица* с южнославянской огласовкой известен с 1076 г. [Востоков-2, с. 183], он употребляется в письменности церковно-религиозного содержания, летописях, художественных текстах книжно-архаичного характера. Употребляется слово *сорочка* (вместе с *срачица*) реже, чем *рубашка*. См. примеры с неполногласным вариантом: «начяша складати *срачице* и свиты царьския» (1076 г.) [Изб., с. 694]; «она же даде ему свою женскую *срачицу*, якоже сама ношаше на теле. Архиепископ де с радости взяше и возде на себе збором женскую рубаху» (Пов. о Карпе Сутулове, втор. пол. XVII в.) [Рус. пов. XVII в., с. 151]; см. также: (кон. XVI в.) [Каз. лет., с. 70]; (кон. XVII в.) [Вел. Зерцало с. 409]. В старорусскую эпоху *срачица* выступало как книжно-возвышенный синоним к лексеме *рубаха*.

Полногласное соответствие *сорочица* зафиксировано в письменности раньше, чем *сорочка* – с XII в.: «виде на срачици его кровь соущю... и съ яростью вѣставъши и растързавъши *сорочицу* на немъ» (Ж. Феод. Печер., XVII в.) [ЧОИДР. 1879 г. С. 1, 6]. Оно было представлено в новгородских берестяных грамотах и

в новгородских летописях¹, а в письменности XVI–XVII вв. уже не отмечается.

Сорочка появляется в летописных рассказах под 1097 г. (по сп. XIV в.): «сволокоша с него *сорочку* кроваву сущю и испи воды и вступи во нь дша и оупомянуса и пощюпа *сорочки* и рече: чесу есте сняли с меня да бых в той *сорочке* кроваве смръть прияль» (Лавр. лет. по сп. 1377 г.) [ПСРЛ-1, с. 261]. Приведем несколько примеров из текстов XVI–XVII вв.: «опашен лазорев зуфной да две *сорочки* с тафтою» (Моск. у., 1522 г., роспись) [АРГ, с. 199]; «двадцат *сорочек* мужских и женских» (Ряз. у., ок. 1535 г., правая гр.) [Пам. Ряз., с. 103]; «пояс шолков, 17 *сорочек* полотняных женских, *сорочка* кисейная, *сорочка* кумачная полосата, *сорочка* тафта червчата, 2 *сорочки* муских нарядных» (Москва, 1611 г., роспись) [Мат. Москвы-2, с. 34]; «выходил Иван Годинович в одних чюлках и без чеботов, в одной *сорочке* и без пояса» (Иван Годинович, кон. XVII в.) [Былины, с. 196]. *Сорочки* упоминаются в текстах как спальная одежда, как нательная одежда, надеваемая после бани, *сорочками* называли и наиболее нарядные рубашки.

Вместе с тем наблюдаются попытки семантически дифференцировать слова *сорочка* и *рубашка*: «япанча настрафилная лазоревая за рубль, *сорочка* шита золотом и серебром за 4 рубли, *рубашка* золотная за 20 алтын» (Двин. у., 1625 г.) [Кн. вкладн. Ант.-Сийск. м., с. 31]; «коробья зъ бельемъ, зъ *рубашками* и *сорочками*» (Холмогоры, 1674 г., рядная) [Ефименко, с. 31]. Однако чаще *сорочка* и *рубаха* – *рубашка* называют один и тот же предмет, ср. роспись имущества 1693 г. и указ того же времени, содержащий перечень одних и тех же предметов (роспись): «четыре *сорочки* муских с порты да маленьких четыре ж *сорочки*, *сорочка* женская с подубрусником; (указ): 4 рубахи мужских с порты, да маленьких 4 ж *сорочки*, *рубашка* женская с подубрусником» [Д. Шакл.-3, с. 1434].

В старорусский период слово *сорочка* имело и другие значения, например, 'мера, кусок ткани определенной величины', но неизвестно, на каком основании Н. Костомаров приписывал словам *сорочка* и *рубашка* значение 'ожерелье, пристежной воротник', ни в одном старорусском тексте подобное значение у этих слов не усматривается. Деминутивы от слова *сорочка* не получили распространения, приведем первые фиксации двух из них, представленных в старорусской письменности: «фerezенка под крашениною лазоревую ветхи да *сороченко*» (Вологда, 1648 г.,

чел.) [ОВС-9, с. 3]; «на ней платья сарафанишко белой *сарочечка* шитая» (Москва, 1660 г., досмотр) [Д. холоп., с. 281].

Заканчивая сравнительный анализ слов *рубашка* – *рубаха* и *срачица* – *сорочка*, отметим, что, например, в староукраинском языке наблюдалось иное употребление названных лексем: наиболее частым названием нательного платья было *сорочка*, употреблялось также общее с польским языком слово *кошуля*, лишь в левобережной Украине функционировало слово *рубаха*, а *рубашка*, известное с 1666 года, являлось крайне редким словом.

В рассматриваемую группу входит и слово *чехол*, которое имело значение ‘спальная или банная рубашка; халат в свадебном наряде знати’, фиксируется лишь в московских актах: «любим ово ризы устыкляны, ово же одежда украшены, и ремениа, и ножевы, и калигия, и *чехлы*, и снеди сладкие» (Устав 1514 г.) [Иос. Вол. Посл., с. 307]; «великая княгиня, развернув сорочку или *чехол*, или иное что платье великого князя, да из того рукомойника и смачивала то платье» (Москва, 1525 г., судн. дело) [АИ, с. 192]; «мытися имъ творяще, *чехлы* и оуброусть оу мѣвнице вешають» (Сл. св. Григория XVI в.) [Гальковский, с. 34]; «изготовити – В *чехла* мужской и женской, рукомойникъ ... и сам бывъ за завесомъ и обдався водою положит на себя *чехол* да шубу нагольную, да пойдет новобрачная потому ж на себя положит *чехол* да шубу нагольную» (XVII в.) [Дм. Свод., с. 174, 184]; «*чехол* банной безинной белой, переды шиты золотомъ» (1690 г., росп. имущ.) [РИБ-8, с. 1055]; «полог клетчатой полотняной, *чехол* русской мыльной, розшиван шелком, подпушен тафтою красною» [Там же, с. 1153]. В близком к отмеченному значению это слово известно в старочешском и старопольском языках [ЭССЯ-4, с. 36]. В современном русском языке в значении ‘исподнее белье, род сорочки’ не наблюдается, но в говорах западной Брянщины есть слово *чехлик* ‘женская рубаша’ [Сл. зап. Брян., с. 285], что является вероятным свидетельством территориальной близости этих говоров к западославянским языкам. Может быть, и старомосковское *чехол* ‘род сорочки’ следует оценивать как результат польского языкового влияния.

Пережитком древнерусского языкового состояния являются лексемы *котыга* ‘верхняя одежда типа хитона, рубашка’ (около 1117 г.) [Срезн.-1, с. 1303; Востоков-1, с. 180] и *льняница* ‘рубашка из льняной ткани’ (XVI в.), они характерны для четьей литературы религиозного содержания. В изучаемое время изредка

употребляются в списках XVI в. с более древних оригиналов и в некоторых поздних текстах: «един прикры тело его *котыгою* своею, юже ношаше» (сер. XVI в.) [Вол.-Перм. лет., с. 105]; «въ единой *котызе* пребывающе въ ноустынихъ» (XVI в., Ж. Александра) [ВМЧ, февр., с. 239]; «он же рече: возри на мя, знаеши ли сию *лняницу*» (XVI в.) [ВМЧ, анр., с. 1145]; «и сниде с коня и совлече срачицу свою и положив на лежащем мертвеце. Он же рече: возри на мя и знаеши ли *лняницу* сию?.. Аз есмь, его же ты видел еси нага на пути лежаща мертва и возложи на мя сию *лняницу*» (XVII в.) [Лит. сб. Пролог, с. 237].

В старорусский период пополнилась группа названий мужской набедренной одежды, прикрывающей тело ниже пояса: *порты* – *портки*, *штаны*, *гачи* – *гащи*, *пукши*, *плюндыры*, *шаровары*.

Слова с корнем *порт-* – наиболее древние среди перечисленных, интересующее нас значение здесь не сразу отдифференцировалось от родового значения ‘одежда’. Появление лексемы *портки* по традиционной модели первичного деминутива было также вызвано стремлением оторваться от полисемантического слова *порт* (мн. *портки*), слово *портки* обозначало главным образом набедренную одежду. Справедливо предполагают, что *порты* в значении ‘штаны’ существовало уже в XIII–XIV вв., во всяком случае в XVI–XVII вв. слово еще сохраняло такой смысл в письменных источниках самого различного содержания: «две сорочки с тафтою да двои *порты* да чеботы новы» (Москва, 1552 г., дух.) [АРГ, с. 199]; «да возьмь льноу учинить ми срачицу и *порты* и полотенцо» (XVI в., Пов. о Петре и Февронии) [ПСРЛ-1, с. 31]; «десеть сорочек муских с *порты*, пятнадцать сорочек женских» (Касимов, 1535 г., рядная) [АЮБ-III, с. 296]. Ср.: «*Порты* – *гащи*» [Поликарп., с. 496]. Представляют особый интерес примеры, где значение слова *порты* уточняется определением *нижние*: «четверы *порты* нижних да пятнадцат убрусов... пятнадцать рубашек женских да пятеры *порты* нижних да полтретятчат убрусов» (Яросл. у., 1543 г., правая гр.) [Лих. сб., с. 196, 197]; «три рубашки с шелком да четверы *порты* нижние» (Москва, 1542 г., стат. список) [Польск. д.-2, с. 183]. Выражение *нижние порты* можно толковать двояко: ‘одежда для нижней части тела, набедренная одежда’ или ‘исподнее белье, исподники’. Последнее толкование вполне вероятно, так как в следующем примере *порты* уже явно обозначает ‘исподнее белье’: «платье на нем: кафтанишко сермяжное смуро худенько, а рубашенко да *порты* да штаниш-

ки серые» (Шуя, 1649 г., сказка) [Стар. а. Шуи, с. 115]. Все известные к настоящему времени старорусские факты употребления слова *порты* в значении 'мужская набедренная одежда' относятся к среднерусской территории и прилегающим районам (Москва, Ярославль, Шуя, Касимов и т. п.).

Специальное название *портки* для мужской одежды впервые фигурирует в «Речи тонкословия греческого» по списку XV в.: «на человеце *порты*: срачица *порткы* гачник». Слово *портки* было общерусским по территории употребления, свободно использовалось во всех видах письменности, но наиболее часто встречается в деловой письменности, в художественной и описательной литературе демократического содержания: «купил три рубашки пятеры *портки* дватцатеры калигы» (Двин. у., 1563 г., кн. расх. Корел. м. Д. 937. Л. 66) [КДРС]; «купили две рубашки красные шиты шелки да *портки* лняные» (Дорогобуж, 1585 г., кн. пр.-расх. Болд. м.) [РИБ-37, с. 40]; «князи и бояря тогда въздевають на собя *порткы* да сорочицу» (XVI в.) [Аф. Ник., с. 333]; «казаки же пять тысяч человек со оружием, наги, в *портках*, а в руках копия и мечи» (Пов. об азов. взятии, 1642 г.) [ВПДР, с. 103]. Ряд примеров дает основание думать, что слово *портки* со второй половины XVII века приобретает значение 'исподники' в противовес слову *штаны* как названию верхней набедренной одежды, надеваемой на портки, ср.: «дано ему ж балахон *портки* рубаха онучи да штаны» (Волог. у., 1664 г., кн. плат. С.-Пр. м.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 45. Л. 208]; «мужики и женки приходят мыться в торговую лазню, тогда верхнее платье скинувъ съ себя, такожде и рубаху, и гашиникъ, и штаны, и *портки*, черное и скверное» (1666 г.) [Суб. Мат.-4, с. 222]; «жалованья костромитину рейтару Прокофью Свиренову... двои *портки* тритцать алтын, штаны» (Москва, 1675 г. кн. пр.-расх.) [ДТП-III, с. 307]; «на том же мертвом теле рубашенка да *порчишка* да штанишка серые» (Шуя, 1696 г., судн. дело) [Влад. губ. вед. 1857. № 52].

В деловой письменности XVI–XVII вв. отражены деминутивы *портченка*, *портчишка* (*порчишка*) и *порточки*, приведем первые фиксации этих слов: «продать рубашенко да *порченка*, взял 10 денегъ» (1567 г., кн. пр. К.-Бел. м.) [Ник. 1, 2, с. 170]; «продано Ильи Епишева ковтанишка да рубашко да *порчишка*, взято 5 алтын» (1581 г., кн. пр.-расх. И.-Вол. м.) [ВХК XVI в.-2, с. 190]; «подарю тебя, милой друхъ, сорочъкою миткалиною, ки-

сейными *пордочками*» (XVII в.) [Песни Квашн., с. 927]. Таким образом, в течение старорусского периода слово *порты*, развив новую форму *портки*, быстро обогатившуюся производными, успешно эволюционировало в семантическом отношении, а лексема *портки* закрепились как специализированное название мужской исподней набедренной одежды.

Гачи – *гащи* ‘штаны’ – это общеславянское слово, возникшее в праславянскую эпоху (ЭССЯ-6, 106–108). В языке изучаемого периода является малоупотребительным книжно-архаическим элементом, особенно редок вариант *гачи*. В письменности наблюдается с XI в. [Срезн.-1, с. 511]. См. типичные примеры: «мужа оставити в *гащах* обльчены, жены ж въ препоясаних оставити» (XVI в.) [ВМЧ апр., с. 829]; «иже къ тѣлеси прильни суть срачица и *гащи*, иже дольнѣйшая объемля части тѣла до плесну» (XVII в.) [Врем. И. Тим., с. 323]; «удача распустия *гачи*» (XVII в.) [Сим. Посл., с. 206]. Ср. показания словарей: «*гащи* – штаны» (XVII в., Алф.⁽¹⁾, л. 54 об.) [КДРС]; «*гащи* – штаны или другое нижнее одеяние» [Алексеев. Церк. сл., с. 63]. В литературном языке слово архаизировалось, поскольку ему не осталось места в номенклатуре соответствующих названий. Однако в говорах *гащи* в значении ‘портки, штаны; нижняя часть штанов, подвязка’ еще употребляется [Даль-1, с. 346; Опыт, с. 36; СРНГ-6, с. 154].

К иноязычным заимствованиям в этой группе относится слово *пукши* ‘штаны особого покрова’, заимствованное из финского языка (ср.: фин. *pöksyt* ‘штаны’ из швед. *bykor*, *bökor*; эстон. *püks* ‘штаны’ из нижненемецк. *Büxen*) благодаря контактам с иноземными купцами и населением пограничных территорий. Первоначально отмечается в севернорусских актах (архангельских, тихвинских, вологодских), а с XVII в. – в московских, но очень редко. Значение слова точно раскрыто в царском указе 1636 г., где *пукши* заменяется словом *штаны*: «зделано немецкаго платья три жюиана да трои *пукши* сукно лундышь черлено... на кафтаны и на *штаны* пошло кружива серебряного кованого немецкого 67 золотникъ, и всего кафтаномъ и *штаномъ* цена 30 рублевъ нолсеми деньгѣи» (Москва, указ 1636 г.) [ЧОИДР 1892, кн. 3, Смесь, 4]. См. другие примеры: «Саватеи купил сукно простое дал три алтына да сшил *пукши*» (Двин. у., 1563 г., кн. расх. Корел. м.) [КДРС]; «Ивану Семенову сыну Лодыгину зделано немецкаго платья плащ да кабат да *пукши* в сукне аглинском желтом, к нукшам же *пришито* четьре завяски»

(Москва, 1632 г., кн. расх.) [Заб. Дом. быт-2, с. 564]; «явил Титко Коновалов В юпки черные, *пукши* черные же однорядочные» (Тихвин, 1656 г., кн. там. № 194, л. 12) [КДРС]; «*пукши* камкасейные лазоревые» (Вологда, 1669 г., роспись) [ОВС-ХІ, с. 175]. Слово *пукши* не закрепилось в русском языке.

С 1597 г. в письменности фиксируется слово *штаны* (ранее называли XVII в.), отмечаются и его производные: *штанишка* – с 1598 г., *штаники* – с 1632 г. Ср. в старобелорусском *штаны* – с 1555 г., в украинском – с 1733 г. Слово штаны употреблялось без ограничений, оно обозначало всесословную одежду, но первоначально отмечается лишь в описаниях одежды иностранцев и лиц, связанных с царским двором: «на шахе зипунец киндячен впущен в *штаны* в золотные» (1597 г., стат. сп.) [Перс. д.-1, с. 440]. Эти первые фиксации подтверждают тюркскую (Фасмер-III, с. 377; IV, с. 429) и иранскую этимологию слова. Выявленные факты опровергают также мнение, высказанное однажды И. С. Вахросом, о том, что слово *штаны* в XVII в. встречается редко и обозначает лишь предмет одежды высших кругов общества. В северных таможенных книгах XVII в. очень часто упоминается это слово с определениями *холицовые*, *сермяжные*, *конопляные*, *пестрядинные*, т. е. с указанием на ткань, из которой шилась одежда простолюдинов. Быстрому закреплению слова способствовала его однозначность, семантическая определенность, см. еще примеры: «покупал холстины на ошивку робятм ко *штаномъ*» (Вологда, 1622 г., кн. пр.-расх. арх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 12. л. 162]; «трои *штаники* полотняные» (В. Устюг, 1632 г., явка) [АХУ-III, с. 116]; «*штаны* камчатные камка индейская шелк черлен зелен на опушку пять вершков камки двоеличной шелк ал желт на поткладку шесть аршин зендени багровой на зепи пять вершков крашенины лазоревой на настилку четь фунта бумаги на завойки два золотника снурка шелк черлен пояс шелковой и всего *штаном* цена два рубли тритцать алтын» (Москва, 1641 г., кн. расх.) [Заб. Дом. быт-2, с. 762]. Дальнейшая история слова хорошо известна.

Единичными употреблениями представлены лексемы *плюнды* и *шаровары*, обозначавшие реалии иноземного быта.

Плюнды (из нем. *Pluderhose* 'шаровары') [Махек, с. 378] известно по одной фразе из записок Арсения Суханова: «носить платье греки мало не все франкское черное: и капелющъ и *плюнды* и плащъ и сапоги» (1653 г.) [Арс. Сух. Проскинитарий,

с. 21]. Ср. старобелорус. *плюдры* ‘брюки’, укр. *плюдры, плюндры* ‘желтые ирховые брюки у галицких мещан’ [Гринченко-2, с. 202; 3, с. 198].

Один раз встретилось и слово *шаровары*, причем в тексте, переведенном с польского языка и посвященном описанию Турции: «на тех невольниках шапки красные и рубашки тож подобием маринаров, а *шаровары* имеют белые» (Москва, 1678 г.) [Двор цесаря тур., с. 47]. *Шаровары* заимствовано из тюркских языков, может быть, из иранского через турецкое посредство [Радлов-3, с. 1891; 4, с. 967]. Предположение о том, что слово *шаровары* появляется уже в XVI в., не подтверждается фактами. Правда, в польском, который выступал посредником в усвоении этого слова, оно существует уже в XVI в., тогда же слово было усвоено белорусским языком. В XVIII в. слово фиксируется словарями русского языка [САР-6, с. 1339], что говорит о его закреплении в речи.

Таким образом, наблюдения показывают, что в старорусский период начинается выработка родового обозначения нательной одежды, закончившаяся утверждением наименования *белье*. Названия исподней наплечной одежды представляли собою компактную группу, внутри которой наблюдается дифференциация лексем по жанрово-стилевому принципу. В устной речи и в деловой письменности были распространены слова *рубашка* и *рубаха*, они имели значительное число деминутивов. Лексема *срачица* носила книжно-архаический характер, ее полногласное соответствие *сорочица* вышло из употребления под влиянием общеупотребительных слов *сорочка* и *рубаха*. *Котыга* и *льняница* заканчивают свою жизнь в книжно-религиозной литературе. Названия конкретных разновидностей рубашек именовались по материалу, способу ношения и носили локальный характер: слова от корня *холиц* – отмечены в двинских источниках XVI в., там же наблюдается и лексема *вороток*; в северо-восточной части севернорусской территории распространены наименования *исподка* и *верхница*. Для московской письменности было характерно специальное название спальной сорочки – *чехол*.

Старорусская письменность XVI–XVII вв. отразила некоторые изменения состава названий мужской набедренной одежды. В связи с разделением этой части одежды на исподнюю и верхнюю произошла дифференциация значений основных слов этой группы: *портки* и *штаны*. Древнерусское *гащи* перешло в разряд архаизмов.

Группа несколько пополнилась за счет заимствований, которые преимущественно обозначали реалии быта других народов. Территориальное распределение анализируемых слов проявляется слабо.

В исследованной тематической группе «одежда» преобладает общерусская лексика, что становится характерной особенностью не только для предметно-бытовой лексики, но также для административной терминологии, промыслово-ремесленной лексики, соматических наименований и терминов родства и свойства, географических наименований, лексики природы и т.п. Это не означает, что в каждой из названных групп исчезают локализмы. Доля диалектных обозначений сокращается постепенно, а общерусский элемент неуклонно увеличивается.

Вместе с тем развивается жанрово-стилевая дифференциация внутри тематических и лексико-семантических групп. Этому способствует расширение сфер функционирования письменных текстов, развитие жанров художественной речи, общее увеличение числа пишущих и сочиняющих, расширение культурных контактов между населением разных территорий.

Основные названия одежды из числа рассмотренных оказались чрезвычайно устойчивыми. В большей мере это касается мужского гардероба. Группа названий женской одежды в национальный период радикально пересмотрена и существенно увеличилась.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., например: Арциховский Л. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). – М., 1954, – С. 45; ПСРЛ-IV, с. 25.

2. ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (НАЗВАНИЯ ПОВАРЕННОЙ ПОСУДЫ)

В понятие «посуда» в русском языке XVI–XVII вв., судя по показаниям письменных источников, входили столовые сосуды, поваренная или кухонная посуда и посуда погребная, в которой хранили готовую пищу и столовые запасы. Знатные люди, как свидетельствуют описи имущества, пользовались посудой, разнообразной по внешнему виду и назначению.

Названиям столовой посуды была посвящена работа Н. М. Вапюшина¹, названия поваренной посуды изучены меньше², в частности, на широком материале письменных памятников разных территорий России они не исследовались.

Кухонная посуда предназначалась для приготовления пищи. Она получала наименования по внешнему виду, материалу, содержанию и т. д. Рассмотрим эти названия в порядке, соответствующем степени их употребительности в речи и значимости в процессе приготовления пищи: посуда для приготовления первых блюд и напитков (*горшки, котлы*), посуда для приготовления вторых блюд (*сковороды* и под.), *черпаки*.

В старорусский период активно функционируют слова, входящие в корневое гнездо, связанное с праславянским **gьrnъ*, от которого зависело формирование всей совокупности названий гончарной посуды. В русском языке XVI–XVII вв. основное название – *горшок* ‘глиняный или металлический сосуд с широкими круглыми боками, для приготовления или хранения пищи и съестных припасов’. Слово *горшок* впервые отмечается в Геннадиевской библии 1499 г., характеризуется общерусским распространением. См. примеры: «Поделывал *горшок* в поварню въ есьтовную да въ хлебню» (Кострома, 1553 г.) [Кн. расх. Ипат. м., с. 127]; «Делал *горшек* медяной болшей» (Двин. у., 1559 г., кн. расх. Ник.-Корел. м. Д. 935. Л. 33) [КДРС]; «Того же дни купили въ вотчину на семью шти варити *горшокъ* железной» (Дорогобуж, 1589 г., кн. рас. Болд. м.) [РИБ-37, с. 66]. С XVI в. *горшок* включается в словари: «*Гаршок*» [Сл. 1586 г., с. 153]; «Судно въ чемъ каша варится – *горшекъ*, котликъ» [Вейсман, с. 110].

Тексты содержат сведения о материале, из которого изготовлялись горшки, и их функциях. Их делали в основном из глины. В горшках готовили пищу, хранили молоко и масло, использовали в качестве крышек к котлам и винным кубам, они нужны были при иконописных работах и сооружении печных труб. Сфера употребления слова в русской письменности той поры – от пословиц до религиозных сочинений, например: «Гневливъ з *горшки* не ездить» (XVII в.) [Симони. Посл., с. 91]; «Старець Феодосей *горшковъ* купил на кринки и на варъ на два алтна» (Вологда, 1648 г., кн. пр.-расх.) [арх. ВОКМ. № 2167. Л. 248 об.]; «Сотвори члвека сиречь яко скуделникъ скуделу, просто молыть – горшешник *горшок*» (1675 г. Снискание о божестве) [Пустоз. сб.,

с. 102]. Преимущественная сфера употребления анализируемой лексемы – деловая письменность и связанная с нею светская литература.

Деминутив *горшочек* (*коршечек*) ‘небольшой горшок, кухонный и столовый сосуд’ наблюдается в письменности с последней четверти XVII в., см.: «Старец Федорит... себе оставил в келье 2 *коршечка* медяные с покрывками да блюздо икряное» (Волоколамск, 1576 г., кн. пр.-расх. Иос.-Вол. м., Д. 1028. Л. 27 об.) [КДРС]; «Куплено стона оловяная... да *горшечикъ* медяной съ покрывшкою... а дано за стопу и за горшокъ полтин» (Дорогобуж, 1600 г., кн. расх. Болд. м.) [РИБ-37, с. 146]; «А каша была в двух *горшечкахъ* фарфоровыхъ» (Москва, 1626 г., свадьба царя Мих. Фед.) [Вивл.-XIII, с. 171] Нет ли *горшечка* попарить кишечка (XVII в.) [Симони. Посл., с. 11]. Деминутив *горшечек* как эмоционально окрашенное слово употребляется в деловой письменности и фольклоре.

Слова более древнего происхождения *горнецъ*, *гърнецъ*, *грънецъ* (с 1073 г.) [Срезн.-1, с. 616] и *горнь*, *гърнь*, *грнь*, *горънь* (с 1377 г.) [Срезн.-1, с. 616] употребляются в старорусский период редко, особенно *горнь*. Архаичный характер этих лексем проявляется в том, что они отмечаются в текстах произведений богослужебного и проповеднического содержания. С этим связана и их предельно общая, неконкретная семантика ‘котел, горшок, чаша, сосуд вообще’, ср.: «На столе стоять *горны* железные. А в нихъ ставить свещи» (1678 г.) [Спафарий. Китай, с. 220].

Одно из древних названий горшка *скудель* употреблялось в памятниках религиозной письменности с XI в. [Срезн.-III, с. 396]. В старорусский период встречается редко, исключительно в церковно-религиозных текстах, например: «И сотвори человека, сиречь яко скудельник *скуделу*, еже есть горшешник горшок» (1672 г., Списание и собрание о божестве) [Ж. пр. Авв., с. 181].

Котел – общеславянское слово от праславянского **kotylъ*, входящего к латинскому *catinus*, *catillas* ‘блюдо, миска’ [ЭСРЯ-8, с. 357–358]. В русской письменности фиксируется с 1076 г. [Востоков-1, с. 181], регулярно включается в словари, начиная с «Речи тонкословия греческого» [Речь тонк. греч., с. 29].

Котел – ‘металлический, кованый или литой, сосуд для парки, кипячения чего-либо, с ушками и дужкой для переноски и подвешивания’. Функции *котла* подчеркнуты в определениях при этом сло-

ве: *пивной* – *пивоварный*, *бражной*, *затирочный*, *винный*, *квасной*, *варчий* – *варевой*, *естовный*, *поваренный*, *штяной* – *штеварной*, *кашной* – *кашеварной*. Были также *котлы воцанные*, в котлах варили смолу, селитру. В походы брали *путные*, то есть дорожные, котлы небольших размеров. Приведем несколько примеров: «Благословляю его жену Анну Гарманову дочь... ей же *котел* меден *пивной*» (1533 г., дух. гр.) [Лих.сб.-II]; «Да им жь судов: оловяник, да кружка, да *котел пивной*, да *котел виной*... *котел естовной*» (сер. XVI в., дух. гр.) [АФЗХ-II, с. 231]; «Купил... *котел штеварной* железной дан 3 рубли; куплен *котел* железной *щаной*» (Волоколамск, 1576 г., кн. пр.-расх. Иос.-Вол. м. Д. 1028. Л. 93 об.; Д. 6. Л. 71) [КДРС].

Котел – общерусское слово, употреблявшееся преимущественно в деловых текстах. Оно имело несколько деминутивов, что объясняется широким употреблением слова в повседневной бытовой речи.

Котелец (*котлец*) – древнерусское слово (с 1280 г.) [Срезн.-I, с. 1304], в XVI–XVII вв. употребляется редко, см., например: «24 зубила железных, *котлец* железной ветчан» (Казань, 1568 г.) [Кн. п. Казани, с. 2]; «Мережи и *котелца* и пешни велено розложить на два зимовья» (Туруханск, 1636 г.) [ЦГАДА. Ф. 214. Д. 52. Л. 149].

Котлы малого размера чаще называли *котлик* – это образование старорусского периода, наблюдается в текстах 1550 г. (ср.: с 1598 г. [Сл. РЯ XI–XVII вв.-7, с. 382], см.: «Котель большой квасной железной... да шесть *котликовъ* малыхъ» (Двин. у., ок. 1550 г., оп. Коряжем. м.) [АЮБ-II, с. 640]; «*Котликъ* невеликъ медной, въ чемъ патоку греють на оладьи» (Кириллов, 1601 г., оп. К.-Бел. м.) [Ник.-I, с. 228]; «2 *котлика*, один въ полтора ведра, а другой въ ведро» (Москва, XVII в.) [Оп. им. кн. Мстисл., с. 3]; «Принесъ *котликъ* путной меднай, человекъ три будутъ изъ него сыти» (Воронеж, 1677 г., суд.) [Тр. Ворон. УАК-V, с. 507].

Деминутивы *котлишко* (с 1559 г., ср.: с 1607 г. [СлРЯ XI–XVII вв.-7, с. 382] и *котелок* (с 1639 г., ср.: с 1672 г. [Там же, с. 380]) употребляются значительно реже, см. самые ранние фиксации: «Делал горшок медяной болшеи а пошло в него меди горшок старой медяной да пят *котлишков* малых медяных» (Двин. у., 1559 г., кн. расх. Корел. м. Д. 935. Л. 33) [КДРС]; «Даль вкладомъ колмогорець Игнатей Ивановъ сын... 5 рублевъ денег за се-

бя да *котелокъ* весомъ 6 гривенокъ» (Двин. у., 1639 г.) [Кн. вклад. Ант.-Сийск. м., с. 36].

В последующие периоды степень употребительности рассмотренных образований изменилась в связи с изменением продуктивности отдельных формантов, сообщающих этим словам значение уменьшительности: *котлец* – *котелец* утратились, универсальной уменьшительной формой стало слово *котелок*, варианты *котлик* и *котлишко* встречаются эпизодически.

Разновидности котлов по размерам в Москве имели специальные названия: *тройчатка*, *четверник*, *пятерик*, см.: «Явил романовец Еремей Федоров по романовской выписи котел железной мыльной *петерик*; Явил Углецкого уезду села Чанцова Тимофей Варфаломеев... 3 котла *четвериковых*, 4 котла *тройчатков*; Явил борисоглебец Алексей Яковлев по борисоглебской выписи котел железной *четверник*» (Москва, 1694 г.) [Сакович, кн. моск. там., с. 30, 40, 83]. В других источниках подобные названия не обнаружены. Может быть, они носили локальный характер, к тому же являясь специальными терминами московских таможенников.

В зависимости от приготавливаемой в котлах пищи или напитков они могли приобретать названия: *кашник*, *квасник*. *Кашник* ‘котел для каши’ отмечается в текстах с 1665 г.: «Сделали котелники котел медной *кашникъ* весомъ два пуда» (Вологод. у., 1665 г., кн. пр.-расх. С.-Прил. м.) [ГАВО. Ф. 512. № 59. Л. 47]; «Ананья съ ящики, а жена ево с *кашники*» (XVII в.) [Симони. Посл., с. 77]. В национальный период *кашник* ‘горшок, в котором варят кашу’, отмечается в значительной части русских говоров [СРНГ-13, с. 153].

Иногда в названии котла учитывается процесс приготовления крепких напитков, например, *седун* ‘котел для производства крепких напитков’ от *сидеть* ‘курить, добывать перегонкою’. *Седун* отмечается с 1632 г., в исторических словарях не обнаружено. См. примеры: «Да они же у меня с поварни взяли восемь котлов *седунов* да шесть кубов» (В. Устюг, 1632 г., явка) [АХУ-III, с. 110]; «А поваренного заводу взято у него, Ивана, пять котловъ *седуновъ* по пятнатцати ведеръ» (В. Устюг, 1641 г., розыск) [А. посад., с. 267]; «Аггей Свинынь съ товарищи на твоей великого государя винокурной поварне на Лалскомъ погосте, на Шилинге построиль вновь винокурныхъ судовъ котель, семь *седуновъ*, два куба» (1669 г.) [ДАИ-V, с. 423].

Слово *седун* было, очевидно, севернорусским диалектизмом, характерным для северо-восточной зоны. Сведений о его употреблении в более позднее время нет.

С конца XVII в. фиксируется слово *казан* 'котел для винокурения' (тур., тат. *kazan* 'котел' [Фасмер-II, с. 159]). В настоящее время представлено также в украинском, белорусском, болгарском, македонском и сербохорватском языках [ЭСРЯ-8, с. 16]. В XVII в. имело местный характер, отмечается в деловой письменности юга России и Поволжья, например: «Въ той же житнице 11 *казановъ* медныхъ болшихъ, къ темъ же *козанамъ* 20 трубъ» (Кромы, 1689 г., сказка) [Д. Шакл.-II, с. 622]; «Семь *казановъ* медныхъ, котель пивной» (Орел, 1699 г., чел.) [Тр. Орл. УАК-VI, с. 31]; «Вино курумъ на тритцеть *казановъ* да с нынешняго числа десет *казанов* убавили потому что хлеба купит не на што» (Казан, у., 1698 г.) [Гр-ки, 192]; «А вино, писал я, сидет на все кубы и *казаны*» (Н. Новгород, около 1699 г.) [Гр-ки, с. 241].

Позднее функции казана расширяются, увеличивается и территория употребления слова, ср.: *Казан* 'большой металлический котел для варки пищи, нагревания воды и т. д.' оренб., сарат., тамб., дон., ворон., терск., кубан., черномор., курск., орл., тул., брянск., ряз., моек., арх., свердл. и т. д. [СРНГ-12, с. 309].

При номинации типов котлов учитывается и такой важный признак, как материал для изготовления. Наиболее распространены были медные котлы, отсюда названия с корнем *мед-*: *медница* (с XV в.), *меденик* и *медяница* (с XVI в.), *медник* (около 1550 г.), *меденичек* (с XVII в.) и *медяник* (с 1663 г.; значение 'котел' историческими словарями не засвидетельствовано). Вариантность отдельных слов обусловлена фонетико-деривационными причинами. Между собой лексемы различались временем активного бытования в речи и сферой использования.

Медница и *медяница* функционировали в конфессиональной литературе, но редко; в других разновидностях письменности употреблялись окказионально, см., например: «Единъ держаше *медяницу* белу красну и дивну велми» (XVI в., Ж. Андр. Юрод.) [ВМЧ, окт. 1–3, с. 223]; «Въ питейной продажи *медницы*, кварталы, кгарницы чтобъ по всему государству нашему... были равны» (XVII в.) [Лит. сб. Пролог, с. 105]. Внешний вид и функции этой посуды в текстах не конкретизируются, так как для авторов текстов важно было выразить только идею 'медный (сосуд)'.

Медя/никъ – *медяникъ*, *медникъ* – наиболее частые слова из отмеченных. Область их употребления – деловая письменность Севера, изредка московские акты. См. примеры: «два *медника* въ хлебне» (Двин. у., ок. 1550 г., оп. Коряжем. м.) [АЮБ-II, с. 640]; «24 блюда оловяныхъ, 16 тарелокъ, 4 *мединика*» (Москва, 1613 г.) [А. Моск., с. 94]; «Пудъ меди в котлахъ и въ тазахъ и въ *меденикахъ* зеленой красной» (Енисейск, 1687 г.) [Росп. цен, с. 65]; «Медяникъ въ два ведра, четыре *медяника* по ведру» (Вологда, 1663 г.) [Оп. им. арх., с. 100]; «Отведено четыре котла варчих медных з дугами да *меденик* варчей весом всего пуд» (Онега, 1688 г., арх. Он. Крест, м.) [КДРС]; «А судов котель *меденикъ* съ кровлею» (XVII в.) [Дом. Свод., с. 185]; «И выироя у него *меденика* курит вино» (Верхотурье, 1695 г. А. Верхот. съезж. избы, карт. 39) [КДРС].

Возможно, *медником* называли не только котлы, но и другие типы медной посуды, ср. более позднее показание: «Банное судно, в котором теплою водою моются – *медникъ*» (1731 г.) [Вейсман, с. 64].

Деминутив *меденичек* обнаружен в хозяйственном руководстве XVII в.: «Положи ту кожуру в *меденичекъ* и налей ея виномъ добрымъ и поста/ви/ в печь» (Указ о промысле, с. 2) [КДРС].

Медник, *медяник* ‘медный или глиняный котел, горшок для воды, кваса и проч.’ обнаруживаем в архангельских, тверских, кировских, вологодских, уральских и сибирских говорах [СРНГ-18, с. 70, 76].

Сковорода – ‘металлическое или глиняное блюдо, предназначенное главным образом для приготовления первых и вторых блюд путем печенья или жаренья’, это основное по употребительности слово в ряду однокоренных, см.: *сковрада* – с 1280 г., *сковорода* – 80 г. XI в. (ср.: с 1551 г. [Срезн.-III, с. 376]), *сковородка* – с 1559 г., *сковородочка* – с 1612 г., *сковороденко* – с 1670 г.; последние два слова историческими словарями не фиксируются.

Неполногласный вариант *сковрада* в XVI–XVII вв. употребляется в архаично-книжных текстах религиозного содержания, где чаще обозначает орудие пытки, чем кухонную утварь. Приведем несколько примеров: «На *сковраде* испеченое нечто приносят» (I четв. XVI в., Кормчая Балаш. 452) [КДРС]; «Куплено две *сковрады* новых» (Двин. у., 1673 г., Д. Он. Крест, м.) [КДРС].

Сковорода впервые отмечено в берестяной грамоте, см.: «Отъ Нежате вишне и вина и гароусъ, и моюку, кожоухъ Иванъ и *сковородоу*» (Бер. гр. № 586) [Археолог. откр. 1980. – М., 1981, с. 37]. Приведем несколько примеров, позволяющих очертить семантический объем слова и круг текстов, где оно чаще используется: «3 лососи, *сковорода* рукоятная да топоръ» (Новгород, у., 1500 г.) [Кн. пер. Водск. пят. III, с. 502]; «Две *сковороды* блинных да шесть поневъ» (Яросл. у., 1543 г., правая гр.) [Лих., с. 196]; «А в *сковородах* рыба свежая по 2 звена на брата, а *сковорода* четверем братом, с перцом» (Моск. у., XVI в., обиходник Волоцкого м.) [Тих. Мон. вотч., с. 136]; «За столомъ у государя патриарха ели в крестовой... 3 *сковороды* штей съ снятками» (Москва, 1623–24 гг.) [Стол. п. Филарета, с. 73].

С конца XVI в. слово попадает в словари: *Скаварада* [Сл. 1586 г., с. 153]; *Сковорода* [Вейсман, с. 108].

Слово *сковородка* было распространено не меньше, чем *сковорода*, и, по-видимому, лексикализировалось, употребляясь без оттенка уменьшительности в значении. Ср.: «Две *сковородки* медяные обе стороны лужены» (Двин. у., 1559 г., кн. расх. Корел. м. Д. 935. Л. 34 об.) [КДРС]; «А послано к нему ествы всякие на 32 блюдех и в *сковородках* серебряных» (Москва, 1604 г., прием послов) [Рус.-кавк., с. 409]; «Да *сковородка* медная кисель варят» (Кириллов, 1601 г., кн. переп. К.-Бел м.) [ГПБ. Ф. 351. Д. 71/1310. Л. 363]; «Вологодские стрельцы явили продать... 10 *сковородок* глиняных» (В. Устюг, 1651 г.) [ТК-II, с. 55].

Тексты показывают, что *сковорода*, *сковородка* была не только металлической, но и глиняной посудой, в ней не только жарили и пекли, но и варили жидкую пищу, использовали в качестве кухонной утвари, а также в составе столового прибора. Разнообразие функций, выполняемых *сковородами*, требовало разнообразия их внешнего вида: по размерам, по высоте боковых стенок, по качеству отделки внутренней поверхности. Одна из разновидностей *сковород* получила особое название *блинная сковорода*, см.: «Купилъ *сковороду блинную* нову на домашней обиходъ» (Дорогобуж, 1589 г., кн. расх. Болд. м., 76) [КДРС]. Оно употреблялось довольно часто. Другие сочетания: *сковорода естовная*, *яцкая* – носят окказиональный характер. Глубокие *сковородки* типа плошек использовались, например, в Белозерске в качестве питейных сосудов: «Да целовалник Костя Якшин в роснросе сказал: сидить де онъ у гсдва питья в *сковородошной*, продает

вино в *сковородки*... взял де вина *полсковородки*» (Белозерск, 1633 г., суд. запись) [ЛОИИ. Ф. 194. Карт. 5. Д. 21].

Уменьшительные образования *сковородочка* и *сковороденка* редки в текстах, см. их первые употребления: «2 *сковородки* черныхъ болшихъ, да *сковорода* луженая, да 2 *сковородочки* малыхъ» (1612 г.) [АИ-П, с. 406]; Две *сковороденки* железные цена два алтна (Белозерск, 1670 г., А. Белоз. съезж. избы, к. Д. 13) [КДРС].

Некоторое время *сковорода* могла испытывать конкуренцию со стороны западнославянского слова *панев* ‘металлическая сковорода, котел’, зафиксированного в житийных текстах XV в. [Срезн.-П, с. 876] (ср. чеш. *panev* ‘сковорода, противень’, польск. *panew* ‘сковорода’). В конце XVII в. это слово снова наблюдается в русском языке как местное (тихвинское) в форме *панна* (может быть, под влиянием *канна*, функционировавшего во второй половине XVII в.), см., например: «Явил тихфинец Иван Онтонов из-за свейского рубежа товару 21 круг меди волоченой зеленой да *панна* новая с накрышкой и с трубами красной меди» (Тихвин, 1688 г., кн. там. Тихв. м.) [Рус.-швед. отн., с. 480]; «*панна* оловяная двадцать пять фунтов» (Тихвин, 1699 г., кн. там. Тихв. м. Д. 1175. Л. 33 об.) [КДРС]; «Да *панна* медная перозжая весом 10 пуд» (Тихвин, 1699 г., кн. там. Тихв. м.) [Рус.-швед. отн., с. 537]. Продолжения в истории русского языка слово *панна*, кажется, не имело.

Функционально близка к *сковородке* *латка*. Но *латки* делали исключительно из глины. В отличие от общерусского *сковорода* слово *латка* было новгородским по месту первоначального бытования и распространилось на путях новгородской колонизации Севера: Валдай, Онега, Подвине, Устюг. *Латка* – общеславянская лексема, от праславянского **laty* [Фасмер-2, с. 465]. В текстах XIV–XVI вв. отмечаются однокоренные *латы*, *латъвь* ‘горшок’ [Срезн.-П, с. 12], *латва* [СлРЯ XI–XVII вв.-8, с. 178], например: «Оуху вльѣя въ *латъвь*» (Суд. XVI в.) [Востоков-И, с. 197]. Вообще же эти слова для письменности XVI–XVII вв. нехарактерны.

Латка впервые отмечено в литературно-художественных и религиозных сочинениях XIV в. [Срезн.-П, с. 12] в значении ‘столовая и поваренная посуда’. Как столовая посуда *латки* употреблялись в крестьянском быту, в основном же они служили для приготовления и хранения пищи. См. примеры: «Купил в колач-

ню 60 *ладок* глиняных» (Кириллов, 1568 г., кн. расх. К.-Бел. м., № 2) [КДРС]; «Куплена муравая *латка* дана алтын» (Валдай, 1668 г., кн. расх. Ивер, м. Д. 53. Л. 123) [КДРС]; «Куплено святому владыке семянного масла 3 фунта с четвертью у Ивана Гаврилова, зырянина, дано за масло и с *латкою* 3 алт.» (В. Устюг, 1682 г., кн. пр.-расх. арх.) [АХУ-II, с. 1044]. В целом количество фиксаций слова *латка* в текстах XVI–XVII вв. невелико. Вероятно, ранее оно употреблялось чаще, поскольку проникло в тексты художественного и богословского содержания. В связи с появлением новых типов сосудов, особенно металлических и стеклянных, иод влиянием конкуренции со стороны новых слов *латка* превращается в регионализм разговорного характера.

В современных севернорусских говорах *латка* ‘посуда для жарения; миска, плошка и т. п.’ сохраняется до сих пор [СРНГ-16, с. 288–289]. Известно оно было и в XVIII в.: «*Латка* – плошка, черепен» (I пол. XVIII в.) [Рук. лекс., с. 162].

Слово *плошка* (с 1577 г., в исторических словарях не приводится) имело общее значение ‘глиняная широкая посуда с невысокими краями’, которое конкретизировалось в зависимости от функции реалии. Так, в севернорусских актах это ‘кухонная посуда для приготовления жареного и печеного, тип невысокой ладки’, см., например: «Купил... пят гривенок масла дал четыре алтны четыре денги да *площок* короваиных да горшков» (Волог. у., 1577 г., кн. прих.-расх. Корн.-Комел. м., оп. Барсова. Д. 100. Л. 12) [КДРС]; «Куплено в обиходную поварню пять *плошекъ* больших мясо жарит дано три алтна» (Вологда, 1668 г., кн. пр.-расх. арх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 43. Л. 42 об.]. Вероятно, в этом значении слово *плошка* было вологодским диалектизмом.

Плошка ‘низкий широкий питейный сосуд, чаще глиняный’ представлено в западной части среднерусской и южнорусской территории, а также в Поволжье (Дедилов, Ст. Оскол, Калязин, Владимир, Симбирск, Саранск), см., например: «Да *плошекъ* и чарок по кабакомъ изошло на рубль» (Ст. Оскол, 1652 г., кн. там.) [Южн. там., с. 259]; «Да на нагорномъ кабаке... 840 *плошекъ*, 106 ковшовъ малой руки» (Симбирск, 1667 г.) [Кн. пр.-расх. Синб. приказн. избы, с. 166]; «В Саранску на кружечнай двор для питухов куплено тысеча *плошак* глиняные да пятьсот чарак деревяных» (Саранск, 1692 г.) [Саранск. ТК, с. 34].

Плошка ‘питейный сосуд и посуда для ремесленных нужд’ наблюдается в московских актах, см.: «Куплено великому госу-

дарю вверхъ въ переднюю къ стенному письму десять *плошакъ* мурамленныхъ» (Москва, 1666 г., кн. расх.) [Успен. Цар. икон.-III, с. 318]; «Смотреть накрепко, чтобъ на отдаточномъ дворе и по фартеннымъ избамъ и въ водочныхъ палатахъ никто съ кувшинами и съ *плошками* и съ ковшиками не ходили» (Москва, 1698 г., указ царя) [ПСЗ-III, с. 472]; «Крылосские люди живут не богато, нажитку не имеют, только у нас *плошки* да ложки» (Калязин, конец XVII в., Калязинская челобитная) [Рус. Архив. 1873. № 9. С. 1782].

Позднее *плошка* становится общерусским словом [Даль-III, с. 130].

Веко – ‘металлическая большая емкость, круглая или продолговатая, типа блюда или подноса, с невысокими краями, для хранения и приготовления пищи, с крышкой и ручками’, является общеславянским словом [ЭСРЯ-3, с. 39]. В русских письменных источниках употребляется с 1553 г. Указанное выше значение выявлено по контекстам. Предполагаемое значение ‘лукошко, лубяная коробка для продуктов’ [СлРЯ XI–XVII вв.], источниками не подтверждается. В старорусский период это преимущественно кухонная посуда, см. ее функции и описание внешнего вида: «Поделывал *века* повареново железнаво дано от него мастеру и за железо алтын» (Кострома, ок. 1553 г.) [Кн. расх. Ипат. м., с. 131]; «Купил *веко* медное ново лужено» (Кириллов, 1567 г., кн. расх. К.-Бел. м.) [Ник. 2, с. 15]; «Въ поварне в естовной суды... два противня да *веко* пирожное медяное» (Весьегонск, 1575 г.) [Оп. Краснохолм. м., с. 54]; «В столе и в *веке* въ хлебномъ и по полицамъ, и по чюланомъ, и по главкам крохи и остатки... ключник доброй все то обирает» (н. XVII в.) [Дом. К., с. 42]; «2 *века*, одно долгое другое круглое» (Москва, 1608 г.) [Оп. им. Тат., с. 22]; «Починивал медной мастер большое хлебное *веко* что греют воду на хлебы» (Вологда, 1640 г., кн. пр.-расх. арх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 19. Л. 227]; «*Веко* медное..., а то *веко* живетъ у архиепископаверху: в летнее время держать въ немъ квасъ во льду» (Вологда, 1663 г.) [Оп. им. арх., с. 104]; «Въ хлебе медной посуды... 16 *векъ* пряжелных болших и малыхъ» (Москва, 1677 г.) [Оп. аптек., с. 62]; «16 *векъ* круглыхъ и четвероугольныхъ луженыхъ... те все *века* посланы въ Путивль и въ Севескъ для ковардашного дела» (Москва, 1683 г., цар. Наказ) [ДТП-I, с. 794].

В XVI–XVII вв. *веко* ‘вид поваренной посуды’ было употребительным словом. Позднее оно приобретает узкодиалектный ха-

ракти: *Веко* 'чашка, в которой валяют хлеб перед выпечкой', твер., арх. [СРНГ-4, с. 101]. Это можно объяснить усилением роли слов *противень*, *сковорода*. Одновременно в говорах наблюдается возрастание лексемы *веко* 'лукошко', 'крышка лукошка' [СРНГ-4, с. 101], которая в исторических текстах в явном виде не обнаружена, хотя *веко хлебное* или *веко дорожное*, служащее для перевозки посуды, известные по текстам XVII в., могли иметь вид лукошка (см. вышеприведенные примеры).

Известно также использование *века* как подноса, лотка, см., например: «3 тарелки серебряныхъ чеканныхъ *веко* серебряное прорезное, а несены на техъ торелкахъ запана да двои часы, а на *веки* рукавицы и чюлки» (Москва, 1675 г.) [ПДС-V, с. 183]; «Торговые дюдй ныне торгуютъ... поставя шалаши и скамьи, рундуки, и на *векахъ* всякими разными товараы» (Москва, 1676 г., указ царя) [ПСЗ-П, с. 76]; «Торгуеть де онъ противъ овощного ряду на *векахъ* всякимъ щепеньемъ» (Москва, 1711 г., Док. нем. шк. 165) [КДРС]. Значение 'лоток, ящик для продаваемых товаров' известно позднее в вологодских говорах [СРНГ-4, с. 101].

Деминутив *вечко* обозначал поднос малых размеров, см.: «Пять блюдецъ малыхъ икорныхъ, судки столовые на *вечке*» (1638 г.) [АС-П, с. 968].

Веко и *вечко* наблюдаются в письменности Севера и Средней Руси.

По фонетико-морфологическим соображениям деминутив (вторичный) от *вечко* выглядит как *векошник* 'небольшая мерная кухонная чашка' (с 1613 г.), это редкое слово, отмечено только в московских актах, см.: «Въ рыбной день подается государю въ столъ... *векошникъ* снятковъ, на блюдо *векошникъ* ягодъ» (Москва, 1613 г., роспись цар. кушаньям) [АИ-П, с. 429]. *Векошник* в данном значении в говорах не отмечается.

Противень – 'большой металлический четверугольный поднос для приготовления горячей пищи'. От сковороды отличался формой и более крупными размерами. В отличие от *века* имел более низкие края. Слово *противень* заимствовано из немецкого языка (*Bratpfanne*), затем подверглось фонетическому переоформлению под влиянием слова *против* [КЭСРЯ, с. 273]. В письменных источниках наблюдается с 1576 г., в исторических словарях отсутствует. См. примеры: «Ключнику Фетче дал от поделки от горшка да от *противня* 3 алтына» (Волоколамск, 1576 г., кн. пр.-расх. Иос.-Вол. м. Д. 1028. Л. 69–69 об.) [КДРС]; «Починиваль

противень, скобу и рукоядь приделываль; зделалъ две покрывши медныхъ въ поварню на *противни*» (В. Новгород, 1651 г.) [Кн. расх. митр. Ник., с. 53]; «Взял с поварни поваренных судов: три *противня* но ведру» (Вологда, 1658 г., роспись) [ОБС-ХІ, с. 67]; «Да медныхъ судовъ, въ чемъ сахаръ лютъ: 8 *противней*» (Москва, 1676 г., аптек. двор) [ДТП І, с. 213]. Позднее размеры противня уменьшились.

В современном русском языке наблюдается иное семантическое отношение между рассмотренными словами. Вместо старорусского разграничения по объему (от большего к меньшему): *противень* – *веко* – *сковорода* – сложилось противопоставление по объему и форме: *противень* ‘большая четырехугольная емкость’ – *сковорода* ‘небольшая круглая емкость’. *Веко* утратило значение ‘металлическая посуда для приготовления горячей пищи’ и выпало из этого ряда.

Каравайник ‘круглая сковорода для выпечки каравая’ – редкое в старорусской письменности слово. Отмечается с 1676 г. (ср.: с 1689 г. [СлРЯ ХІ–ХVІІ вв.-7, с. 334]), например: «Веко пирожное, *коровайникъ*» (Белозер. у., 1676 г.) [Д. патр. Никона, с. 388]; «Въ винной полате... 2 горшечка да 5 покрывшекъ медныхъ да 3 *каравайника*» (Москва, 1689 г., оп. им. Голицыных) [Д. Шакл.-IV, с. 115]. *Каравайник* – посуда узкого назначения, такого рода утварь встречается только и описях имущества богатых людей. Позднее слово *каравайник* отмечается на севере и востоке России, а также в Твери [СРНГ-13, с. 66].

Решетки (во мн. ч.) – ‘кухонная утварь из решеток для горячего приготовления рыбы’, это специфическое севернорусское слово. К первым его фиксациям следует отнести запись в парижском словаре московитов 1586 г., написанном на основе двинского говора, см.: «Une grille Rosoqua, то есть рес'отка» [Сл. 1586 г., с. 164]. Здесь слово находится в группе кухонной посуды между лексемами *скаварада* и *упаловник*. По мнению издателя Б. А. Ларина, *решетка* выделяется тематически из этой группы, поскольку обозначает ‘часть изгороди, ворот и т. п.’. Однако Б. А. Ларин не прав: французское *gril* до сих пор имеет среди прочих значение ‘решетка для жаренья, жаровня’, ср.: *grille* ‘поджаренный’, ‘решетка в топке’ [Французско-русский словарь. Сост. К. А. Геншина. – М., 1957. – С. 402]. Упоминается *решетка* в «Домострое», что лишний раз свидетельствует о создании этого памятника на севернорусской территории, см.: «Таганы и *решотки* и чюмичи и

корцы все было чисто» (н. XVII в.) [Дом. К., с. 47]. См. еще примеры: «*Решетки железные на чемъ рыбу пекутъ*» (Кириллов, 1601 г., кн. переп. К.-Бел. м.) [ГПБ. Ф. 351. Д. 71/1310. Л. 373]; «*Две решетки, на чемъ рыбу жарять*» (Кириллов, 1676 г., росп. им. Никона) [Д. патр. Никона, с. 389]. О функционировании слова *решетки* в указанном значении в более позднее время нам не известно.

В быту знати употреблялась иноземная кухонная посуда, с которой связаны редкие экзотические слова. К таким относится *роскеп* 'металлическая посуда типа глубокой сковородки для жарения рыбы', ср. нем. *rosten* 'жарить, поджаривать', *Kiepe* 'короб, корзина' [Немецко-русский словарь / под ред. Л. А. Лепинга и Н. П. Страховой. – М., 1964. – С. 693, 489]. Пока известно два примера употребления слова *роскеп*: «Сковаль изъ своего железа три *роскепа* въ чемъ рыбу жарять» (В. Новгород, 1651 г.) [Кн. расх. митр. Ник., с. 49]; «Въ поварне жъ... 14 *роскеповъ*, что рыбу жарять» (Москва, 1676 г., оп. аптек, двора) [ДТП-I, с. 211]. Позднее в говорах *роскеп* не обнаружено.

Конобъ 'металлический котел для нагревания пищи и воды, а также для хранения и переноски' употребляется в текстах с XI в. [Срезн.-I, с. 1269], И. И. Срезневский обратил внимание на связь с латинским *сапава* 'корчма, шинок' [Там же]. В древнерусский период слово активно употреблялось в церковно-религиозных текстах, отсюда попало в первые лексиконы, см.: «*Конобъ* – водонос» (XIII в.) [Новг. сл., с. 121] «*Конобъ* водонос» (др. сп.: *коновъ*); «*Конобъ* водоносъ или котель» (к. XIV в.) [Речь жид., с. 404, 414]; «*Конобъ* – котел» [Зиз. л. 77]; «*Конобъ*: медяный горнецъ, котель» [Бер. 54, с. 253]; См. другие примеры: «И прихожаше отрокъ иереевъ дондеж сварятся мяса и мясная оудица трезубна в руку его и влагая ю в *конобъ* меденый» [Хр. 1512 г., с. 102]; «а Манасию татарова в *конобъ* всадили, самово изжарить хотели... А в котле томъ узнал Авраамова бога» (к. XVII в., кн. Толкований) [Ж. пр. Авв., с. 156]. Из последнего примера явствует, что *конобъ* было синонимично слову *котель*.

Коновъ 'сосуд, подобный конобу', по мнению М. Фасмера, восходит к средне-верхненемецкому *Kanne* 'кувшин, сосуд' [Фасмер-II, с. 311]. *Конов* мог быть металлическим или глиняным сосудом. Слово употребляется не только в богословских текстах, но и в деловой письменности, хотя чрезвычайно редко, см.: «Повеле црь принести *конов* и воляти вон масло и подгнетити зе-

ло и вложить вон мчнка Георгии» (XVI в.) [Пам. отр. лит.-II, с. 106]; «2 *конови* цыновыхъ яндовочка медяная» (1612 г.) [АИ-П, с. 406]. *Конобъ* и *коновъ* можно отнести к фактам общерусского значения. *Коновъ* наблюдается и в старобелорусском языке.

Уменьшительная форма *коновка* отмечена один раз в грамоте, написанной русским из Львова: «До вечера ждалъ турковъ, которые в тайник по воду выходят ежедней; и как вышло их человек с шестьдесят с ведры, с *коновки* и с иными водяными сосудами» (1684 г.) [ДАИ-XI, с. 11].

Сохранились рассмотренные слова в говорах: *конобъ*, ‘кринка, кувшин, умывальник’ – тамбовское; *конобъ* ‘жбан, деревянная кружка’ – западное [Даль-П, с. 151]; *коновъ*, *коновка* ‘сосуд типа кружки’ – в псковских, новгородских, тверских, владимирских, калужских, воронежских и курских говорах, известно на Дону и Урале [СРНГ-14, с. 261]. Эти данные подтверждают реальность предметов, называемых анализируемыми словами в старорусский период, и свидетельствуют о переходе части лексем из общерусского фонда архаично-книжной лексики в диалектизм.

Особую группу наименований кухонной утвари составляют названия черпаков.

Поварница ‘металлический или деревянный уполовник, разливательная ложка’ образовано от *поварный* употребляется с 1576 г., в исторических словарях представлена первая цитата от 1632 г. [СрРЯ XI–XVII вв.-15, с. 140]. Отмечается в деловой письменности Севера: Псков, Вологда, Подвинье, В. Устюг, Тихвин, Онега, Чердынь, Енисейск, Иркутск, Якутск. См. иллюстрации: «Купил 50 ковшей без дву, да 50 *поварниц* без одное» (Волог. у., 1576 г., кн. расх. С.-Прил. м.) [ВХК XV в., с. 297]; «Григорей выкрал три братыни красные подержанные да *поварница* поваренная долгостебелая» (Устюг, 1632 г.) [АХУ-III, с. 116–117]; «2 *поварницы* железны ветхи чем сокъ черпають» (Чердынь, 1646 г., Собр. Гамеля, № 59 доп. сст. 7) [КДРС]; «Купил в поварню ественную *поварницу* железную; Купил *поварницъ* деревянных десяток» (Волог. у., 1665 г., кн. пр.-расх. С.-Прил. м.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 59. Л. 89 об., 90 об.]. Ср.: «*поварница* – чюмичъ» (1757 г.) [Сл. В. Устюга, с. 4]. *Поварница* зафиксировано в вологодских говорах [Даль-III, с. 141].

Со второй половины XVII в. на той же территории появляется слово *поваренка* (с 1664 г.), зафиксированное цитатой от 1689 г. [СлРЯ XI–XVII вв.-15, с. 139]. Это был вариант с умень-

шительным значением, вскоре лексикализовавшийся и постепенно вытеснивший *поварницу*, см. примеры: «Купил три *поваренки* в обиход» (Вологда, 1664 г., кн. пр.-расх. арх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 39. Л. 3]; «*Поваренка* железная, дано алтын 2 д.» (В. Устюг, 1688 г.) [АХУ-П, с. 1237]; «*Поваренокъ* деревяныхъ куплено на В де» (Кириллов, 1683 г., кн. пр.-расх. в с. Антушево) [ГАВО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 570. Л. 3]. Позднее слово *поваренка* употребляется без территориальных ограничений [Даль-III, с. 141].

Отметим также лексему *поварня* 'разливная ложка, поварешка', характерную для северо-западной Руси [СлРЯ XI–XVII вв.-15, с. 140].

Не сразу появился общерусский эквивалент к рассмотренным словам. С 1073 г. в письменности отмечается *упольник* 'уполовник, ковш на длинной рукоятке' [Срезн.-III, с. 1242], не сохранившееся в старорусский период. Его продолжает редкое в XVI–XVII вв. *уполоник*, *уполуник*, *аполоник* (с 1406 г.) характерное для южнорусских и смоленских источников, см. например: «Ли *оуполоником* черияя премерити море» (1406 г.) [Палей толк., с. 41]; «десят *уполуников* железных» (Курск, 1624 г.) [Южн. там., с. 130]; «Да куплено сковорода, два *уполоника*, рогачь» (Рязань, 1687 г.) [Кн. пр.-расх. Бог. м., с. 235]. Смоленское *аполоник*, возникшее под влиянием белорусского языка, выявила Е. Н. Борисова. С конца XVI в. письменность отражает форму с корневым наращением -ов-: *уполовник* (ср *уполовить* 'разделить пополам, отбавить, взять половину' [Даль-IV, с. 503]. Первой фиксацией этого слова можно считать запись в словаре московитов 1586 г., составленном французом в Николо-Корельском монастыре: «*Упаломник*» [Сл. 1586 г., с. 154]. Заметим, что по фотографии с текста, приведенной в публикации словаря 1586 г., слово, прочитанное Б. А. Лариным как *Oupallomenicg*, можно читать и как *Oupallowenicg* [Сл. 1586 г., табл. 3], что ближе к русскому оригиналу. Первые употребления слова связаны с севернорусской территорией: Кириллов, Тотьма, Вологда. Во второй половине XVII в. *уполовник* отмечается в Валдае, Москве, Хлынове, Кашире, Олексине, Рязани. См. несколько примеров: «Ковши, чем квас разливают, *уполовник*, корцы деревянные» (Кириллов, 1601 г., оп. им. К.-Бел.) [Ник.-I, с. 269]; «Купили *уполовникъ* железной» (Тотьма, 1607 г., кн. пр.-расх. сол. пр.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 6. Л. 46 об.]; «Купил *уполовникъ* деревянной» (Вологда, 1648 г., кн.-пр.-расх. арх.) [ВОКМ. Д. 2167. Л. 224]; «Ни моря

уполовником вылить, ни нашим иманием твоего дому истощити (др. вариант: *уполовнею, чашею*» [Моление Дан. Зат. Сл., с. 211]). В конце XVII в. *уполовник* употребляется и как термин литейщиков: «5 *уполовников* железных больших, черпают ими из плавильной печи чугуны и льют ядра» (Олексин. у., 1690 г., кн. от-казн.) [КМР-I, с. 134].

Ср. определения слова в словарях XVII–XVIII вв.: «Мисюръ – чюмиць, еже есть *уполовник*» (XVII в.) [Алф. С. 446, 141; КДРС]; «Поварская ложка – *уполовник*» [Вейсман, с. 339].

Вариант женского рода *уполовня* обнаружен в письменности Тихвина (всего 4 примера), см.: «Яв/ил/ устюженец Павел Яковлев снъ 4 *уполовни*» (Тихвин, 1626 г., кн. там Тихв. м. Д. 3. Л. 149 об.) [КДРС]; «Явиль устюженец Иван Моисеевъ Р *уполовен* и корцовъ» (Тихвин, 1668 г., кн. там Тихв. м. Д. 317. Л. 19) [КДРС].

Обнаружен в письменных источниках деминутив *уполовничекъ*, см.: «Цедилочька с воронкою да *уполовничок* внутри вызолочены» (1677 г.) [Он. им. Матв., с. 10].

Отражает письменность и редкий вариант *половник*, связанный с живой речью москвичей и смолян, см., например: «Сковорода да *половникъ* железные» (Москва, 1686 г., роспись) [ДАИ-XII, с. 214].

В XIX в. *уполовник* и *уполовня* ‘поваренка, чумичка, ковш на долгой рукоятке, черпачок устряпух’ употребляются без территориальных ограничений [Даль-IV, с. 503].

Широко употребляются в старорусский период слова с корнем *чум-*: *чум*, *чюмокъ* (с 1328 г.), *чюмиць* (с 1563 г.), *чюмикъ* (с 1657 г.).

Чумъ, чюмокъ ‘ковш с ручкой, для питья’ – архаичное слово, в XVI–XVII вв. употребляется редко. См., например: (1250 г.): «Присла вина *чюмъ* и рече: не обыкши пити молока или вино» (XV в.) [Ипат. лет., с. 807]; «Явиль устюженец Мартинъ Июдинъ бадю меду нятдесят сковородок семдесят *чюмов* и корцовъ» (Тихвин, 1664 г., кн. там Тихвин. м. Д. 273. Л. 17 об.) [КДРС].

Чюмиць ‘металлическая, реже деревянная поварская ложка с длинной ручкой’ – самое употребительное слово среди одно-коренных. Приведем несколько примеров, выявляющих его семантику: «Починивал мастер пят котлов да *чюмиц* железной» (Двин. у., 1563 г., кн. расх. Корел. м. Д. 937. Л. 46 об.) [КДРС];

«Роспись царским кушаньям... 2 *чюмича* кислицы крошеные» (Москва, 1613 г.) [АИ-П, с. 428]; «Купил повар Саврас на пу-стош Мохнино *чюмич* деревянной» (Вологда, 1640 г., кн. пр.-расх. арх.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 19. Л. 317]; «Четыре *чюмича*, чем-щи и молоко черпають» (Онега, 1688 г., кн. пр.-расх. Он. Крест, м.) [КДРС]. Территория его употребления по письменным фиксациям: Подвинье, Кириллов, Вологда, Тихвин, Волоколамск, Москва, Дорогобуж, Псков, то есть севернорусская территория, западная часть среднерусской и крайний запад южнорусской.

Выявленные факты не дают четкого представления об отличии *чюмича* от *уполовника*, можно думать, что *чюмич* чаще выступал как ковш для черпания жидкой пищи. Ср.: «*Чумичь* – уполовни-ковъ сынъ» (1741 г., Посл. Богданова, 120 об.) [КДРС].

В тихвинских таможенных книгах зарегистрировано 4 приме-ра со словом *чюмик*, например: «Явил... Н *чюмиковъ*» (Тихвин, 1657 г., кн. там. Тихв. м. Д. 217. Л. 14 об.) [КДРС]. Все при-меры однообразны по содержанию.

В старорусский период еще не получило распространения слово *чюмичка*, см. единственный пример в «Домострое»: «Решетки и *чю-мички* и карци и все бы было чисто» (XVI в.) [Дом., с. 51, др. ва-риант: *чюмичи*). Впоследствии *чюмичка* 'большая разливательная ложка, поварешка' употребляется очень широко [Даль-IV, с. 614].

Наблюдается в письменности деминутив *чюмичокъ*: «Дано мед-ному мастеру Мокею Вологжанину... два *чумичка* лудиль» (В. Новгород, 1651 г.) [Кн. расх. митр. Ник., с. 47].

Большое корневое гнездо составляют слова с корнем *черп-*, отраженные в письменности XVI–XVII вв., но не зарегистриро-ванные историческими словарями.

Черпало (1515 г.) в соответствии с семантикой словообразо-вательной модели (ср.: носило, опоясало, солило и т. п.) было родовым названием черпаков, но употреблялось редко, см.: «Князь великий Василей Иванович всеа Руси послал к тебе... ковш серебрян да *черпало* серебряно» (Москва, 1515 г.) [Крым. д.-II, с. 193]. В лексиконах XVII–XVIII вв. находим: «*Чръпало*: почръпало, ведро» [Бер., с. 156]; «Почерпало... *черпало*» [Поли-карп., с. 506, 712].

Деминутив *черпальце* обнаруживаем в деловых документах начала XVI в.: «Ты бы ныне ко мне серебряну чару прислал, в которую бы два ведра вмещались, да и с *черпалцом* серебря-ным» (Москва, 1509 г., ст. список) [Крым. д.-II, с. 25].

В языке XIX в. *черпало*, *черпальце* употребляются без ограничения [Даль-IV, с. 596].

Черня 'металлический столовый сосуд для черпанья' зарегистрировано одним примером: «Да въ трапезе... 10 братин медяных же да *черня* медяная ж» (Весьегонск, 1575 г.) [Оп. Краснохолм. м., с. 52]. Ср.: «*Черня*, вят. Колодезная бадья» [Даль-IV, с. 596].

Во второй половине XVII в. в московских актах фиксируются слова *черпашка* и *черпалка*: «Винокурня... 2 кадки сосновых, 7 *черпашек*, 6 ковшей» (Моск. у., 1676 г.) [ДТП-I, с. 239]; «У всякаго источника сделаны *черпалки* медныя на железныхъ чепяхъ» (1698 г.) [Дн. Толстого-2, с. 255].

В словарях XVII в. упоминаются *вареха* и *мисюрь* [СлРЯ XI–XVII вв.-2, с. 20; 9, с. 179], зафиксированные единичными примерами.

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы:

1. Наибольшей активностью в языке XVI–XVII вв. отличаются слова древнего происхождения, уходящие корнями в праславянскую эпоху и имеющие соответствия в других славянских языках. Прежде всего из числа этих слов складываются общерусские наименования. Образование рассмотренных лексем происходило на основе следующих принципов номинации: по материалу или способу изготовления, по содержанию. Названия иноязычного происхождения в целом встречаются реже, чем русские или славянские.

2. В составе предметно-бытовой лексики XVI–XVII вв. можно выделить четыре группы слов: лексемы активного употребления общерусского распространения, книжно-архаичные слова, диалектизмы, экзотические иноязычные заимствования. Наблюдается контекстуальная закреплённость книжно-архаичных слов, их употребление в словесных рядах строго определенной жанрово-стилистической структуры, представленной преимущественно в сфере церковно-религиозной литературы. Лучше отражают анализируемую лексику деловые тексты. Непосредственная связь деловой речи с практикой «повседневного глаголанья» способствовала проникновению в деловые тексты большого числа уменьшительных образований.

3. Динамические процессы в анализируемой лексике в значительной степени зависели от экстралингвистических причин и прежде всего от появления новых типов посуды, но конкретное про-

течение этих процессов определялось составом лексико-семантических групп, сферой распространения слов и т. п., например, *латка*, *плошка* и др. В других случаях влияние экстралингвистического фактора не столь очевидно, но заметнее давление лексической системы, это проявилось, например, в изменении семантических отношений между словами *сковорода* – *противень* после выпадения из общерусского литературного употребления слова *веко* ‘разновидность кухонной посуды’, см. также борьбу вариантов *поварница* и *поваренка* и т. д.

4. В формировании фонда лексем общерусского характера имело место преодоление некоторых фонетико-словообразовательных ограничений и конкуренции со стороны лексем регионального характера, показательной в этом отношении является судьба слова *уполовник*.

5. Наблюдается естественный для предметно-бытовой лексики процесс территориального распределения лексем или лексико-семантических вариантов, позволяющий вычленировать лексемы узко-регионального распространения, изоглоссы, известные целому ряду говоров, а также отдельные диалектные зоны. Так, противопоставление зоны севернорусских говоров зоне южнорусского наречия основано на следующих диалектных словах: север: *плошка* ‘посуда для жарения’, *решетки* ‘приспособление для жарения и печения’, *поварница* и *поваренка*; юг: *казан* ‘котел для винокурения’, *плошка* ‘питейный сосуд’, *уполоник* ‘разливательная ложка’. Наблюдается противопоставление лексем и на близко соседствующих территориях, так, на востоке севернорусской территории котел для винокурения носит название *седун*, а на востоке южнорусской территории и в Поволжье – *казан*. Первенствующая роль в формировании общерусской лексической нормы принадлежала говорам средней России, особенно московскому. Некоторые слова первоначально бытовали на севернорусской территории, а уже затем приобрели общерусский характер.

6. Широкое привлечение материалов, связанных с разными территориями России, позволило выявить несколько слов, ранее не изученных исследователями, а также уточнить время первой фиксации ряда слов, а иногда и их семантику.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ванюшин Н. М. Лексико-семантическая группа наименований судов для черпания и питья жидкостей. (По памятникам письменности

VI–XVII вв.) // УЗ МГПИ. – М., 1971. – Т. 451. – Ч. II. – С. 310–345.

² Упоминания об употреблении отдельных слов находим, например, в работах: Борисова Е. Н. Лексика различной домашней утвари в рязанских памятниках XVI–XVII вв. // УЗ Балашовского ПИ. – Балашов, 1957. – С. 2; Она же. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. – Смоленск, 1974; Козырев И. С. Очерки по сравнительно-исторической лексикологии русского и белорусского языков. – Орел, 1970 и др.

3. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СОСТАВЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Предметно-бытовым словам, как и другим лексическим единицам старорусского языка, было присуще такое функциональное качество, как закреплённость слова за определённым типом контекста или преимущественное употребление в тексте с определённым, хотя и не обязательно стилистически однообразным лексическим и морфолого-синтаксическим наполнением. Жанрово-стилевое расщепление старорусской лексики, обусловленное соответствующими свойствами письменных источников и сферами употребления языка, уже осознавалось образованными людьми той поры. В начале XVII в. архиепископ Макарий выделяет в своей «Риторике» три рода «речений», а Лудольф отмечает в «Русской грамматике», относящейся к концу того же столетия, следующие правила словоупотребления: «Названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку»¹. Современные исследователи делят русскую лексику XVI – начала XVIII вв. в зависимости от ее стилистических качеств на четыре группы: нейтральная, деловая, церковно-книжная, разговорная, а в составе последней выделяют общерусскую просторечную и диалектную².

Изучение жанрово-стилевых качеств и особенностей функционирования лексики в языке преднационального периода, достаточно обеспеченного письменными источниками, целесообразно вести с помощью сравнительно-сопоставительной методики, учитывая весь состав той или иной лексико-семантической группы и все возможные сферы употребления слова. Это особенно важно при обращении к лексике предметно-бытового характера, поскольку здесь пока нет сведений о функционировании отдельных лек-

сических групп в жанрово-стилевом аспекте. В этом отношении лучше изучена лексика книжной письменности, усиливается внимание и к специфике словаря деловых текстов. При несомненной значимости уже проведенной в этой области работы недостает образцов сравнительно-сопоставительного анализа функционирования одного и того же слова, одной и той же лексической группы в разных типах текстов, что позволило бы выявить весь семантико-стилистический спектр слова.

С учетом вышеизложенного рассмотрим названия гигиенической посуды в старорусском языке, которые не получили достаточного освещения в лингвистической литературе.

Комплекс утвари для умывания состоял тогда из двух предметов: сосуда для чистой воды и сосуда, над которым умывались.

Сосуды для воды в древнерусский период имели два основных наименования: *умывальница* (1057 г.) и *рукомыя* (XI в.).

Умывальница образовано от глагола *умывати* по модели на-*ниц(а)* с учетом номинативного признака 'предмет, с помощью которого совершается определенное действие'. Слово сохраняет свое значение в языке XVI–XVII вв., но употребляется только в художественных и повествовательных текстах церковно-книжного характера: «вълиавъ водоу въ *умывальницу* и оумы нозе старцу» (XVI в.) [ВМЧ, с. 2512]. Принадлежность слова *умывальница* библейской литературе особенно ярко подчеркивается такими примерами, в которых имеется еще и семантически соотносительное слово, характерное для другой речевой сферы, ср.: «Как почели чести во евангелии и влиа воду во *умывальницу* патриарх же принял *рукомойник* серебряной» (1674 г.) [ДАИ-5, с. 129]; «Чтец глаголетъ: “Потом же воляа воду во *умывальницу*”, и принесут воду теплу к святителю и *рукомой* в лохани, и взем святитель воду, и льет в *рукомой*» (В. Новгород, 1689 г.)³. Приведенные примеры замечательны еще и демонстрацией синонимии слов *умывальница* – *рукомойник* – *рукомой*. Обобщенность значения 'гигиенический сосуд вообще' слово сохраняет и в более позднее время: «*Умывальница* – лохань с кувшином или один таз, чаша, лохань, или один *рукомойник*» [Даль].

С 1499 г. в письменности наблюдается соответствие мужского рода – *умывальник*: «*Умывальникъ* златых Л *умывальникъ* серебряных А» (Библ. Генн., 1499 г.) [КДРС]. Судя по разговорнику Т. Фенне, составленному в 1607 г. в Пскове, слово это было извест-

но разговорной речи: «рукамыник умевалник утералник; лей вода в *умывальник*» [Фенне, с. 99, 192]. В донациональный период слово *умывальник* употреблялось нечасто, но тем не менее оно проявляло тенденцию к закреплению, входило в продуктивную модель имен на *-ник* с орудийным значением. С начала XVIII в. оно включается в словари, начиная с «Лексикона трезязычного» Ф. Поликарпова, и усваивается национальным литературным языком.

Слова *умывальник*, *умывальница*, указывая на предназначенность предмета для определенного гигиенического процесса, в то же время не конкретизировали направленность этого процесса на определенную часть человеческого тела. Потребность же в таком конкретном названии ощущалась, о чем свидетельствует окказиональное *рукоумывальник*: «Пре́ди ходить подиякъ с *рукоумывальником*» (В. Новгород, 1689 г.)⁴. Той же цели служили древнерусские лексемы *рукомыя* – *рукомоя*, известные по конфессиональным текстам. В старорусский период *рукомыя* и производное от него *рукомыец* замечены лишь в церковно-религиозной литературе и повествовательных светских текстах, отличающихся высоким слогом и обилием архаичных элементов, см. пример из «Смерти Авраама» (XVI в.): «Въставъ же налей *рукомыю* воды... последнее ми ее налиати *рукомыйць*... принесе *рукомыюц*» [Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской лит-ры. – СПб., 1863. – Т. 1. – С. 80]. С 1525 г. употребляется в письменности слово *рукомойник*, с 1619 г. фиксируется *рукомои* (ср.: деминутив *рукомойце* известен с 1614 г.), с 1651 г. – *рукомойка*. В некоторых текстах, проникнутых тенденциями архаизации словесной формы, изредка употреблялось слово *рукомойница*, созданное по модели на *-ниц(а)* под влиянием ранее существовавшего *умывальница*: «Хотя же бес пострашити святого вниде во *умывальницу* и нача трепетати в *рукомойнице*» (кон. XVII в., Мазур. лет.) [ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 64]. Остановимся более подробно на рассмотрении слова *рукомойник*, наиболее употребительного в то время среди однокоренных: «Наговаривала мне Стефанида воду в *рукомойнике* и велела мне тою водою смачиватись... даис того *рукомойна* и смачивала то платье» (Москва, 1525 г., следств. дело) [Сб. кн. Оболенского. – СПб., 1838. – С. 12]; «Куплено в котелном ряду у торгового человека у Ивашка Данилова кумган медной диаком *рукомойник*» (Москва, 1648 г., кн. расх.) [Кн. Расх. Помест. пр.-I, с. 138]; «Князю и посланному поднесли блюдо и *рукомойник* с водою руки умыть» (Москва, 1675 г., стат. сп.) [Пам. ди-

пломат. сношений с Римскою имп. – СПб., 1856. – IV. – С. 972]; «*Рукомойник* медной лохань под *рукомойником* медная же» (Вологодский у., 1684 г., опись Сп.-Прилуцкого м.) [ВОКМ. Д. 2163. Л. 260]. В описи подарков, которые московский царь получил от немецких послов, значатся «лохань с рукомойником», а вот другое описание тех же самых предметов: «серебряный умывальный капелированный таз, серебряный капелированный кувшин» [Посольство Кунрада фон Кленке к царям Алексею Мих. и Федору Ал. – СПб., 1900. – С. 395]. Сохранившийся рукомойник царицы Натальи Кирилловны представляет собою кувшин с изогнутым длинным носиком, фигурной ручкой, высоким горлом и крышкой⁵, царский рукомой 1676 г. из музеев Кремля – это также серебряный кувшин⁶). Рукомойники – серебряные кувшины, известные в быту московской знати, иногда именовались *серебряниками*: «мои суды серебряные: сковородка серебряна свенцом да *серебряник*, да суды каменные» (1504 г., духовная И. В. Волоцкого) [вивл.-II, с. 297]; «Королевна из-за стола встала и почала умывать руки и, умыв руки, велела *серебряник* с водою поднести Григорью» (1601 г., стат. сп. Т. Микулина) [Ст. сп., с. 177]; «*Серебряник* а по осмотру рукомойник золочен лев» (Москва, 1654 г., опись подарков) [Кологривов С. Н. Материалы для истории сношений России с иностр. державами в XVII в. – СПб., 1911. – С. 139]. После XVII в. слово *серебряник* в указанном значении не отмечено.

Рукомойник с крышкой и ручкой иногда называли *наливок* (от *наливать*), все примеры употребления этого названия извлечены из описей имущества московской знати: «*наливок* золотой, белый, осмигранный с лоханью» (Москва, 1689 г., оп. имущ.) [Д. Шакл.-IV, с. 298]. *Наливок* во всех известных нам примерах упоминается обычно рядом со словом *лохань*, то есть в перечне предметов гигиенического назначения. Примеров же, позволяющих выделить также значение 'род чайника или кувшина с крышкой и носиком' [СлРЯ XI–XVII вв.] наряду со значением 'род рукомойника', не обнаружено, поскольку *наливок* в функции рукомойника и *наливок* как сосуд для жидкостей не имели каких-либо специальных отличительных признаков, внешне же *наливок* также напоминал кувшин. Сравнивать его с чайником применительно к XVII в. будет неправильно, поскольку чай на Руси стал известен лишь во второй половине XVII в. и был знаком лишь в быту царского двора.

В крестьянском и монашеском быту в старорусский период появляется специфический сосуд с ушами или дужкой для подвешивания на стене или на гвозде, с рыльцем для слива воды, он тоже называется *рукомойником*, именно за этой реалией и закрепляется данное наименование: «Собе оставил в келье... чарку путную медяну да *рукомойник* оловяной стеной да лоханю медяну» (1575 г., кн. пр.-расх. Иосиф-Волоколамского м.) [ВХК, с. 95]; «Над лоханю *рукомойникъ* с покрышкой медной на железной чепочке» (Вологод. у., 1684 г., оп. Спасо-Прилуцк. м.) [ВОКМ. Д. 2163. Л. 181].

Слово *рукомойник* широко употреблялось во всех видах письменности и на всей русской территории, с XVII в. оно включается в словари. С начала XVII в. по письменным источникам известен и деминутив *рукомойничек*, см. первое упоминание в расходной книге царского двора 1616 г.: «рукомойничек жолт да 4 росолника белы» [ЧОИДР. 1882. Кн. 1. С. 74].

Слово *рукомой* (*рукомойно*, *рукомойце*) употреблялось на севернорусской и среднерусской территории, причем в деловых, повестовательных и юридических текстах: «Лохань с *рукомойцом*, серебрена» (Москва, 1614 г., кн. расх.) [Там же. С. 29]; «четверы колеса, 60 *рукомоек* глиняных, чесноку» (В. Устюг, 1651 г., кн. тамож.) [ТК-1, с. 41]; «*Рукомойно* медной весом 7 гривенок» (В. Новгород, 1659 г., росп. вещей) [Там же. – 1887. – Кн. 3. – С. 50]. Несмотря на значительную территориальную распространенность и широкий охват жанров письменности, *рукомой* уступил слову *рукомойник*, последнее благодаря суффиксу *-ник* удачно вписалось в группу предметных существительных с орудийным значением. *Рукомойка* (см. выше в примере из таможенной книги Великого Устюга) – исключительно севернорусское слово, характерное для крайнего северо-востока (Холмогоры, В. Устюг), в национальный период отмечается в олонецких, архангельских, вятских, челябинских и сибирских говорах [Даль; Куликовский]. В двинских актах обнаружено также слово *рукомытник*: «купил два *рукомытника* глиняных» (1640 г., кн. пр.-расх. Ант.-Сийского м.) [РГАДА. Ф. 1196. Оп. 7. Д. 16. Л. 23]. Это окказионализм, созданный по той же модели, что и книжное *рукоумывальник*.

Глиняный *рукомойник* с двумя рыльцами, напоминающий баранью голову с рожками, получил название *барашек*, *баранец*: «Куплена горшков да 2 *боранца* 10 алтын» (1581 г., кн. пр.-расх.

Иосиф-Волоколамского м.) [ВХК, 221]; «Куплено три кувшинца мурамленных, дано два алтына 2 де, *борашекъ* мурамленной, дано три алтына две денги» (Валдай, 1664 г., кн. расх. Ивер, м. Д. 24. Л. 23 об.) [КДРС]. Историческими словарями эти лексемы пока не зафиксированы, вероятно, они имели локальный характер. Современное *баран* в значении 'глиняный рукомойник с двумя рыльцами наподобие бараньих головок и двумя ушками, за которые его подвешивают' употребляется в тверских, ярославских, владимирских, тульских, калужских и костромских говорах [СРНГ].

Период употребления в качестве сосудов для умывания различных кувшинов и горшков отразился и в семантике других названий сосудов. Так, в семантике архаичного *глек* в повествовательных текстах XVI в. обнаруживается значение 'сосуд для умывания': «*Гльком* и сткляницами и блюдом и инем сосудом крысеныя пястью руце умывають» (XVI в., Кормчая Балашева, л. 495) [КДРС]. *Глек* 'глиняный рукомойник' отмечается в современных смоленских говорах [Сл. смолен. говоров. – Смоленск, 1982, – Вып. 3. – С. 28].

Таким образом, названия сосудов для чистой воды при умывании составляли лексико-семантическую группу, характеризующуюся открытостью своих границ. Объединяющим семантическим компонентом для членов этой группы был признак 'функциональное назначение предмета', специально подчеркнутый внутренней формой слова – указание на процесс умывания (мытья): *умывальник*, *рукомойник*. В целях конкретизации допускалась номинация по материалу (*серебряник*), по форме (*барашек*), но эти мотивирующие признаки имели второстепенный характер. Все лексемы этой группы имели исконное происхождение и специфические словообразовательные черты: а) здесь активно употреблялась модель с суффиксом *-ник/-ница-*; б) имелись соответствия мужского и женского рода *умывальник* – *умывальница*, *рукомойник* – *рукомойница*, конфликт между которыми разрешался путем жанрово-стилевой дифференциации слов: *умывальница*, *рукомойница*, *рукомоя* – церковно-книжные средства, вышедшие из употребления в начальный период формирования национального языка; *умывальник*, *рукомойник* – общеупотребительные средства, включенные в литературный язык. Соперничество между двумя основными названиями: *умывальник* и *рукомойник* – проходило с преимуществом слова *рукомойник*. Все последующие модификации реалии неизменно получали это название, а в диалектах бы-

ли активны его однокоренные образования. Некоторые названия умывальных сосудов имели отчетливо выраженный церковно-книжный характер, что было связано с христианским культовым обычаем омовения рук, постоянно упоминаемым в библейской и богословской литературе.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лудольф Г. В. Русская грамматика. Оксфорд. 1696. – Л., 1937. – С. 114.

² Полякова Е. Н. Лексика пермских памятников XVII – начала XVIII века. – Л., 1974. – С. 10.

³ Голубцов А. Чиновник Новгородского Софийского собора // ЧОИДР. – 1899. – Кн. 2. – С. 258.

⁴ Там же. – С. 196.

⁵ Солнцев Ф. Древности Российского государства. Отд. 1–6. – М., 1849–1853. – № 4.

⁶ Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное искусство, его центры и мастера XVI–XIX вв. – М., 1974. – С. 133.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ГРУПП И КРИТЕРИИ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Принятое в отечественной лексикологии деление слов на тематические группы по признаку соотнесенности лексического членения с естественным распределением предметов и явлений по сферам человеческой деятельности или окружающей природы вполне правомерно и имеет лингвистические основания, так как взаимосвязанность предметов и явлений в свою очередь определяет различные связи соответствующих слов¹. Большая тематическая группа делится на несколько мелких по принципу родо-видовой иерархии. При наличии общих языковых признаков слова такой микрогруппы составляют лексико-семантическую группу.

Истоки учения о лексико-семантической группе обнаруживаются в трудах М. М. Покровского² и Н. В. Крушевского³. В советской лингвистике учение о лексико-семантических группах разработано Ф. П. Филиным. Приведем одно из его определений:

«Совокупности слов, имеющие близкие (в т. ч. противопоставленные – антонимы) и идентичные значения с разными оттенками, дифференциальными признаками (синонимами), составляют лексико-семантические группы или единства»⁴.

В лексико-семантическую группу включаются слова одной части речи в одном или нескольких значениях, имеющие общие категориальные, валентные, а иногда и деривационные признаки, находящиеся в определенных логико-семантических и семантических отношениях: родо-видовых, синонимических, антонимических и т. п. Наиболее показательным признаком лексико-семантической группы является синонимическая связь. Антонимия, например, привлекается изредка как вспомогательное и второстепенное доказательство статуса лексико-семантической группы. Синонимический ряд – это идеальная лексико-семантическая группа или, по крайней мере, ее минимально необходимое ядро; в ней отмечается близость семантики, общая сочетаемость, одинаковые грамматические признаки слов и т. п. Но и при таком ограничении группы следует признать очевидный факт, что распределение слов по лексико-семантическим группам, как и всякая другая классификация, страдает схематизмом, поскольку оставляет без внимания диффузные, переходные элементы и слабо учитывает постоянно открытый характер лексических групп. При работе с историческим материалом особенно ощутимы трудности, обусловленные самим объектом исследования: «словарный состав языка не только находится в непрерывном движении, но по существу и не очерчен в каждый момент существования языка с достаточной определенностью... границы остаются зыбкими и открытыми с разных сторон»⁵.

В зарубежной лингвистике употребляется близкое по смыслу к нашему термину «тематическая группа» понятие **фрейм**, то есть «набор слов, каждое из которых обозначает определенную часть или аспект некоторого концептуального или акционального целого»⁶. Внутри фрейма выделяются семантические микроструктуры, объединенные по принципам таксономии (то же, что родо-видовая связь), парадигмы, контрастивного множества (то же, что антонимы) и т. д. Учитываются особенности семантической организации таких типов структур, как цикл (утро – день – вечер – ночь), цепочка (воинские звания в иерархическом порядке), сеть (термины родства) и др.⁷ Изучение и описание структур в этом направлении может способствовать выявлению конечного списка

их типов и развитию типологических исследований в лексикологии.

Исследование истории лексики в тематическом плане ввиду неизученности судьбы целого ряда основных групп остается актуальным и имеет целый ряд очевидных достоинств: «оно позволяет полно и всесторонне установить связь между словами и обозначаемыми ими явлениями, выяснить объем значений слов, их употребления..., определить удельный вес этих групп в словарном запасе языка, их рост или сокращение в зависимости от внешних, исторических обстоятельств, процессы терминологизации слов с общими значениями, изменяющееся соотношение исконных и заимствованных слов, расширение и сужение значений слов (также в зависимости от изменений «материи» и функций обозначаемых предметов и явлений), установить в некоторой степени стилистическую дифференциацию слов в пределах тематической группы»⁸. Тем не менее возникает вопрос: имеет ли смысл последовательное монографическое описание всего состава тематической группы на разных этапах истории языка? На этот счет имеется совершенно определенное мнение ряда авторитетных ученых: «В словарном составе любого языка насчитываются многие тысячи слов и устойчивых словосочетаний, каждое из которых представляет собой смысловую единицу – в той или иной степени индивидуальную и неповторимую и потому заслуживающую отдельного рассмотрения... в исторической лексикологии словарный состав языка должен подвергаться всестороннему внутреннему анализу на каждом историческом этапе его развития»⁹; «одной из актуальных задач исторической лексикологии наряду с описанием истории слов является сейчас уже воссоздание истории эволюции целостных микросистем. Анализ таких микросистем целесообразно проводить в плане изучения их функционирования по отдельно взятым хронологическим периодам развития языка»¹⁰; «историческую лексикологию сейчас уже нельзя строить “на глазок”, опираясь лишь на “ряд” избранных, облюбованных примеров по лексике. Нужны фронтальные обследования и совершенно конкретные подсчеты составных элементов русского словарного состава в его истории»¹¹. Вместе с тем при монографическом описании необходимо отделять типовое от случайного, повторяющееся от единичного, одновременного, не имеющего последствий.

В свое время Ф. П. Филин заметил, что «в древнерусском письменном языке по известным причинам значительные (если не

основные) слои диалектной лексики не нашли полного отражения»¹². Но в письменности не нашло отражения и большое число общерусских слов. В старорусской письменности степень отражения различных тематических групп тоже была неодинакова и определялась не только общественной значимостью соответствующих предметов материальной культуры, но и другими причинами. Так, дороговизна тканей и одежды обусловила тщательную фиксацию предметов одежды и достаточно широкое отражение в текстах названий одежды, головных уборов, рукавиц и т. п. Посуда и утварь, кроме металлических изделий, значили несколько меньше, но все же группы соответствующих названий в достаточной мере зафиксированы в письменности. Иначе обстоит дело с названиями пищи, особенно готовых блюд. Царский и патриарший стол описывался довольно полно, описаний же обеда или пира посадского человека, крестьянина в памятниках нет, поэтому восстановить в полном объеме старорусский словарь народных кушаний чрезвычайно сложно. Подобные лакуны в составе лексико-семантической группы не всегда ощутимы, но пропуск некоторых промежуточных звеньев в группе несомненно скажется при более широком толковании семантики отдельных слов: лакуны будут заполняться воображением исследователя, распределяющего выявленные им лексические единицы в потенциально возможном смысловом поле.

Оценим с учетом старорусского материала признаки предметно-бытовой лексики как особого ономаσιологического класса слов. Термин «предметно-бытовая лексика» определяет соответствующий слой словаря с двух точек зрения: по отношению к определенной сфере человеческой жизни и деятельности, а именно — к быту, и по отношению к другим группам лексики материальной культуры и быта, обозначающим не предметы, а действия, процессы, качества, состояния и т. п. Исследователи неоднократно отмечали, что в семантике предметных наименований наблюдается самая тесная связь лексического значения слов с конкретными свойствами реалии. Так, О. Н. Трубачев писал: «В такой своеобразной области, как лексика, связанная с производством, с материальной культурой, изучение реалий из факультативного становится неперменным условием, залогом правильного лингвистического анализа»¹³.

В объем лексического значения предметно-бытовых слов входят в большей или меньшей степени два показателя конкретных свойств

реалии: функция (назначение) и особенности внешнего вида. Следует различать слова, обозначающие реалии со строго фиксированной функцией, и названия предметов многофункционального назначения. Мотивирующим признаком подобных слов чаще всего является указание на предназначенность для определенного процесса (*наливок, рукомойник*), для употребления в определенных условиях (*водяницы* 'рукавицы для рыбного ловца'), указание на содержимое (*перечница, солонка*) и т. д. У названий предметов многофункционального назначения в объеме лексического значения учтены одна или несколько наиболее характерных особенностей внешнего вида реалий; это слова, как правило, с комбинаторной семантикой, по терминологии Ф. П. Сороколетова¹⁴. К ним, например, относятся названия отдельных разновидностей предметов по особенностям внешнего вида: материалу, форме, окраске и т. п. (см. разновидности ковшей: *кленовик* – по материалу, *скобкарь* – по материалу или по технологии (от *скоблить*), *конюх* – по форме и др.).

Конкретный референт и (или) его зрительный образ – основа семантики предметно-бытового слова. Особенно важно это учитывать при анализе казалось бы хорошо знакомых слов древнерусского или старорусского языка: реалья, ими обозначаемая, могла в старину иметь внешний облик, не совпадающий с современным представлением о предмете. В этом случае исследователя подстерегает опасность «осовременивания» значения слова. Так, многие предметы домашней утвари: ведра, ковши, блюда, ложки и пр. в отличие от современных, металлических и пластмассовых, были преимущественно деревянными, почти все бытовые орудия были ручными, то есть не имели привода и т. д.

Нечеткость смысловых границ предметно-бытовых слов с конкретным, видовым значением может быть обусловлена размытостью границ денотатов. Именно об этом свидетельствуют факты называния одного и того же предмета несколькими семантически близкими словами, например: «всего больше шахъ Аббасъ любил *шкатулы*, а говорил: лучше де и вина *сундуки*. У них в обычае ведетца все у них зовут *сандаками*» [Посольство Тюфякина, с. 438. 1599 г.]; «на Москве де Аббас шах тот *сундучек* со всем велел отдати послу Урусамбеку. А Урусамбеку де тот *ковчежец* нести к государеву отцу, святейшему патриарху» (XVII в., Документ. сказание) [ТОДРЛ-XXVII, с. 382]; «в прежних переписных книгах написана та *шкатунка скринка* подорожная, неболшая,

с посудой оловяною столовою» (1690 г.) [РИБ-8, с. 1039]. Как видим, ряд слов *сундучок* – *скриня* – *шкатула* – *ковчежец* свободно замещают друг друга в русских текстах XVI–XVII вв., сюда можно добавить лексемы *ларец* и *коробка*. В старорусском языке аналогичные отношения были между словами *блюдце* – *тарелка* – *миска* – *ставчик*.

Все сказанное убеждает не только в несомненной зависимости семантики предметно-бытовых слов от признаков реальных предметов, но и в сложном, неоднозначном характере этих отношений. Так, этнографические признаки одежды не все одинаково значимы в аспекте семасиологии. Признак «предназначенность для лиц определенного пола» выступает как дифференцирующий по отношению к названиям нательной одежды, но ограниченно действует в сфере названий верхнего платья. Верхняя одежда в зависимости от качества подкладки делилась на первую, или холодную, и вторую – теплую. Соответствующие названия также объединялись в две группы, имевшие свои внутренние семантические связи и противопоставления. Признак «социальное положение носителя одежды» имел ограниченный лингвистический смысл. Более значим был признак «функциональное назначение одежды»: названия придворной одежды активно употреблялись лишь в языке Москвы, в остальных местах они входят в состав пассивной лексики. Названия рабочей одежды употреблялись лишь в деловой письменности и носили диалектный характер.

Таким образом, в основу классификации лексики одежды могут быть положены два основных и несколько второстепенных признаков. В зависимости от пола носителей одежды все названия делятся на три группы: названия общей одежды, названия мужской и названия женской одежды. В зависимости от порядка надевания и наличия в одежде подкладки названия членятся также на три группы: названия исподней (нательной) одежды, названия первой верхней и названия второй верхней одежды. Внутри названий первой верхней одежды по признаку «длина» противопоставляются названия длиннополой одежды и короткого платья. В группе названий второй верхней одежды по признаку «материал» обособляются слова, обозначающие меховую и кожаную одежду. При вычленении лексико-семантических микрогрупп учитываются такие признаки, как «функция предмета» (названия передников, названия поясов и т. п.), «наличие или отсутствие пришивного верха» (например, в лексике обуви: сапоги и башмаки) и т. п.

Сложным является вопрос о том, что лежит в основе семантических объединений названий посуды и домашней утвари. И. С. Козыревым было высказано мнение о том, что «объединительные семантические связи возникают у названий посуды в зависимости от характера материала ее изготовления. Особенно это было действительно в древнерусском языке»¹⁵. Но далее автор признает, что эти связи были «непрочными, нерегулярными».

Неоднократно подчеркивалась и принципиальная важность функционального назначения реалии. Однако часто функционально однотипные реалии имеют разные названия благодаря специфическим особенностям внешнего вида, поэтому вторым классифицирующим признаком названий посуды и домашней утвари должна быть отраженная в словах связь с такими внешними признаками предмета, как «материал», «размер и форма», «наличие дополнительных деталей: крышки, ручки, носика и т. п.» Таким образом, первое членение названий бытовой утвари производится с учетом функционального признака, а последующие – на основе функции предмета, материала и технологии изготовления. Выделим две группы названий. В первую входят наименования посуды для пищи, объединяющие названия: а) столовой посуды для первых и вторых блюд, для сладостей и специй; б) столовой посуды для напитков; в) кухонной «поваренной» посуды (для приготовления горячей пищи, для винокурения, для хлебопечения, для доения коров, для хранения молока и молочных продуктов, для черпания) и названия погребной посуды для столовых запасов. Во вторую группу включаем названия вместилищ для хранения домашних вещей: а) плетеных вместилищ; б) вместилищ из кожи и ткани; в) деревянной и металлической утвари. В ряде случаев выделенные объединения составляют лексико-семантические группы, в других необходима более подробная классификация. Так, названия погребной деревянной посуды распределяются по трем лексико-семантическим группам по признаку «объем и форма сосудов»: а) названия круглых бондарных и долбленых сосудов среднего объема; б) названия круглых бондарных сосудов большого объема и в) названия удлиненных долбленых сосудов с низкими стенками. Разумеется, полного, без остатка, распределения слов по рубрикам быть не может, а некоторые наименования можно отнести к двум-трем группам. Причина – многофункциональность реалий, определяющая многозначность соответствующих слов из-за изменчивости и вариативности внешнего вида реалий,

а иногда и просто из-за неопределенности, размытости границ, отделяющих тип предметов от другого.

Каждая выделенная лексическая группа имеет свой семантический центр, или «опорные слова» (по Ф. П. Филину), то есть наиболее употребительные лексемы с достаточно определенными значениями, богатые производными и особенно интенсивно влияющие на семантику и функционирование остальных названий.

Отмечается в группах и периферия, куда относятся редкие, архаические и экзотические слова, лексемы с диффузной семантикой, слова, входящие в группу по одному из своих значений. Часто роль центра в группе выполняет гнездо однокоренных слов, особенно распространенное. Например, в названиях плетеных вместилищ исконного происхождения выявлено с корнем *кош-* – около 10 слов; в названиях вместилищ для хранения домашней утвари, сделанных из дерева и металла, обнаружено 12 слов с корнем *-голов-* и 5 – с корнем *корен-*. В названиях вместилищ из кожи и ткани распространены слова с корнем *мех(ш)-*, *рогоз(ж)-* и др. Подобные слова часто были родовыми по отношению к названиям разновидностей определенной реалии.

Указанные признаки не исчерпывают сложной семантики анализируемых тематических групп, от которой зависит выбор критериев классификации лексики. Дальнейшее изучение семантических особенностей старорусской лексики могло бы идти как путем традиционного описания отдельных групп, так и с помощью сравнительно-сопоставительного анализа двух и более лексико-семантических и тематических групп с учетом таких критериев сравнения, как соотношение родовых и видовых слов в каждой группе; типы полисемии или модели семантической деривации; число мотивированных и немотивированных слов; степень синонимичности (отдельно – для родовых и видовых слов); контекстуальная закреплённость значений; уровень диффузности значений и др. XVI–XVII вв. – важный этап в истории развития словарного состава русского языка. В это время закладываются основы национального бытового словаря, происходит отбор в общерусскую лексическую сокровищницу семантически емких и стилистически выразительных слов из огромного числа книжных средств, локальных лексем и элементов повседневной разговорно-бытовой речи; увеличивается состав нейтральной общеупотребительной лексики, наблюдается широкое «олитературивание» слов бытовой сферы. Поэтому не случайно

внимание ученых к лексико-семантическим процессам в языке преднационального периода. Обеспеченность этого периода письменными источниками и интенсивная работа по описанию лексики старорусского языка дают основание предполагать, что именно лексикология старорусского языка станет базой для открытия новых методов историко-лексикологических исследований, для обнаружения существенных свойств разных групп лексики, для выявления основных тенденций в развитии словарного состава русского языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания. – М., 1982. – С. 231; Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М., 1973. – С. 133.

² Покровский М. М. Избранные работы по языкознанию. – М., 1959. – С. 753.

³ Крушевский Н. Очерк науки о языке. – Казань, 1883. – С. 65, 69, 149.

⁴ Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания... С. 225; Он же. Несколько замечаний о характере лексических диалектизмов // Вопросы славянского языкознания. – Кн. 1. – Львов, 1948. – С. 223.

⁵ Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики... С. 20.

⁶ Филлмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. – М., 1983. – С. 49.

⁷ Там же. С. 47–49.

⁸ Филин Ф. П. О названиях обуви в русском языке // Лексикографический сборник. – М., 1963. – Вып. VI. – С. 166.

⁹ Ахманова О. С., Виноградов В. В., Иванов В. В. О некоторых вопросах и задачах описательной исторической и сравнительно-исторической лексикологии // Вопросы языкознания. – 1956. – № 3. – С. 5, 6.

¹⁰ Герд А. С. Семиотические аспекты истории научной терминологии // Русская историческая лексикология и лексикография. – Л., 1977. – С. 166.

¹¹ Иванов В. В., Трубачев О. Н. Ф. П. Филин (1908–1982) // Вопросы языкознания. – 1982. – № 4. – С. 5.

¹² Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей). – Л., 1949. – С. 277.

¹³ Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). – М., 1966. – С. 39.

¹⁴ Сороколетов Ф. П. Лексическое значение и словарная дефиниция // Исследования по исторической семантике. – Калининград, 1980. – С. 8.

¹⁵ Козырев И. С. Очерки по сравнительно-исторической лексикологии русского и белорусского языков. – Орел, 1970. – С. 107.



Глава IV.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СЛОВО В ЖАНРОВО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

1. СЛОВА *ОДЕЖДА*, *ПЛАТЬЕ* И ИХ СИНОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Динамика лексики и системные отношения в ней во многом обусловлены текстом и проявляются в тексте, т. е. в процессе функционирования. Поэтому остается актуальным изучение словаря в функциональном аспекте: сфера употребления отдельных лексем и лексических групп, жанрово-стилевое и территориальное распределение слов, внутригрупповые и межгрупповые связи лексики и т. п.

Под этим углом зрения далее рассмотрены общие названия одежды в русской письменности XVI–XVII вв. – начального периода формирования национальной языковой нормы. Специальные исследования указанной лексической группы на обширном материале разной жанрово-стилевой и территориальной приуроченности отсутствуют¹.

Основные родовые названия одежды: *одежа* – *одежда*, *риза*, *порт*, *платье* и производные от них имеют длительную историю в языке.

Восточнославянское *одежа* и перешедшее из южнославянского *одежда* фиксируются в древнерусских письменных источниках с XI в. Однако в XVI–XVII вв. *одежа* по сравнению с синонимичными наименованиями употребляется редко, хотя распространено на всей русской территории и не имеет жанрово-стилевых ограничений. *Одежда* имеет ту же сферу употребления: литературно-художественные и церковно-религиозные сочинения, деловые тексты.

С древней поры варианты *одежа* – *одежда* свободно замещали друг друга: «Въ *одежу* одевься, въздрасти любовь къ богу ...

Иже зиме и лете строинья *одежда* дарует намъ» [Изб. 1076 г., 234, 236 об.]; «Почнут соль продавати или покупати хлебов и рыбу, и мед, и *одежду*, и обувь ... и вы б у них с тое соли и хлеба, с рыбы и с меду, и с *одежи*, и с обуви, и со всяких запасов тамги не имали» (Москва, 1590 г., гр. царя) [РИБ-2, с. 49]. Выбор того или иного варианта определялся личными вкусами автора текста; так, в Уставе 1514 г., написанном Иосифом Волоцким, *одежа* употреблено 8 раз, *одежда* – 3 [Иос. Вол. Посл.], а в «Сказании Авраамия Палицына» XVII в. *одежа* встретилась 1 раз, *одежда* – 4 [РИБ-13]. Оба варианта чаще появляются в текстах книжного характера, в которых избегают специализированных названий, а конкретизация в случае необходимости осуществляется за счет определений или многословных пояснений, например: «Показася во храмине, идеже сидит, слуга его, имея *одежду* такову, иже от дождя употребляют, но зело бе благостройна» (кон. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 314].

Дериваты с уничижительным значением функционируют главным образом в деловой письменности с конца XVI в. Приведем первые фиксации: «А за твоей государевой пашней ходячи, *одеженко* все придрали» (Пелымь, 1598 г., чел.) [РИБ-2, с. 145]; «И мы, государь, те счески себе на *одежишко* прядем» (Яросл. у., 1632 г., сказка) [КМР-3, с. 57]; «*Одеженцемъ* всемъ ободрался» (Москва, 1660 г., чел.) [Заб. Ик., с. 44]; «По *одиошке* протяга и ношки» (XVII в.) [Отр. сб. посл., с. 41].

В старорусский период заканчивается функционирование слова *одење* – *одение*, известного еще по Остромирову евангелию. В изучаемый период оно употребляется в списках с более древних текстов: «Сугуба *одењя* и створи мужеви своему, очервлена и багрена себе *одњя*» (60-е гг. XVI в.) [Новг. 1 лет., с. 529]; «Имъ дело делати рано и позно на твою потребу, на пищу и *одение*» (XVII в.) [Дм., с. 73]. Неожиданным является употребление производного *оденки* от этого архаичного слова: «А волочимся мы, холопи твои, зде на Москве шестую неделю наги и боси, рубашкишки и *оденки* купить не на что» (Москва, 1644 г., чел.) [Дон. д.-2, с. 535].

Субстантив *одежное* является факультативным образованием: «не емлют у нас медных денег за хлеб и за всякий харч и за *одежное*» (1661 г., чел. моск. Стрельца) [АМГ-3, с. 318].

Слово *одеяние* употребляется в письменности с XIII в.: «Моужю своему соугуба *одеания* сътвори, а себе *одеания* багря-

на и чръвена» (нач. XIII в., Лет. Переяславл.) [ВОИДР-IX, 1851, с. 17]. В XVI–XVII вв. *одеяние* наиболее характерно для литературно-художественных текстов, особенно книжно-архаичной ориентации, причем здесь *одеяние* чаще имеет значение ‘одежда монахов и священнослужителей’, чем ‘одежда вообще’. Степень употребительности лексемы *одеяние* ‘одежда вообще’ видна из следующих цифр: в текстах повестей Смутного времени *одеяние* зафиксировано 5 раз, *риза* и *одежда* – по 3, платье – 2 [РИБ-13, вып. 1]. Для наименования царской и монашеской одежды в летописных повествованиях и деловых текстах намеренно предпочитается слово *одеяние*: «А жити им в миру и одежа им носити мирская ... А захотят во иноческое *одеяние* одетьи себе и таковии благодаря божия соудьбы в монастыри отходить» (II пол. XVI в.) [Пск. лет.-1, с. 88–89]; «царь благочестивый пременил воинскую одежду и положил царское *одеяние*» (II пол. XVI в., Лет. нач. царства) [ПСРЛ-XXIX, с. 115]. Вместе с тем высокая стилистическая окраска слов *одежда*, *риза* позволяет их уверенно употреблять в литературно-художественных текстах наряду с лексемой *одеяние* в равноценном словесно-стилистическом окружении: «И Харан его водил в девичьих *одеяниях* ... Ахилес же, слышав, совлечеса *риз* девических» (1617 г.) [Троян. сказ., с. 142]; «Рабы же и рабыни удовляше пищею и одеждею... Рабы своя довольно пищею и *одеянием* удовляше» (XVII в.) [Пов. Ул., с. 278, 280]. Таким образом, *одеяние* как элемент книжно-письменной речи в деловой письменности используется как термин для обозначения царских и архиерейских одежд.

Ограниченным числом употреблений представлены архаичные общие названия одежды. Некоторые новые наименования тоже остаются на речевой периферии, не входя в общее употребление: *живот платной*, *рухлядь платная* и т. п. Иллюстрацией архаичных элементов словаря являются отглагольные образования *окроиница* (от открыти ‘одевать, покрывать’) и *облечение* (от оболокати). *Окроиница* известно с начала XII в.: «Видехъ во сне юношоу во *окроиници*» (XVI в., Ж. Фед. Сик.) [ВМЧ, апр., с. 448]. *Оболечение/облачение* употребляется с XI в., в XVI–XVII вв. используется как архаично-книжное в значении ‘одежда’ и как конкретное наименование ритуальной одежды священнослужителей и монахов: «Ту бо яриг и власяница, и сукняныя одежа, и от козьих кож *оболчения*» (сп. XVI в., К. Туровской) [ТОДРЛ-ХП, с. 351].

Родовое обозначение *риза* известно с XI в. [Срез.-3, с. 120–121]. Наличие у этого слова терминологического значения ‘одежда монахов и церковнослужителей’ определило незначительное число производных, несмотря на функционирование его и в других значениях. Уже в древних памятниках письменности *риза* активно употребляется в значении ‘одежда вообще’, но только в религиозных и исторических сочинениях, учительной литературе, виршевой поэзии, т. е. в текстах, насыщенных архаизмами разного происхождения. Потенции к распределению лексико-семантических вариантов по сферам употребления слово начинает проявлять в XIV–XV вв.² По своим стилистическим качествам *риза* близка словам *одеяние*, *одежда*, что обеспечивает их взаимозаменяемость в однохарактерных контекстах: «Худыа сия и бедные *ризы* приемлеши, не моего наряда *одеание* на себя вздеваеши» (нач. XV–XVI в., Сл. о ж. Дм. Ив.) [Новг.-IV лет., с. 353]; «Тебе *одежду* сию дарует, теплою *ризою* сея одеваясь, согреваеши» (1654 г.) [ПСЗ-I, с. 320]; «О *одеянии*. Вопрос: Долженствует ли бы прилежное радение о красоте одеждъ. Ответ: Долженствует понеже *риза* яко второе тело члвческаго телесе есть» (XVII в., Гражданство обычаев детских) [Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания. – Пг., 1918. – С. 41]. Словесно-стилистический фон контекстов определяет обобщенный характер семантики слова *риза*, символическое выражение им идеи одежды, но иногда значение конкретизируется до понятия ‘верхняя одежда’: «Хотящему с тобою судитися и *ризу* отняти – оставити ему и срачицу» (нач. XVI в.) [Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. – М.; Л., 1960. – С. 226]; «А прелюбодейца белилами, румянами умазалася ... рубаха белая, *ризы* красныя, сапоги сафьяныя» (XVII в., Кн. толк.) [Авв.].

Сохраняется в исследуемый период слово *порты* – широкоупотребительное в течение всего древнерусского периода, начиная с XI в. [Срез.-2, с. 1753]. В XVI–XVII вв. оно архаизируется и используется в художественных текстах книжно-славянской ориентации, поздних списках древних летописей, богословской литературе, церковных правилах и житиях (1216 г.): «Новгородци же съседавшие съ коней и *порты* съ себе и сапози сметавше, боси поскочиша» (нач. XVI в.) [Новг.-IV лет., с. 24]; «Безпечальная мати меня породила, гребешком кудерцы розчесывала, драгими *порты* меня одеяла и, отшед, под ручку посмотрела: хорошо ли мое чадо в драгих *портах*? – а в драгих *портах* чаду и цены нет»

(II пол. XVII в., Пов. о Горе-Злочастии) [Пов. XVII в., с. 113]. Ср. случай взаимозамены *порты* – *одежда*: «Бяху бо *порты* на нем обычныя зело худостны ... паче сице узрит его негде въ таковой суша *одежди*, то не мнит его самого того игумена Сергия быти» (XVI в. Ж. Серг. Радон.) [ПДДР-4, с. 352]. Факты не позволяют согласиться с мнением Г. А. Мироновой о том, что история слова *пъртъ* / *пърты* в XIII–XIV вв. сводится к сужению его значения от ‘одежда вообще’ до ‘тип мужской одежды’ и что в XV в. слово выступает со значением ‘тип мужского нижнего платья’³. В действительности даже в XVI–XVII вв. слово сохраняет родовое значение ‘одежда’, но в определенных контекстах. Изредка это значение наблюдается даже в некоторых жанрах деловой письменности: «Три младенцы с ним стоят в белых *портех*, в руках кресты» (XVII в.) [Подлинник ик., с. 26].

Только в текстах XVI в. канонического содержания встречается слово *порѣтно* ‘одежда, один из предметов одежды’: «Аще кто даст *порѣтно* в нем же ходить достойно» (XVI в.) [Правила, с. 121].

Два деривата от корня *порт-*: *портище* и *портное* – приближаются по своей семантике к родовому значению ‘одежда’.

Портище ‘одежда’ широко представлено в древнерусском языке с XII в. [Срезн.-2, с. 1752–1753]. В XVI–XVII вв. этот вариант встречается в текстах книжно-славянской ориентации, а в деловой письменности наблюдается и значение ‘один из предметов одежды’, в большинстве же деловых текстов имеет место диффузия обоих значений: «Каково *портище* на нем было? – Ни куние, ни соболие» (1573 г., Посл. в К.-Бел. м.) [Ив. Гр. Посл., с. 174]; «Сделал он думному дворянину 3 *портища*: кафтан шубной, чекмень, шубку крашенинную, а денег ему от дела не платил. И Автамон сказал, что за те *портища* Карпуньке от дела дано по 5 алт. с *портища*» (Калуга, 1660 г.) [АМГ-3, с. 7]. *Портище* в текстах книжноцерковного характера вступает в синонимические отношения со словом *одеяние*, а в деловой письменности – с лексемой *платье*: «Аз есмь смерть, не посулица, богатства не собираю, красна *портища* (вар.: *одеяния*) не ношу» (XVI в.) [Пов. ЖС, с. 166]; «Служилые люди делают себе и женам своим и детям *портища* золотныя и серебряныя, бархатные ... Знатно, что те служилые люди, у которых такое излишне дорогое *платье* есть, делают не от праваго своего нажитку, кражею» (Якутск, 1697 г.) [ПСЗ-3, с. 403].

Слово *портное* 'любая одежда из ткани' употребляется с начала XVII в., отсутствует в исторических словарях, является фактом деловой письменности, демократической литературы и, вероятно, живой речи: «А тебя не ведаю, как положить и чем тебя одети: шубою тебя одети – и тебе опрети, а *портным* одети – и ты здροжиш, у нас убежишь» (нач. XVII в. Посл. недругу) [РДС XVII в., с. 37].

Слова с корнем *плат-* на протяжении веков развили иную стилистическую окраску, нежели *одеяние*, *риза* и т. п., и потому функционируют в контекстах, имеющих другие стилистические качества.

Исходное слово *плат* фиксируется уже в Изборнике 1073 г., но значение 'одежда' приприобретают только его производные, наиболее древнее из которых *платье* (в ед. ч.) зафиксировано впервые в Псковской судной грамоте 1397–1467 г.: «А у кого померет сын, а невестка останется, да учнет на свекри или на девери скруты своеа искати или *платьа* своего, – ино свекру или деверю отдать *платье* или крута» [Пск. суд. гр.]. Ср. необоснованный вывод о том, что «только в начале XVI века появляется слово *платье*»⁴. Лексема *платье* представлена в словаре И. И. Срезневского с цитатами из текстов XV в. [Срезн.-2, с. 955].

Если в книжно-письменной речи из всех синонимов особенно активно использовалось слово *одежда*, то в деловой речи предпочиталось *платье*. Жанрово-стилевая противопоставленность слов *платье* и *одежда* поддерживалась и сословными предрассудками той поры, ср. описание одежды пастуха и князя в одном тексте: «И на том камени выставят члка простого роду в пастушескомъ *платье* в какомъ скотину пасут к тому устроеномъ ... а новонареченной княз в красной *одежды* поставлень бывает противъ того члка на лугу» [Космография, 1670 г., с. 118].

Случаи, когда в *платье* не включаются шубы или исподнее белье, носят окказиональный характер и свидетельствуют о широте и неопределенности семантического объема лексемы: «Рознесли соболей, и шуб соболюх и кунных, и *платьа* всякого, и полотен (Москва, 1612 г. – РИБ-П, 231).

Устойчивые сочетания со словом *платье* семантически противопоставлены друг другу: *верхнее*, *верховое платье* – *нижнее*, *исподнее платье*, *летнее платье* – *зимнее платье*, *теплое платье* – *холодное платье*. Вероятно, с древнерусской поры существует составное наименование *белое платье*, которое имеет значение 'исподнее

платье', 'верхняя комнатная одежда', 'постельное белье', т. е. 'любая одежда из белой ткани': «А принесла я к нему с собою ... коробку с *белым платьем*, а в коробке было четыре рубашки полотняных» (Вологда, 1638 г.) [ОСВ-13, с. 6]. Кроме того, *белое* или *чистое платье* входило в номенклатуру церемониальной одежды, которая имела три разновидности: *золотное платье* 'одежда царя и знатных приближенных', *чистое платье* 'церемониальная одежда служилых людей', *белое платье* 'белая одежда царской охраны'. Ср.: «А при государе были ... дворяне и дьяки в *золотном платье* а по крыльцу и на лестнице дворяне, и приказные люди, и дети боярские в *чистом платье*» (Москва, 1538 г.) [Перс. д.-I, с. 161]; «А государь в те поры был в *царском платье*, а при государе были рынды в *белом платье*» (Москва, 1593 г., стат сп.) [Там же, с. 154]. *Белое платье* не было одеждой привилегированных слоев общества, как предполагала Г. А. Шаповалова⁵. Своя система существовала в составных наименованиях траурной и обычной повседневной одежды. Сочетания *смирное платье*, *печальное платье*, *жалобное платье* и *черное платье* обозначали траурную одежду черного цвета и противопоставлялись наименованию *цветное платье*: «А нечто спросить Якова: почему они в *смирном*, в *черном платье*? и им сказати: царевича князя Ивана стало, и нам в такой скорби будучи как ходить в *платье* в *цветном*?» (Москва, 1582 г., наказ послам) [ПДС-I, с. 854]. Гораздо реже употреблялись названия дорожной, выходной и комнатной одежды: *платье ходильное*, *дорожное*, *ездовое*, *комнатное*, *столовое*, *вздевальное*, *ношебное*. Слово *платье* могло вступать в отношения семантической эквивалентности со словами *одежа* (в деловых и летописных текстах) и *одежда* (в деловых и литературно-художественных текстах): «Побрал у меня сироты всякие животы, *одежу* мою и женишка моего всякое *платье* и кузню» (Шуй. у., 1631 г., чел.) [АЮБ-III, с. 499].

Платье может иметь также значение 'отдельный предмет одежды' (в ед. и мн. ч.), которое отмечается с XVI в.: «Починили 16 *платей* ветчяных, дали швецу 6 алт.» (Тотьма, 1582 г., кн. пр.-расх.) [ВХК-I, с. 23].

В текстах XVI в. наблюдаются деминутивы *платьишко*, *платьецо*, см. первые фиксации: «И что у нег ево *платишка* и всякие рухлядки, и во все в то у него не вступатис» (Бежецк, 1533 г., дух.) [Лих. сб., с. 9]; «И в *платьеце* бы опрянулися, в каково им гсдрь повелит» (XVI в.) [Дм., с. 52]. Оба они употребляются редко и только в деловой письменности.

Платно употребляется вначале со значением 'полотно' [Срезн.-17, с. 965], с начала XVI в. у него обнаруживаются также значения 'одежда', 'предмет верхней одежды'. *Платно* 'одежда вообще' употребляется параллельно со словом *платье*: «В чем делать, то *платье* ветшано, а остряпавши дело, ино переменить *платно* чисто, всенедневно» (XVI в.) [Дм., с. 35]. Ср.: *платенко* с тем же значением: «Лучшее *платенко*, верхнее и нижнее, и рубашка, и сапог блюсти по *праздником*» (нач. XVII в.) [Дм. К., с. 22].

Платно значило также 'любой предмет верхней одежды' и 'верхняя торжественная одежда знатных лиц, тип накидки', ср.: «Дано по Василеве жене Ефросине 3 *платна*: летник камчат желтъ да шубка и опашен черлены Никифору Онанину» (Свирь, 1631 г., кн. пр. Свир. м., №159, л. 56 об.) [КДРС]; «Да тутю же шах велел положить *платье* на толмача Айдара, и на него положили *платно* кизылбашское верхнее да кафтан камчат» (1593 г.) [Перс. д.-I, с. 266]. Чаще всего описываются царские *платна*.

В XVI–XVII вв. *платно* употребляется в севернорусских и среднерусских актах. В национальный период *платно* 'одежда' известно в архангельских, новгородских и воронежских говорах.

В двинской письменности обнаружен субстантив *платяное* (ср. *одежное*): «Продано хлебных и харчевых запасов и *платяного* и обувного» (Онега, 1658 г., А.Онеж. м.) [КДРС].

Существовала также группа общих названий для именования комплектов одежды: *утварь*, *убор*, *наряд*. Значение 'комплект одежд' у них еще не отдифференцировано от родового значения 'одежда'.

Часть общих названий содержит в своей семантике и некоторую долю конкретности, благодаря чему выделяются общие наименования торжественной или праздничной одежды (*багръ*, *багряница*, *червленица* и др.) и общие наименования повседневной или ветхой одежды (*вретище*, *рубище*, *гуня*, *лопотъ* и др.).

Наблюдения над общими названиями одежды позволяют сделать некоторые выводы.

1. В русском языке на протяжении исторического периода сокращается число общих названий, развивается семантическая специализация. Так, на базе основного значения 'одежда вообще' у ряда слов появляются значения диффузного характера 'отдельный предмет одежды', 'комплект одежды'.

2. Происходит закрепление жанрово-стилевой сферы основных наиболее употребительных слов за тем или иным типом кон-

текста. В церковно-религиозных и историко-повествовательных текстах предпочитают слова с обобщенно-абстрактным значением. Выбор того или иного слова в тексте из синонимического ряда зависит от общего словесно-семантического и стилистического фона контекста. Значения отдельных полисемантических слов также закреплены за определенным типом контекста.

3. Жанрово-стилевые качества слов обуславливают их синонимические связи, способность к взаимозамещению, семантико-стилистическую противопоставленность.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Назовем близкую по замыслу работу: Шаповалова Г. А. Лексика русского ремесла в деловой письменности XVII века (портновское дело). Канд. дис. – Киев, 1983.

² Михайловская Н. Г. Синонимия как выражение лексикосемантической вариантности // Древнерусский язык: Лексикология и словообразование. – М., 1975. – С. 12–13.

³ Миронова Г. М. Названия одежды в древнерусском языке. – Киев, 1978. – С. 6.

⁴ Латышева Г. П., Рабинович М. Г. Москва в далеком прошлом. – М., 1966. – С. 220.

⁵ Шаповалова Г. А. Лексика русского ремесла в деловой письменности XVII века (портновское дело)... С. 13.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КНИЖНЫХ И РАЗГОВОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТАРОРУССКОМ СЛОВАРЕ

Всестороннее описание стилистических качеств старорусского слова возможно лишь на основе анализа многообразных в жанрово-стилевом отношении контекстов. Этот тезис в полной мере справедлив и по отношению к предметно-бытовой лексике, которая лучше отражена в письменности, но вместе с тем изучение данного слоя лексики может быть весьма плодотворным в литературно-художественных и конфессиональных сочинениях центрального и местного происхождения. При лексикологическом анализе одинаково важны все три основных аспекта исследования: семасиоло-

гический, жанрово-стилевой и лингвогеографический, причем все они взаимосвязаны и касаются важных историко-лингвистических проблем: проблемы жанрово-стилевой и территориальной дифференциации языка, его отдельных разновидностей и лексических единиц; проблемы взаимодействия литературного языка, бытового просторечия и диалектов; проблемы соотношения и взаимодействия словаря письменности московских приказов с лексикой других культурно-письменных центров, изучения словарного вклада говоров в сокровищницу общерусского национального языка.

Предлагаемый анализ выполнен на основе источников XVI–XVII вв. разной территориальной прикреплённости и неодинаковых по жанрово-стилевым характеристикам: изборники, богословские и агиографические произведения, летописи, повести религиозного и светского содержания, хозяйственные руководства, государственные и частные акты, таможенные и хозяйственные книги, описи имущества, личная переписка, публицистические сочинения, фольклорные записи.

Аналізу подвергаются родовые названия посуды, недостаточно изученной в историческом плане. Принципиально важным для выяснения жанрово-стилевых качеств слова является его описание в составе лексической группы: учет контекста (синтагматика) даёт предположительные сведения о стилистическом статусе слов; место слова в ряду семантически подобных единиц (парадигматика) позволяет сделать окончательный вывод о стилистической дифференциации каждого из членов лексической группы.

В понятие *посуда* в русском языковом сознании в древности входили, как свидетельствуют письменные источники, посуда столовая (для подачи пищи на стол и для приема пищи), поваренная (для приготовления пищи) и погребная (для хранения столовых запасов и готовой пищи). Некоторое представление о составе домашней утвари простолюдинов даёт «Описание Московского государства» по списку конца XVII – начала XVIII в., см.: «У простаго тамошняго народа домовная посуда зело мала есть, и мало у них бывает, болши немногих горшъковъ да нескольких деревяных или глиняных блюд и сковород; олова же тамо мало употребляют, також и серебряных судов немного, кроме винных да медвяных чаръ»¹. Гораздо богаче были столовые и кухонные наборы в домах феодальной знати, высшего духовенства и в царском дворце. Для каждого типа бытовой утвари существовали свои наименования.

Разнообразие конкретных названий посуды (в зависимости от назначения, особенностей внешнего вида и материала для изготовления) вызывало необходимость в общих ее именованиях. Функцию родовых названий в старорусском языке выполняли слова с корнем *суд-*: *судъ* (с 1076 г.), *судно* (с XIV в.), деминутивы *суденко* – с 1523 г., *судишко* – с 1661 г., *судок* – с 1551 г., *съсудъ*, *сосудъ* – с 1056 г., *сосудец* – с 1566 г., *посудье* – после 1571 г., *посуда* – с 1599 г. Слова с корнем *суд-* представлены во всех славянских языках, они восходят к праславянскому **som+dhe* [Фасмер-III, с. 732].

Древнерусское *судъ* впервые отмечено в «Изборнике» Святослава (1076 г.): «Яко недостойнъ ядыи тело г(оспод)не и пияи кръвь въ *соудъ* себе ясть и пить» [Изб., 1076, с. 207]. См. форму *суды*: «Аже латински коупить *соуды* серебряные дати емоу весую от гривны серебра» (Смоленск, 1229 г., договор с Ригю) [СГГД-II, с. 4]. К началу XV в. *судъ* – *суды*, бывшее, вероятно, первоначально общим названием только столовой посуды, приобретает расширительное значение ‘любое вместилище вообще’, ср.: «А исъ *судовъ* ему коропка сердоничная да ковш золотъ» (1406 г., духовная Вас. Дм.) [СГГД-I, с. 73]. Тогда же появляется в письменности новая форма ед. числа *судно*: «Ни с нимъ изъ единого *судна* ясти, ни питъ» (XIV в., Феод. Печ. Паис. сб. 24) [Срезн.-III, с. 609]; «Ни целовати его, ни с нимъ изъ единого *судна* ясти... ясти и пити дати имъ, но въ ихъ *судех*, аще ли не буде у нихъ *судна*, въ своемъ дати» (к. XIV – н. XV в., Феод. Печ.) [ТОДРЛ-V, с. 170].

Судно – *суды* обозначало прежде всего посуду, предназначенную для разных бытовых нужд: «А что... дворовые рухледи и *судов* погребных и поваренных: олавеников, и кружек, и котлов, и сковарод... то все жене моей Марье» (Волоколамск, 1559 г., духовная Д. Г. Плещеева) [АФЗХ-II, с. 281]; «А *суды* бы всякие столовые и поваренные всегды после стола в горячей воде перемыт(ь) и переполоскать» (к. XVI – н. XVII в., Домострой) [ЧОИДР. 1908. Кн. 2. С. 48]; «Платил... за всякие кабацкие за пивные и за бражные *суды*» (Москва, 1619 г., кн. прих.-расх.) [РИБ-XXVIII, с. 51]. Были *суды* молочные, винные, винокуренные, рыбные, мерные, мыленные и т. д. Под название *суды* подходили вместилища любого назначения и объема, в том числе бочки, корзины и т. п.: «Да *судов* деревянных бочек и стоек и тштанов больших за 8 рублей» (Москва, 1642 г., данная) [Зерцалов А. Н. Акты XVI–XVIII вв. – М., 1897. – С. 98].

Слово *судно* (мн. число *суды*) в языке XVI–XVII вв. имело общерусское распространение. Наиболее широко оно употреблялось в актах деловой письменности, отмечено также в художественных текстах светского характера, произведениях фольклора, например: «И повелел Навходоносор царь во всем Вавилоне граде знамя учинити на окошках и на *судах*, и на ставцах, и на блюдах, и на лотках, и на всяких *судах*» (XVII в., Пов. о Вавилон. царстве) [Лет. рус. лит-ры-3, с. 22]; «Из пустава *судна* ни пьютъ ни едятъ» (XVII в., пословица) [Старинные сб. рус. пословиц ... XVII–XIX столетий. СПб., 1899. – Ч. I–II. – С. 109].

В источниках XVI–XVII вв. обнаружены слова *суденко*, *судишко* с уменьшительным значением, первое встречается часто, второе – реже, см.: «*Суденко* сводное золочоно да ковшъ великъ серебрянъ, а весу въ *суденку* и въ ковше пять гривенокъ» (1526 г.) [СГГД-I, с. 407]; «Ивашко Росторгуевъ перекупаетъ щепы деревянные *судишка*» (Суздаль, 1661 г., кн. переписн.) [Владимир. губ. вед. 1856. № 4. С. 28]. Сферой распространения деминутивов является деловая письменность.

Судокъ – уменьшительное от слова *судъ* (*судно*), значение уменьшительности проявляется у слова в начале XVI в. и изредка наблюдается позднее, чаще употребляется только в форме мн. числа: «Которое питье окисло... по малым *судком* растачивати и то борзе извѣсть» (XVI в.) [Дм, с. 63]; «А что моих *судков* серебряных ковшик выносной питей да две чарочки з золотцом... и прикащики мои те *судки* и плате и лошади... то все продадутъ» (Бежецк, 1533 г., духовная Ларионова) [Лих. сб.-I, с. 8]; «Купил игумен Федорит *судковъ* корелских ставца и братинокъ и ложекъ на рубль» (Свирь, 1631 г., кн. расх. м. № 160. Л. 55 об.) [КДРС]. Во всех этих примерах слово *судки* синонимично слову *суды*. Однако очень рано эта лексема закрепляется в сочетании *судки столовые*, которое служит для обозначения набора малых сосудов для специй и пряностей. *Судки* или *судки столовые* представляли собою несколько сосудов, соединенных на одном поддоне. Срезневский толкует слово *судъ* как 'миска' [Срезн.-III, с. 607], однако выявленные примеры не подтверждают это толкование: «Купил *судки столовые* оловяные укусница да перешница, да солоница» (Кириллов, 1567 г., кн. расх. К.-Бел. м. № 2. С. 5) [Ник.-I, с. 2]; «Починиваль митрополичьихъ серебряныхъ *судковъ* укусницу да перечницу» (В. Новгород, 1651 г. кн. расх. митроп.) [ВОИДР-13, с. 58]; «*Судки столовые* четверные в вѣчке, серебря-

ные, резные, золочены местами: солоница да перешница, да два укусника с кровлями»; «*Сутки* столовые ж серебряные резные в вечке ж тройные: перешница да два укусника, не золочены, в те ж *сутки* зделана вновь... солонка серебряная с кровлей» (Вологда, 1663 г.) [Оп. им. арх., с. 102]. Значение 'совокупность столовых приборов для соли и специй' было представлено у слова *судки* на всей русской территории, но только в деловой письменности, что свидетельствует о его разговорно-бытовом характере.

С древнерусской эпохи существует слово *съсудъ* – *сосудъ*, впервые отмеченное в Остромировом евангелии 1056 г. [Срезн.-III, с. 893]. Значение его тождественно семантике лексем *судъ-судно*, что проявляется в фактах взаимозаменяемости в пределах одного текста: «А иные из тех послов, выпив романею и мед, *суды* берут к себе и кладут за пазуху, а говорят они послы: когда де царь пожаловал их платьем и питьем, и тем *судам* годится быти у них же, и у них тех *судов* царь отнимати не велит, потому что спороваться с бусурманом в стыд, и для таких безстыдных послов делают нарочно в Англинской земле *сосуды* медные, посеребренные и позолоченные»². Вместе с тем уже в древнерусский период наметилось разграничение этих слов по оттенкам значения и сфере употребления, так, слово *сосуд* закрепляется за вместилищами, составляющими церковную утварь, и употребляется в основном в сфере книжной письменности, входит в число высоких, архаично-славянских элементов, лексемы *судъ* – *судно* обозначают бытовую посуду и функционируют в деловой письменности и светской литературе демократического содержания. Редкие употребления слова *сосудъ* в деловой письменности наблюдаются в актах, написанных лицами, хорошо знакомыми с церковно-религиозной литературой, с книжной письменностью той поры, ср.: «Созва царь на обед свои... повеле брашно и пития, вина и медове на возах возити, великия *сосуды* мерныя наливати» (к. XVI в.) [Каз. ист., с. 80]; «Переписали в архиеписк. погребевские погребные *сосуды* после чашника Игнатъа» (Вологда, 1645 г. оп. им. арх.) [ОБС-I, с. 11].

Деминутив *сосудец* в деловой письменности употребляется свободнее, чем *сосуд*, потому что уменьшительные образования, имеющие различные эмоциональные оттенки, характерны для повседневной речи, изредка проникает слово *сосудец* в повествовательные тексты исторического и религиозного содержания: «Вземь малы *сосудецъ* испивъ» (1566 г., Ж. Ал. Ош. 125) [КДРС];

«И стопку и достаканецъ и *сосудецъ* глиняной взялъ Иваншко Фофановъ» (Москва, 1608 г.) [Оп. им. Тат., с. 21].

Жанрово-стилистическое развитие и семантическая эволюция слов *сосуд* и *судно* привели к тому, что слова эти приобрели слишком широкие, общие значения, в то же время отсутствовали родовые названия для отдельных видов вместилищ: столовых, кухонных и т. п. В результате осознания этой потребности возникает слово *посуда*, но история его появления в языке не простая.

По первоначальной семантике *посудье* (оно наблюдается в письменности раньше, чем *посуда*) – собирательное существительное, которое скоро утрачивает значение собирательности и в форме *посуда* закрепляется в значении ‘столовая посуда’. Семантическая близость собирательных существительных и родовых наименований основывается на способности тех и других обозначать множество, совокупность однотипных предметов, мыслимых как нечто целое, единое. Дифференциация же этих лексико-грамматических разрядов слов осуществляется главным образом на словообразовательном (суффиксы) и морфологическом (формы числа, различия в роде) уровнях.

Семантические различия их не всегда имеют отчетливое выражение. По этой причине в истории русского языка наблюдаются случаи временного функционирования собирательных существительных в роли родовых наименований, причем это может быть первым этапом в истории появления слова в языке. Подобные факты отмечены среди названий посуды: *посудье* – *посуда*, *щепье* – *щепя*, *плашье* – *плаха* (см. подробнее ниже).

Так, в результате осознания потребности в специализированном названии для выражения узкого значения ‘бытовое вместилище для пищи и столовых припасов’ (существовавшие в то время наименования *судно* и *сосуд* имели широкие семантические рамки) появляется собирательное *посудье*, первоначально в текстах XVI в., переведенных с польского, а также в западнорусских источниках начала XVII в., что позволяет думать об участии западнорусских языков в появлении слова на русской почве. Слово *посудье* активно употребляется в первой половине XVII в. и соперничает с формой *суды* (от *судно*).

Посуда впервые зафиксировано в начале XVII в., до середины столетия употребляется редко, активизируется лишь в 40-х гг. XVII в. с одновременным сокращением, а затем выходом из упо-

требления названия *посудье*. Во второй половине XVII в. идет соперничество между новым обозначением *посуда* и старым *суды*, причем *посуда* имеет значение 'столовые сосуды для приготовления и приема пищи'.

Имея в виду другие аналогичные факты в той же тематической группе лексикки, можно предполагать типологическую общность модели образования родовых слов в тематической сфере «названия бытовой утвари» для всех славянских языков. Вероятно, в хронологическом плане собирательные существительные предшествуют появлению родовых слов. Последние вызваны к жизни стремлением речевого сознания этноса, пользующегося языком, к более тонкой семантической дифференциации при обозначении совокупностей однотипных предметов (собирательность), с одной стороны, и при обобщенном обозначении всей группы однотипных предметов (родовые слова), с другой стороны.

Посудье отмечено впервые в тексте «Назирателя» XVI в., переведенном с польского языка, а также в смоленских актах, что позволяет думать об участии западославянских языков, в частности польского, в появлении слова на русской почве. Особенно активно *посудье* употребляется в первой половине XVII в., см. примеры: «В них же держало бы с *посудия* пивное винное и масляное... Воду новую такъ отведаешь, будет здоровая или нездоровая, покропи ею *посудие* какое оловяное или медяное» (после 1571 г.) [Назиратель, с. 153, 179]; «Да грехом моим на посаде двор выжгли, и *посудья* и хлебца немало погорела» (Смоленск, 1609 г., письмо) [ТОДРЛ-XIV, с. 276]; «В хоромех всякая *посуд(ь)я* пожгли; пожгли всякое подворенное *посуд(ь)я*» (Смоленск, у., 1609 г., чел.) [Пам. об. Смол., с. 6–7]; «И лесъ усадной вырубил, делаютъ корцы и ложки, и всякое *посудье*, и лыка деруть» (Переяславль-Рязан., 1629 г., отписка) [АМГ-I, с. 267]. *Посудье* даже пытается соперничать со словом *суды*: «Платье и запасы всякие, и деньги, и *посудье*, и скот всякой... всем завладела та сноха наша Анна... у снохи своей Анны прошали платья и кузни, и *судов* всяких» (Сольвычегодск, 1627 г., чел.) [Семевский, с. 63].

Посуда впервые зафиксировано в челобитной 1599 г., но до середины XVII в. употребляется весьма редко. Употребление этого слова активизируется в 50-е гг. XVII в., но и во второй половине XVII в. оно уступает слову *судно*; так, в царском указе 1684 г. *суды* использовано 9 раз, *посуда* – 4 [ПСЗ-2, прил. 1]. В отличие от лек-

семь *посудье*, проявляющей западнорусский характер, слово *посуда* функционировало как общерусское, см. примеры: «А *посуда* де всякая его Первушина была на том его дворе» (Астрахань, 1599 г.. чел.) [Рус.-кавк., с. 326]; «Куплено в Переславле про монастырской обиход деревяной *посуды* десят братин десят ставцов двадцат блюд красных» (Рязань, 1689 г.. кн. пр.-расх. Богослов. м.) [Тр. Рязан. УАК-18, с. 36].

Борьба за приоритет между новым обозначением *посуда* и старым обозначением *суды*, развернувшаяся во второй половине XVII в., проявляется в фактах их одновременного, синонимичного употребления в одних и тех же текстах: «И что де было в хоромах... всякой домовою деревяной *посуды*, то все пограбили... что было серебряных *судов* и всякого медного и оловяного и погребцов и то де все разломали» (В. Новгород, 1650 г., кн. зап. явок № 80) [КДРС]; «Пашка Шелемша сказалъ: той де Андрюшкиной *посуды* оловяной и медной... записки у него, Пашки, нетъ. И те *суды* принялъ онъ Пашка по его Андрюшкину приказу» (Москва, 1690 г., расспрос) [Д. Шакл.-2, с. 427]. Свидетельством взаимовлияния этих слов является эпизодическое употребление лексемы *посуда* в расширительном значении 'любое вместилище бытового назначения', которое было более свойственно слову *судно* – *суды*: «*Посуды* 5 кадей дубовыхъ больших, 2 ушата. 4 ведра, корыто небольшое» (Москва, 1668 г. оп. Сафьянного двора) [Оп. дворцовых приказов-2, с. 659]. Однако уже в пределах XVII в. значение слова все чаще ограничивается понятием 'столовые и кухонные сосуды для приготовления и приема пищи': «Белой оловянной *посуды* шесть блюд да сем торелеи две чашки маленьких ловенныхъ четыре кружки да стакан... да медной *посуды* ендова три братины чеканных пят сковородокъ да чашка» (Рязань, 1687 г., кн. пр.-расх. Богосл. м.) [Тр. Рязан. УАК-18. Вып. 2, с. 226].

Деминутивы к слову *посуда* в письменности встречаются редко: *посудишка* (с 1622 г.) и *посуденка* (с 1655 г.): «А его с Москвы Василей послал в Новъгород для людей свих и для *посудишка*» (1622 г.) [ЧОИДР, 1915. кн. 4, с. 90]; «воровские казаки ограбили донага, что, государь, было животишек всяких, платишка и мелкого всякого борошнишка и *посуденка* всякого» (Якутск, 1655 г., чел.) [ДАИ-4, с. 33].

Деревянная столовая посуда, производство которой было особенно распространено на Севере, получила в этих местах названия *щепы* (с 1626 г.) или *щепье* (с 1634 г.), в которых отражены осо-

бенности процесса изготовления деревянной посуды. В понятие «щепа – щепье» входили блюда, ставцы, чашки, братины, ковши, солоницы. Сами анализируемые слова были ограничены севернорусской территорией. Приведем несколько примеров: «Яв (ил) Нижегородского уезда Василевы слободы Иван Лук(ь)янов снъ... *щепы* блюд и ставцов и братин 2000» (Тихвин, 1626 г., кн. тамож. № 3. С.143) [КДРС]; «Фалелей ж Иванов приехал с Вологды на 3 лошадах, явил товару... *щепы* блюд и ставцов» (В. Устюг, 1636 г., кн. тамож.) [ТК-I, с. 162]. Укажем пункты, в которых упоминается это наименование: Тихвин, В. Устюг, Белозерск, Вологда, Ростов-Ярославский, Ярославль, Галич, Кострома, Н. Новгород. Встретилось это слово и в одном суздальском документе, но вообще для среднерусской полосы (за исключением Поволжья) оно не было характерно, поэтому и в цитируемом документе *щепа* поясняется общерусским эквивалентом *деревянные судишка*, см.: «Ивашко Расторгуев перекупает *щепы деревянные судишка*» (Суздаль, 1661 г., кн. переп.) [Владимир. сб. – М., 1857. – С. 167].

Рассмотрим иллюстрации со словом щепье: «Трофим Третьяков на лошаде явил ржы три меры да *щепья* 250 чяшек» (В. Устюг, 1634 г., кн. тамож.) [ТК-I, с. 40]; «Купил *щепья* блюд и ставцовъ липовых тысячу» (Вологда, 1665 г., кн. прих.-расх. сол. Двора) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 48. Л. 23 об.]. Щепье фиксируется в Устюге Великом, Вологде, Сольвычегодске, Холмогорах, Юрьевце, упоминается в московских и астраханских росписях товаров и в статейном списке посла Б. Пазухина, выезжавшего в 1671 г. в Бухару.

Слова *щепа* – *щепье* сохраняются позднее в севернорусских говорах [Подвыс., с. 194].

Разновидности деревянной посуды в зависимости от характера отделки получали наименования *плаха* 'простая деревянная посуда, не имеющая покрытия', *масля(ё)нка* 'посуда, прокипяченная в масле', *ваплянка* 'крашенная посуда': «Явилъ Белозерского уезду с Мегрина Иванъ Павловъ *щепы маслянки и плахи*» (Тихвин, 1658 г., кн. тамож. №217, 26 об.) [КДРС]; «Явилъ белозерець Иванъ Кондратев 10 воевъ пен(ь)ки возъ *щепы маслянки да ваплянки*» [Там же, с. 34]; «Продали мяс говяжьих, *щепья масленки*, рубах... продали ставцов и блюд *масленки*, овчин» (Тотьма, 1676 г., кн. таможен.) [ТК-III, с. 594]; «Устюжанин Дементей Андреев Пономарев явил осталого товару... 500 ложек *маслянки*, 19 полиц железа» (В. Устюг, 1677 г., кн. тамож.) [ТК-

III, с. 84]. Слова *плаха* и *ваплянка* встретились только в Тихвине и Белозерске; *маслянка*, кроме этих пунктов, — в Устюге и Тотьме.

Таким образом, общие названия посуды, как и многие другие общеродовые наименования в старорусском языке, были дифференцированы по жанрово-стилевому признаку или по сфере употребления. Можно выделить две основные сферы употребления: 1) деловая речь и близкие к ней художественные тексты светского содержания, основанные на живой народной речи (*судно* — *суды*, *посудье* — *посуда*, *щепье* — *щепы*); 2) книжная письменность религиозного содержания повествовательного и служебного характера (*сосуд*). Вместе с тем наблюдаются общие лексические элементы в деловой письменности и повествовательной церковно-книжной литературе (*сосудец*). Для деловой письменности характерны многочисленные деминутивы как результат влияния языка живого разговора на язык местных канцелярий, частных актов и личной переписки.

Развитие анализируемой лексико-семантической группы происходило в результате преодоления семантической перегрузки отдельных слов, выработки таких лексических средств, которые бы сочетали семантическую определенность с широкой сферой употребления и территориальной неограниченностью. Наиболее активно эти процессы протекали в повседневном речевом обиходе, что зафиксировано старорусской деловой письменностью.

Замечено, что специализация наименования, связанная с уточнением, ограничением семантического спектра, иногда ограничивает и его функциональные возможности, сокращает сферу употребления (см. историю слова *судок* — *судки*).

Новые лексемы в составе анализируемой группы появляются, в частности, через ступень первоначального функционирования собирательного существительного, на базе которого развивается обычное слово с обобщенным значением (*посудье* — *посуда*, *щепье* — *щепы*).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собранных для имп. Академии наук в Олонецком крае. — СПб., 1913. — С. 461.

² Котошихин Г. О. России в царствование Алексея Михайловича. — СПб., 1906. — С. 55.

3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАРОРУССКОГО СЛОВА В СОСТАВЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Рассматривая историю лексики, можно проследить последовательное и неизменное отражение в языке мира вещей, процессы семантической и стилистической эволюции лексем, их географическое и жанрово-стилевое распределение, то есть количественное и качественное развитие лексики, особенности ее функционирования в письменности соответствующего периода¹. Интересующая нас лексическая группа названий поясов мало изучена в историческом плане. Отчасти это объясняется трудностями сбора материала: в старорусские литературные тексты редко вводились мало-значительные бытовые ситуации, а значит, и слова живой речи, обозначавшие реалии быта, поэтому в ходе исследования приходится обращаться к разнообразным языковым источникам.

Родового названия поясов в языке XVI–XVII вв. не существовало. Наиболее распространенные наименования *пояс* и *кушак* отличались друг от друга отнесенностью к разным денотатам (различие состояло в материале, размерах реальных), хотя иногда *кушак* воспринимался как разновидность *пояса*: «А поясы круг себя носят великие *кушаки* и поверх *кушаков* шалы вишневые» (II пол. XVII в.) [Х. Котова, с. 54]. Положив в основу анализа описание гнезда слов с корнем *пояс-*, сопоставим остальные лексемы.

Пояс – общеславянское слово от **pojasati* [Фасмер-III, с. 351] фиксируется на русской почве с 1068 г. [Срезн.-III, с. 1339] и характеризуется общерусским распространением. Сопутствующие определения указывают на материал, цвет и другие качества реалии, в ряде случаев формируют составные наименования разновидностей мужских поясов, например: *пояс верхний* ‘нарядный пояс для рубахи, кафтана, на котором носилась мошна’ и *пояс нижний* ‘пояс для штанов’, устойчивые в московских актах: «Чехол с тесмами два рубли с полтиною *пояс* к сорочке рубль шесть алтын ... *пояс* в штанах девять алтын» (Москва, 1620) [Заб. Дом. быт-II, с. 242]; «...для крещенья дано ему государева жалованья... *пояс верхней* шелк лазорев з золотом, кисти шелк зелен з золотом ворворки низаны, цена рубль 28 алтын 4 деньги: *пояс нижней* тесма крушковая шелкова с оковы серебряными, цена рубль 15 алтын» (Москва, 1646, выпись) [Кабард.-рус. д., с. 174]. Женские пояса отличались от мужских меньшими размерами и большей нарядностью.

Слово *пояс* в одинаковой мере употребляется в письменных источниках любого содержания и отражено в словарях XVI–XVIII вв. [Пар. словарь, с. 152; Лекс. трезз., с. 508].

Распространен и деминутив *поясок*, не нашедший пока отражения в исторических словарях, – в письменности наблюдается с 1568 г. Слово имело значение ‘лента, шнур для завязывания на талии’, ‘тесьма, шнур для отделки одежды’, но контекстов, где бы отчетливо различались эти значения, очень немного: «*поясков* куплено на полчетверта алтына» (Волог. у., 1568, кн. прих.-расх. П-Обнор. м.) [РИБ-37, с. 6]; «8 *поясков* верхних шелковых, 6 сорочек» (Москва, 1611, оп. им.) [Заб. Дом. быт-I, с. 207]. С 1643 г. фиксируется деминутив *поясенко*. Обнаружен редкий вариант женского рода *пояска*: «2 сорочек кисейных белых, 2 *пояски* шелковых красных, 3 онучки» (Москва, нач. XVII в.) [Заб. Мат.-II, с. 47]. См. также в томских актах².

Рассмотрим и другие образования от корня *пояс-*: *опояска* (1577 г.), *подпояска* (1585 г.), *опоясченко* (1630 г.), *перепояска* (1682 г.), *запояска* (1691 г.). Слово *опояска* фиксируется во многих севернорусских и среднерусских текстах, реже отмечается в южнорусской письменности: «Кафтан ... шолк лазорев листки золоты *опояска* вязеная шелк червчат, по концом варварки золоты; фerezи... *опояска* вязена шолк зелен; ормяк... шолк червчат с золотом *опояска* литовская шолк дымчат» (Москва, 1577, оп. платья Ив. Гр.) [Заб. Дом. быт-2, с. 850, 851, 864]; «Взяли у наших монастырских крестьянишек... мошны с денгами и *опояски* с ножами» (Нижегород. у., 1629, отписка) [РИБ-2, с. 998]; «А с ним идет русского товару шестьдесят *поясков* нитных дватцет *поясов* шерстяных котовых десят *опоясокъ* пестрых московских» (Якутск, 1641, якут. а., к. 4, № 5, сст. 70) [КДРС]; «Куплено верховым нищим: Еуфиму Сухоному... *опояска* выбойчатая, пять алтын; Петру Григорьеву – *татаур* осмь алтын» (Москва, 1669, кн. прих.-расх.) [ДТП-III, с. 1301]; «А грабежем де взял... рукавицы, *опояску* с ножом и с мусатом» (Ворон. у., 1700, отписка) [Ворон. а.-I, с. 458]. Как видно из этих описаний, *опояска* как матерчатый пояс отличалась от ременных поясов, например *татаура*, и от обычного пояса меньшей длиной и шириной. Функциональное назначение *опояски* было также несколько иное, нежели пояса: *пояс* служил для подвязывания одежды и мошны, *опояска* – для подвязывания одежды, ножа и мусата (брусок для затачивания ножа).

В начале XVIII в. *опояска* фиксируется словарями: «Опоясало, *опояска*» [Лекс. трязз., с. 800]; «Опоясало – *опояска*, пояс» [Рук. лекс., с. 243].

Благодаря распространенности это слово приобрело деминутив *опоясченко*: «Епанчишко бела полстяная, *опоясченко* сине, 2 ножи, опоященко белое» (Москва, 1630, оп. им.) [Дон. д.-I, с. 327].

Приведем в заключение один характерный пример, оправдывающий существование слова *опояска* наряду с *пояс*: «Сняли гсдрь *пояс* с мошнею в мошне дватцат ал [тын] да нож с *опояскою*» (Белозерск, 1616, чел.) [РГАДА. Ф. 1107. Оп. 1. Ч. I. Д. 200. Л. 72].

Подпояска фиксируется исключительно в южнорусских письменных источниках и в определенной мере территориально противопоставлена *опояске*, распространенной на севере и в центре, а на юг проникшей только к концу XVII в.: «Купил Меншику Рожнову колпак, *подпояску*, ножи да рубаху» (Дорогобуж, 1585, кн. прих.-расх. Б. Дорогобуж. м.) [РИБ-37, с. 37]; «У Артема Вожева *подпояску* де с ножом и с мусатом оборвали» (Белгород, 1648, отписка) [АЮЗР, с. 181]; «2 *подпояски* гарусних длиною в арш.; *подпояска* шовковая тканая» (1690, рост им. Гетмана) [РИБ-8, с. 1079, 1195]. Эти примеры свидетельствуют о полной функциональной тождественности *опояски* и *подпояски*, семантической близости соответствующих слов³.

Отмечено слово *подпояска* в словарях XVIII в.: *подпояска* [Лекс. трязз., с. 469], *подпояска* ‘кушак, пояс’ [Рук. лекс., с. 286].

Лексема *перепояска* обнаружена в описании фигуры на кубке: «У мужика волосы и *перепояска* позолочены» (Москва, 1682, оп. им.) [Д. Шакл.-IV, с. 33]. Можно предполагать, что как специализированное название пояса слово *перепояска* не использовалось.

Запояска зафиксировано в одном воронежском документе: «Скрыня а в ней *запояски* синяя да зеленая» (1691, А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, № 492, 5) [СлРЯ XI–XVII вв.-V, с. 277]. Позднее *запояска* ‘широкий матерчатый пояс для верхней одежды, кушак’ встречается в псковских и томских говорах [СРНГ-X, с. 351].

Назовем также архаично-книжное *препоясание* ‘тип набедренной повязки, пояса или одежды’, обнаруженное в текстах религиозного содержания: «Мужа оставити в гащах облъчены, жены

ж въ *препоясаних* оставить» (XVI в., ВМЧ, апр. 22–30, 289) [КДРС]; «И тако възлязи на постели своей, имуще *препоясание* по чреслех» (XVII в., Предание старца, 566) [КДРС]; «*Препо-ясание* у того пояс подложено ремнемъ яловичным на конце пря-жа железная» (1696, оп. Холмогор. ц., № 94, л. 30 об.) [КДРС]. См. более ранние примеры: [Срезн.-II, 1683].

Тюркское по происхождению слово *кушак* ‘верхний пояс из ткани, повязываемый на рубашку или верхнюю одежду’ отража-ется в письменности с 1489 г., оно уступает лексеме *пояс* по упо-требительности и словопроизводственной активности. *Кушак* был предметом общесословного употребления. Слово *кушак* отмечено только в деловой письменности, оно было общерусским и нашло отражение в лексиконах XVI–XVIII вв.: «*кушак*, зри пояс» [Пар. словарь, с. 79; Лекс. трыз., с. 345]; «*кушак* – опояска, пояс» [Рук. лекс., с. 160]. Предположение Р. А. Юналеевой о более частом употреблении лексемы в памятниках южновеликорусской письменности не находит подтверждения в письменных источни-ках. Ср. не подтвержденное фактами мнение о первоначальном употреблении *кушака* в царско-боярской одежде⁴.

Деминутив *кушачишко*, имеющий уменьшительно-уничижи-тельный оттенок, фиксируется редко, в письменности наблюдает-ся с 1598 г. (ср. с 1622 г. [СлРЯ XI–XVII вв.-VIII, с. 153]): «В сундуке... фата да *кушачишко* бумажное» (Астрахань, 1598, досмотр) [Рус.-кавк., с. 328]. Но обнаружено в текстах слово *ку-шачек* в значении ‘кушак, пояс’. По нашему мнению, ошибочно видеть такое значение в примере: «Летникъ *кушачекъ* шолковъ вошвы отлась по лазеревой золотной земли» (XVII в., оп. кн. Мстисл.) [СлРЯ XI–XVII вв.-VIII, с. 153], так как здесь *куша-чек* не обозначает предмета одежды, а является названием шел-ковой кушачной ткани, из которой сшит летник. *Кушак* ‘разно-видность ткани’ широко известно в старорусском языке [СлРЯ XI–XVII вв.-VIII, с. 152].

В текстах первой половины XVII в. среди названий одежды наблюдается слово *полукушачье* ‘кушак небольших размеров’, значительная часть таких употреблений связана с Казанью, может быть, эта разновидность кушаков была заимствована у казанских татар: «3 рубашонка малых, кушачишко бумажное.., однорядка гвоздичная лундышна, *полукушачье* шелковое» (Казань, 1622, до-прос) [ЧОИДР-IV, с. 99]; «Казанец Иван Андреев явил товару... 4 *полукушачья* бумажные» (В. Устюг, 36) [ТК-I, с. 187].

Слово *гачник* ‘пояс для подвязывания штанов, шнурок, пропущенный в опушке штанов’ образовано от праславянского *гачи* ‘штаны’: «А взял... двенатцать коп грошей да *гачник* на тясме на червчяте, кован серебром» (1489г.) [Польск. д.-I, с. 33]. Семантика слова *гачник* ‘разновидность нижнего пояса’ ярко видна в следующих примерах: «Дано им по кресту с гайтаном, по рубашке с штанами, в штанах по *гачьникуу*» (Азов, 1700, роспись) [Ворон. а.-XII, с. 1169]; «Носят они штаны, которые наверху набором собраны на *гашнике*, а по произволению возможна их содвигат» (кон. XVII – нач. XVIII вв., Опис. Москов. с-ва) [Срез. Опис. рук., с. 462]. В письменности XVI–XVII вв. слово отмечается редко. Может быть, сказалась конкуренция наименования *пояс* с более общим значением, что привело к быстрой архаизации лексемы *гачник* и закреплению ее в некоторых русских говорах [СРНГ-VI, с. 155]. В отличие от распространенных по всей России поясов тканых или шитых в ряде мест использовались ленты ткани, отрезанные по краю куска, это были пояса простолюдинов. Они имели местные названия с легко выявляемой внутренней формой: *кромка* (Тарнога, Вага); *покроть* ‘мужской пояс’ (Тарнога, Свирь); *покроть* ‘женский пояс’ (Рязань, Воронеж); *покромишко* ‘мужской пояс’ (Москва, Белозерск), например: «Сорвали они грабежом с меня... *пояс кромку* и мошню з денгами поясу цена 10 денег» (Тарнога, 1644, явка) [АХУ-II, с. 738]; «Похватили у нас в избе платья... да *покроть* мускую голубу; 6 ширинок полотняных синих да 7 *покромей* муских багрецовых» (Тарнога, 1602, явка) [АХУ-II, с. 539, 540]; «Зипунишко... да *покромишко* черлено мошнею» (Белозерск, 1615, память) [РГАДА. Ф. 1107. Оп. 1. Ч. I. Д. 166. Л. 12]; «Рухляди атамана... рубашка да портки безинные белые, *покромишко* красное» (Москва, XVII в.) [Дон. д.-I, с. 324]; «...*покроть* черчетая кодман» (Воронеж, у., 1675) [ГАВорО. Ф. 182. Оп. 3. Д. 134. Л. 14]. См. также цитату из литературного текста общерусского распространения: «Сороко-отцов еси снь, рогозанная свита, холщевы портки, мочальная *покромца*, войлучная шапка» (XVII в.) [Сказ. мол. дев., с. 84].

Таким образом, слово *покроть* не было в полной мере южно-русским диалектизмом, как об этом писали некоторые исследователи⁵, южнорусский характер оно имело только в значении ‘женский пояс’. В отличие от *покроми* слово *кромка* было узколокальным. Кстати, в указанном значении оно не отмечено историческими словарями, нет его и в картотеке СРНГ.

В томских актах XVII в. выявлено локальное слово *тасма* 'ремень'⁶, может быть, это прямое заимствование из соседних тюркских языков, где *tasma* 'ремень, кожаный пояс' [Фасмер-IV, с. 26]. В то же время в московских актах второй половины XVII в. известно *тесма* 'пояс': «Царь... по кафтану подпоясан *тесмою*, по ней запоны золоты» (1651) [Посольство Толочанова, с. 139]; «А на государе было платья кафтан... *тесма* меньшая, опашень; а на великом государе было платья... зипун тафта бела, *тесма* с крюки золотыми» (Москва, 1675) [Выходы цар., с. 192, 605].

Рассмотрим уникальный пример употребления уменьшительно-го образования *натрусченко* от *натруска* в сказке 1649 г. из Шуи, где описывается одежда найденного в лесу мертвого охотника: «Платье на нем кафтанишко сермяжное смуро худенько, а рубашенко да порты да штанишки серые, онучишки серые худые ж, *на трусченко поясенко жиченые*, лаптей и креста на нем нет» [Стар. а. Шуи, с. 115]. Судя по выражению *на трусченко поясенко жиченые*, существительные здесь называют предметы, сделанные из шерстяной ткани, причем с близкими функциями. Известно, что восточносибирское *натруска* 'ремень, к которому привешивали все необходимые принадлежности охоты' [Даль-П, с. 486]. Документ, из которого взята цитата, опубликован издателем с ошибкой в словоразделе: *на трусченко* вместо *натрусченко*.

Остановимся на двух названиях кожаных изделий: *татаур* и *ремень*. *Татаур* – заимствование из монгольского [Фасмер-IV, с. 27], имеет значение 'ременный пояс с металлическими наконечниками': «А сыну моему князю Ивану поясъ золотъ *татауръ* да два ковша золоты по две гривенки» (1389, дух. Дм. Ив.) [Срезн., с. 925]; «А кушаками не подпоясываютца, а подпоясываютца *татаурами*, наборные, серебряные» (1651) [Посольство Толочанова, с. 111]; «Куплен неимущему Петру Григорьеву... *татауръ* менной» (Москва, 1670, кн. прих.-расх.) [ДТП-III, с. 841]. В старорусский период слово отмечено в Москве, Тихвине, Онеге, Валдае, Устюге, Якутии. Позднее отмечается в виде *катаур* 'ременный пояс, мужской пояс' в астраханских говорах [СРНГ-XIII, с. 126].

Деминутив *татаурец* 'монашеский пояс' дополняет сведения о семантическом объеме слова: «*Татаур* ременной шитой. Четыре лествицы ременные. *Татаурец* маленький шитой же» (1658, кн. ирих.-расх. казны Никона) [ВОИДР-XV, с. 117]; ср.: «*Татаур* – стар[инное], а ныне *катаур* – широкий, иногда шитый золотом, боярский пояс, пояс священников, монахов» [Даль-IV, с. 392].

Древнее общеславянское *ремень* [Фасмер-III, с. 468] стало выступать со значением 'пояс для одежды, кожаная лента для связывания на талии' с начала XVI в. До этого *ремень* фигурирует в текстах с довольно близким значением, называя лишь часть пояса: «А сыну моему князю Юрю поясъ золоть новый съ камнемъ съ жемчюгомъ безъ *ремени*... Поясъ золоть съ ременемъ» (1389, дух. Дм. Ив.) [Срезн.-III, с. 114]. А вот одно из первых употреблений в значении 'пояс': «Любим ово ризы устькляны, ово же одежда украшены, и *ремениа*, и ножевы, калигия, и чехлы» (Волоколамск, 1514, устав м.) [Послания, с. 307].

В XVII в. получают распространение пояса из кожи, владельцы которых не всегда могли позволить себе драгоценную пряжку на поясе или дорогие металлические концы и бляхи, и главной частью пояса становится ремень, а слово *ремень* – названием всего предмета. Ремень из кожи стал прежде всего поясом простолюдинов наряду с *пояской* и *перепояской* – поясами из ткани. Остается лишь добавить, что все известные пока употребления слова *ремень* в указанном значении относятся к восточной части севернорусской территории, причем *ремень* выступает здесь вместо слов *пояс*, *татаур* и *через* 'ремень с полостью для денег': «Грабежом взяли... чюлки с ног в гривну да в *ремне* сняли полтретя рубли денег» (В. Устюг, у., 1632) [АХУ-II, с. 361]; «Да купил *ремен* с пряжею» (Тотьма, 1655, кн. прих.-расх. сол. пром.) [ГАВО. Ф. 512. № 46. Л. 37]; «Да на мне ж был *ремень*, а в *ремне* было денег семь рублей» (Яренск, 1666 г.) [Изв. ОРЯС. 1852. т. 2. С. 254]. В начале XVIII в. *ремень* 'кожаный пояс' включается в словари, например: «*Ремень*, ремнемъ опоясанъ» [Лекс. трезяз., с. 618].

Таким образом, названия поясов имеют длительную историю в русском языке. В XVII в. в связи с развитием ремесел увеличилось количество разновидностей поясов, а соответственно и их наименований. На основе внешнего и функционального сходства поясов разного типа возникает семантическая близость отдельных наименований, в частности нижних поясов. Вместе с тем каждое новое слово стремилось семантически обособиться от лексемы *пояс*, выполняящей часто функции общего именованя.

Жанрово-стилевая дифференциация мало свойственна этой группе слов: в книжно-архаичных контекстах наблюдается *препоясание*, во всех видах текстов употребляется лексема *пояс*, остальные же слова известны только в деловой речи.

Некоторые наименования имеют территориально ограниченный характер: в севернорусских источниках обнаружены *кромка*, *натрусченко*, здесь впервые употреблено *ремень* 'пояс'; севернорусским и среднерусским актам свойственны слова *поясок*, *пояска*, *опояска*, *татаур*, *покроть* 'мужской пояс', на южнорусской территории зарегистрированы *запояска*, *подпояска*, *покроть* 'женский пояс'.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Судаков Г. В. Лексикология старорусского языка. – М., 1983. – С. 5–6.

² Палагина В. В. Томские таможенные книги как источник реконструкции лексики разговорной речи первой половины XVII в. // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. – Новосибирск, 1978. – С. 123.

³ Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв. – М., 1970. – С. 178.

⁴ Юналеева Р. А. Опыт исследования заимствований (тюркизмы в русском языке сравнительно с другими славянскими языками). – Казань, 1982. – С. 91.

⁵ Борисова Е. Н. Из истории некоторых слов бытовой лексики (на материале рязанских памятников XVI–XVII вв.) // УЗ Балашовского ПИ. – 1956. – Т. I. – С. 141; Хитрова В. И. Семантические диалектизмы в воронежской деловой письменности XVII в. // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1974. – С. 156.

⁶ Палагина В. В. Томские таможенные книги как источник реконструкции лексики разговорной речи первой половины XVII в. ...

4. СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В XVII ВЕКЕ: ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЗАИМОУСЛОВЛЕННОСТЬ

Выбор источников, достаточно содержательных для эффективного филологического исследования, играет важную роль. Наиболее благоприятные возможности такого рода начинаются при обращении к источникам второй половины XVI в. и более поздним: здесь можно подобрать тексты, многообразные в жанрово-стилевом отношении и связанные с разными русскими территориями. Обследование большого массива текстов позволяет

достаточно полно изучить историю любого слова в его фонетико-грамматических и лексико-семантических вариантах, его стилистическую и функциональную зависимость от текста. Как важен учет разнохарактерных текстов для анализа слова показывает следующий отрывок из сугубо богословского трактата Юрия Крижанича «Смертный разряд» (XVII в.), в котором значительное место уделено спору о том, какой хлеб следует использовать при причастии: пресный или квасной, см.: «Общено адда име ест Хлеб, а уделна пак имена есут: *Коврига, Бохан, Колач, Кулич, Краваица, Сайка, витушка, обаренец, вертан*. И по другому обзору уделна же имена: *Пшеничник, Рженик, ячменник, овсеник, просеник*. И по тритем обзору уделна же: *Оприснец, кваснец, погача, парник*»¹. Подобного перечня разновидностей печеного хлеба, да еще с готовой классификацией по трем критериям нет даже в деловых текстах.

Обычно лексику предметно-бытовой сферы (названия построек, одежды, утвари, пищи) изучают по текстам делового или историко-повествовательного содержания: данные тексты характеризуются значительной предсказуемостью употребления бытовой лексики, в то время как художественные и религиозные тексты отличаются случайностью появления слов бытовой сферы. Деловая письменность позволяет быстро собрать массовый материал, но без учета литературно-художественных и религиозных текстов мы не получим полного представления о функционировании слова в русской речи соответствующей эпохи, о всех нюансах его семантики и стилистики. Нужно принять во внимание и возможную активизацию именно литературно-художественной деятельности общества в отдельные периоды, активизацию, обусловленную социально-историческими причинами. Так, для XVII в. было характерно расширение социального состава пишущих за счет мирян разных чинов и сословий, увеличение объема литературной продукции («эпоха молчания сменилась эпохой русского многоглаголания»), появление новых родов литературы: поэзии и драматургии².

Задача оценки литературно-художественных текстов XVII в. как источника по исторической лексикологии актуальна и потому, что за последние десятилетия значительно увеличилась источниковая база истории русской литературы XVII в. благодаря изысканиям и публикациям сотрудников Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома), Института русского языка РАН. Значительные по объему и содержанию тексты опубликованы

в «Трудах отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН». Эти новооткрытые или впервые изданные тексты в большинстве своем еще не введены в лингвистический оборот.

Оценим более подробно литературно-художественные тексты XVII в. как источник по истории лексики, обратив внимание на особенности употребления в них бытовой лексики.

1. Расширение социального состава авторов, демократизация содержания литературных произведений привели к тому, что в текстах появились упоминания о таких конкретных деталях внешнего вида, качествах, свойствах, хозяйственных функциях бытовых предметов, которые не названы даже в деловых документах.

Одно из назначений *поветей*, как укрытия для скота в непогоду, раскрыто в следующей фразе из произведения Аввакума «О сотворении мира»: «и коровы болши знают вас, пред погодою визжат, да ревут, и под *повети* бегут» [РИБ-39, с. 683]. Упоминаются в литературно-художественных текстах *полати* 'навесная площадка под потолком избы для отдыха и сна', более 15 раз это слово повторяется в «Службе кабаку», см. также в «Повести о Шемякиной суде»: «Убогий же прииде к тому же попу и, пришед, ляже у него на *полати*. Убогий же нача с *полати* смотрети, что поп з братом его ест, и урвася с *полатей* ка зыпку» (II пол. XVII в.) [Сатира 17 в., с. 17]. Походные жилища турецких воинов описывает автор поэтической «Повести об азовском осадном сидении в 1642 г.»: «И почали они, турки, по полям у нас *шатры* свои турецкия ставить. И *полатки* многия, и *намети* великия, и *дворы* болшия *полотняныя*, яко горы высокия и страшныя забелелися» (к. XVII в.) [ВПДР, с. 61]. Функция заднего крыльца как местонахождение нужника характеризуется в «Повести о боярыне Морозовой»: «Великой убо Феодоре изшедши на *задней крылец*, *идеже исходят на нужную потребу*» (с. 138).

Разнообразны бытовые описания в таких произведениях демократической сатиры, как «Сказание о роскошном житии и веселии», «Повесть о Горе-Злочасти». Однако описание трапезы с перечнем иноземных блюд мы найдем и в историческом «Сказании о даре шаха Аббаса России»: «на трапезе же *простыя снеди* тогда поставляются: *ивхарь, сиречь икра черная или красная, какова прилучится, да три варения с маслом: крамбия да лапша*

сочивная. Да каша соковая, да квас от меду» [ТОДРЛ-28, с. 384]. Бытовые предметы и их функции называет Карион Истомин в стихотворном «Домострое» 1696 г.: «Воду, *платенцо, лохань* же и *мыло* умыти лице неси, чисто б было... Домовладыкам когда час обеда, служащим блюсти чиннаго в нем следа: Осмотрети *стол, скатерть белу* слати, *хлеб, соль и лжицы, тарели* собрати» [Рус. силлаб. поэзия, с. 207, 208],

2. В XVII в происходит бурный процесс обновления лексики: вовлечение в письменное употребление новых слов и выход из обихода устаревшей лексики³. Так, в списке XVII в. «Повести о купце» употреблено слово *квартира* – *квортера*: «Купец же похлонися и поиде до *квортеры* своя... Купец же приидоша до *квартиры* своей» [Пов. XVII в., с. 132]. СлРЯ XI–XVII вв. иллюстрирует это слово примерами из повестей о Савве Грудцыне и Фроле Скобееве по спискам XVIII в. [СлРЯ XI–XVII вв.-7, с. 103].

Одним из источников новой лексики были местные говоры, что нашло отражение в художественных текстах. Диалектные слова *укруха* – *укруга* ‘род напитка’ и *кут* ‘часть сельской усадьбы’ встретились в «Сказании про храброго витезя про Бову каралевича»: «И рече Пилигримъ государь мой храбрый витез Бова королевичъ яз пью *укруха* а тебе государь дамъ тожъ *укруги* и старецъ почерпнулъ чашу *укруги* и уклонился всыпаль усыпляющаго зелья и далъ Бове и Бова выпилъ ... И скочилъ Бова ... и почель мужиковъ рубить от дверей и до *куту* мужиковъ порубиль да и вонъ пометаль» [Сказ. про Бову, с. 61, 73]. Территориально ограниченное слово *зимовье* употреблено в «Житии протопопа Аввакума» (по сп. около 1673 г.): «в дождь прилучилось, одежды не было, а *зимовье* каплет, – всяко мотаемся... той мужик близ моего *зимовья* привел барана живова» [Изборник, с. 645, 646].

Благодаря широкому употреблению в одном и том же тексте синонимических соответствий разной структуры (слово – словосочетание – описательное выражение), в литературных произведениях может быть зафиксирован процесс трансформации составного наименования в одно слово, например, *богадельная изба* – *богадельня, темная полата (полатка)* – *темница*: «Марта в 24 день о Покровки из *богадельные избы* старица Агафья сказала, сказали у них в *богадельне* сего дни, что от государя патриарха будет к ним в *багаделне* власть з господнею ризою»

[Документ. сказ. о даре, с. 267]; «У Николы на Угреше сежю в *темной палате*, весь обран ж пояс снят со всяцем утверждением, и блюстителя пред дверьми и внутрь *полаты*... Писано в *темнице* лучинкою, кое-как» (письмо к сыну, 1666 г.) [Три соч. Авв. с. 262, 263]; «По сем свизли меня паки в монастырь Пафнутьев и там, заперши в *темную полатку*, скована держали год без мала... И притече ко мне с келейником ночью в *темницу*, – идучи говорит: “Блаженна обитель – таковыя имеет *темницы*! Блаженна *темница* – таковых в себе имеет страдальцев”» (Жит. пр. Авв., ок. 1673) [Изборник, с. 657, 658].

Определенная часть текстов морально-назидательного и религиозного содержания избегала конкретных наименований, в них предпочитались описательные обороты, например: «показася ему демон во *гнусной кухнарской окоптелой одежде* ...показася во храмине, идеже сидит, слуга его, имея *одежду такову, иже от дождя употребляют*» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 247, 314]. В деловой письменности той поры мы находим указания на то, что в качестве кухонной одежды употреблялись *балахоны*, а верхняя одежда от дождя называлась *емурлук*⁴. Иногда отсутствие в художественных текстах однословных наименований свидетельствует об отсутствии или редком употреблении данного слова в языке XVII в., см., например, составные наименования со значением ‘мирское помещение для приема пищи’ (ср. *трапезная* – в монастыре): «и в год его царского обеда дверем сущим отверстым *палаты тоя, идеже кушал*, всякому внити невозбранно повелевая, тогда во множестве иных в *столовую* ону *полату* вниде Мартин Лютор» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 404]. Слово *столовая* зафиксировано нами только дважды в великоустюгских актах XVII в.

Художественные тексты способствуют вовлечению в письменный обиход из разговорной речи уменьшительных образований с эмоционально-оценочным значением, например: «В четвертое же лето сын отца и мать подущением жены отлучиша во особый *домок* ... “Аз убо днесь насыщуся от скудных брашен, иже в *домишку* нашем суть”... Отец же, видев, что бысть, ничто же рек, в *домик* свой возвратися» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 242]. Чаше встречаются уменьшительные образования в текстах, близких к народно-разговорной речи, так, в «Житии протопопа Аввакума» зафиксированы слова *хлебец* (наряду с более частым *хлеб*), *кафтанишко* (и *кафтан*), *шубенко* (чаще *шуба*), *молочко*, *ветчинка* и др.

Хотя и редко, но именно в художественных текстах вероятнее всего употребление архаичных для XVII в. слов, что вполне объяснимо: «единство древнерусской литературы на всем протяжении развития с XI по XVII в. обеспечивало и единство традиции древнерусского литературно-письменного языка вплоть до середины XVII в.»⁵, в частности, повторяемость отдельных элементов лексической системы. Так, слово *сакк*, архаичное для XVII в., употребил С. Полоцкий в своем «Ряфмологионе»: «Ныне ты нам царь Христом утвердился, венец на главу ти егда взложися... И внемгда царским *сакком* украсися и порфирию сияшь явися» [Полоцкий, с. 156]. Во «Временнике» И. Тимофеева употреблено редкое слово *теплица* наряду с обычным для XVII в. *баня* (употреблялось также слово *мыльня*): «Но обычай баше новобрачным ради измования тела в *баня* входити; и по совокуплении того с своею купно з госпожею и женою вниде той предиреченный отрок в *теплицу*. Но зде страх, зде трепет! Дивно чудо содеяся, тогда, внемгда отрок вниде в *баню*» (1616-1619 гг.) [Вр. Тимофеева, с. 99].

В тексте «Великого Зерцала» употреблено слово *кана* «шапка», которое иллюстрирует одним примером из «Повести о Дракуле» 1490 г. (СлРЯ XI–XVII вв.-7, с. 61). См. наш пример: «Господин же вопроси: “Аще еси в муках, то како сию чюждую одежду носиши?” Он же отвеща: “*Кана* сия, юже зриши добровидну и чюдну, толикую дает мне тягость, яко башня пинарийска, аще бы на мя возложена была”» (с. 315, к. XVII в.). В связи с этим примером обратим внимание на отсутствие в языке той поры наименования *головной убор*, вместо которого в деловой письменности употреблялось слово *шапка* во множественном числе, а в книжных текстах, как видно из примера, – *одежда*. См. еще пример из сказочной «Повести об азовском взятии и осадном сидении»: «обвертеша главу во *одежду* ево» (к. XVII в.) [ВПДР, с. 102].

3. Встречаются в литературно-художественной речи малоупотребительные и окказиональные слова, например, *хлеботворница* вместо обычного *хлебня*: «Его же ради тружаются, работающе в *хлеботворницах* и поварни» (I пол. XVII в.) [Жит. Сераниона, с. 157]. Встречаются подобные слова в «Вертограде многоцветном» С. Полоцкого: «И ял есть бобом токмо онаго питати, Сам же сладная тайно о женою кушати... Сын, восхитив то брашно, во *скров* сохранил есть» (1664-68 гг.) [Рус. силлаб. поэзия, с. 25]. Индивидуально-авторские окказионализмы встречаются и в фольк-

лорных записях конца XVII в.: «Приехали ис поля добрые молодцы его удалые, привезли, *питеры* и *едеры* всякие. Проговорит Иван Годинович: “Не надобеть мне ни *питера* ваша, ни ества сахарная”» [Былины, с. 196, Иван Годинович].

4. В литературном языке XVII в. наблюдается закреплённость отдельных слов за тем или иным типом контекста. В литературно-художественных текстах, тяготеющих к старокнижным традициям, предпочитают слова с обобщённым значением. Так, из названий жилых построек в книжно-письменной речи предпочиталось слово *храмина*, которое легко заменяло собою многие другие названия (*богадельня*, *дом*, *хоромы*, *хижа* и т. п.): «в *домы* их и в *богадельни* ходили... живут в *домех* и в *храминах*» [Документ. сказ. о даре, с. 266]; «И проводиша их в *хоромы*, а сам лег на дворе. Он же в *храмине* спаша с царевною своею» [Пов. XVII в., с. 135, Пов. о купце]; «никогда смеяли внити в *дом* сына своего... прилучи матери сидети противу *храмины* сыновнию, узре во *храмине* его пряжена гуся; священник же повеле, да вси сущии в *дому* его изыдут... И егда точию челоvenceы из *храмин* изыдоша» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 242, 316]. Слово *храмина* ‘жилище вообще’ встречается в стихах, повестях, временниках.

В религиозно-художественных сочинениях пустозерских узников употреблено слово *хижа* в общевиновом значении ‘постройка’: «сидящу ми в *темнице* принесоша ми просвиру... И на ину ночь един бесъ в *хижу* мою вошедъ» (Жит. Авв.. 1675 г.) [Пустоз. сб., с. 70–71]; «...внидох в *хижу* мою и возлегъ опочинути, и скоро отворишася двери *избы* моя» (Жит. Епифания, 1675 г.) [Пустоз. сб., с. 116].

Только в литературно-художественных текстах отмечены специальные наименования помещений для сна: *ложница* – *постельная храмина* – *постельная*, из которых чаще всего употреблялось слово *ложница*. См., например: «Муж же нача в совести убодаться и помышляя о жене, яко некто есть на ложи, и вскочи напрасно и удари *ложницы* в двери и отвори скоро» [Вел. Зерцало, с. 212]; «по отшествии же стола того сидящу ему в *ложницы*, и внезапно ... падъ издше» (Пов. Шаховского) [РИБ-13, с. 864]; «у святителя государя в *ложнице* была» (Книга толкований, к. XVII в.) [Ж. пр. Авв., с. 153]; «по отшествии стола того мало времени минувшю, царю же в *постелной* своей *храмине* сидящу, и внезапно случися ему смерть» (Пов. Катырева-Ростовского) [РИБ-13, с. 574]; «Княгиня же отиде в чюлан, иже устроен в той

же *постелной*...; вниде в *постелную* дерзьско и виде ю возле-
жашу» [Пов. о Морозовой, с. 134].

Анализ употребления слов предметно-бытовой сферы, предпочитаемых в книжно-письменной речи, показывает, что выбор их обусловлен не образностью, а обобщенностью семантики, способностью выступать не только в роли наименования конкретного предмета, но и символа чего-либо. Симеон Полоцкий, например, из названий человеческого жилища предпочитает слово *дом* (*дом* – 56 употреблений, *палата* – 10, *жилище*, *чертог* – по одному), из названий одежды – *венец* и *риза* (*венец* – 37, *риза* – 17, *одежда* – 13), из названий съестных припасов – *хлеб* (*хлеб* – 26, *пища* – 7, *брашно* – 4, *снесь* – 1; подсчитано по изданию: [Полоцкий С. Избр. соч. М.; Л., 1963]. Из родовых названий одежды для книжно-письменной речи более свойственно слово *одежда*, в то время как в деловой письменности предпочиталось слово *платье*. Так, в поэтических текстах XVII в., представленных в сборнике «Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв.» (Л., 1970), слово *одежда* встречается 12 раз, далее до употребительности *риза* в значении ‘одежда’ – 8, *одеяние* – 2, *платье* – 2, причем один раз во фразеологическом выражении *черное платье* ‘монашеская одежда’. С другой стороны, в книге выдачи платья и обуви старцам и работникам Спасо-Прилуцкого монастыря 1627 г. [ГАВО. Ф. 883. Д. 90] употребляется в качестве общего названия только слово *платье*, синонимические соответствия к нему отсутствуют. Однако и художественные тексты неоднородны по своей языковой основе, так, в «Житии протопопа Аввакума», близком к народно-разговорной речи, слово *платье* употреблено 7 раз, а *одежда* – только в одном случае.

В книжных текстах, отмеченных печатью архаизации, авторы использовали вместо общерусского разговорно-литературного *ону-ча* выражение *плат обувной*, см. пример: сандаleyца со *обувными платами* (1616 г.) [Вр. Тимофеева, с. 51].

Книжному слову *брашно* с довольно широкой семантикой в деловой письменности соответствовали слова *хлеб*, *корм*, *ества*, *харч*, например: «сон умерен, седение на трапезе со благочинием, *брашном* малом питался, а не чревообъядением» (Пов. Шаховского) [РИБ-13, с. 842]; «... да причастятца *брашну* от трапезы их» (Пов. о Марфе и Марии) [Пов. 17 в., с. 52]; «Щил же моля его дабы *брашна* вкусил на его трапезе» (к. XVII в.) [Пов. о Щиле, с. 146]. Ср. в пословице XVII в.: «По пашне и *брашно*» (с. 37), что не опро-

вергает мнения о книжном характере этого слова, так как одним из источников пословичного фонда была и книжная письменность.

Наряду со словом *брашно* в художественных текстах выступает слово *ядь*. Так, в тексте «Великого Зеркала» по списку конца XVII в. оно употреблено одиннадцать раз при полном отсутствии слова *пища*, например: «Гордостна же зело; вкушала златыми вилками со драгоценным камением, *ядь*, не прикасяся руками, во уста своя влагала» (с. 225); «возми у меня некий порошок и потруси во *яди* его, и егда вкусит, к тому ты озлобляти не будет» (с. 309); «... принесоша изрядну и сладчайшую *ядь* с мигдалы и дактилы и со иными присмаки, бе же зело горяча» (с. 312).

Книжники старорусского периода пользовались разными языковыми средствами вполне сознательно, свободно меняя книжную манеру изложения на разговорную. Что же касается отдельных слов, то их выбор определялся общим лексико-семантическим и стилистическим фоном контекста. Стихийное одновременное употребление церковно-книжных фразеологизмов и разговорных синонимов встречается в изобилии у Аввакума, см.: «Потчивают друг друга *зелием неразтворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочими питии*» (1672) [Жит. пр. Авв., с. 182].

5. В совокупности лексических значений слова можно выделить контекстуально связанное значение, то есть проявляющееся только в контекстах определенного содержания и известных стилистических качеств. Так, только в художественных и религиозных сочинениях у слова *риза* многочисленными случаями употребления представлено родовое значение 'одежда', причем для обозначения специальной одежды духовных лиц в этих случаях используются другие наименования: «совлече с нево *мнишеское одеяние* и облече ево в *светлые ризы*» (Пов. Катырева-Ростовского) [РИБ-13, с. 569]; «отец паче инех чад своих любляше, яко бяше красна и лепа телом, и сотвори ей воскресную и богату *одежду*... девица же *ризы же красныя* отверже» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 324–325]; «егда же зима настаяше, у детей своих взимаше сребреницы, чим устроити теплыя *ризы*, и то нищим раздаяше, а сама без теплыя *одежды* в зиму хождаше» [Пов. об Улиянии, с. 301].

6. В художественных текстах благодаря вышеотмеченным свойствам (см. пп. 4–5) употреблялись синонимические ряды с определенным кругом синонимов, своеобразный характер носила и сама синонимия. Поскольку синонимичность художественным текстам свойственна в значительной степени, то уже в XVII в. литературно-

художественные тексты начинают все чаще выступать в качестве лаборатории семантико-стилистических экспериментов.

Преимущественно для книжной речи были свойственны такие синонимические ряды: *чертог* – *обиталище* – *полата* – *дом* – *жилище*; *одежда* – *одеяние* – *портище* – *риза*; *брашно* – *снесь* – *ядь* – *ястие* и т. п., причем все эти слова характеризовали предмет весьма обобщенно и отвлеченно: «Вся от главы и до ног в черное *одеяние* облек, сообразны же *одеждам* их и коня им своя имети повелел» [Вр. Тимофеева, с. 13]; «Узреша же и *палаты* всезлатыя и *чертоги* пресветлыя... Внидоша же в великий *дом*, предивно убранный, и престол в нем великий узреша. Тогда провожатый рече: “Сицевое пресветлое *жилище* и воскресное пребывание уготовано царю Рабфоду”. Диакон же видя удивися, помышляя, кыя ради правды такое *обиталище* царю непросвещенну уготовано» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 385]; «а егда пред обедом “Отче наш” проговорю и *ястие* блгословляю, так тово *брашна* и не есть» (Жит. Авв., 1675 г.) [Пустоз. сб., с. 64].

Если в деловой письменности представлен синонимический ряд *постель* – *кровать*, то в книжно-литературных текстах зафиксирован другой набор синонимов: *ложе* (*ложа*) – *постель* – *одр*, см., например: «...потом повеле их вести на *ложу* спать... Ежели в другой раз вздрогнет, то ты сойди с *постели* и стань на мое место, а я возлягу на *одре* с нею» («Повесть о купце») [Пов. 17 в., с. 133].

Широкое употребление синонимов в литературно-художественных текстах – весьма важная особенность, позволяющая с опорой на восприятие носителей языка определенной эпохи устанавливать семантическое тождество слов, например, таких, как *престол* – *место престольное*, *кабак* – *корчма*: «Повеле же сотворити ров великий и повеле угля горящаго до половины насыпати и над тем рвом поставити *престол* ветхий и струхлявый... Призвав же брата и посади его на оном ветхом и струхлявом *месте престольнем* над оным углем» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 218]; «Яко хто на *корчме* бытен пьет, всяк его хвалит в те поры, кое у него видят и пьют, а жити про собя на *кабаке* и не пити, яко в век скупому лают и хотят вси с одного ограбит» («Служба кабаку», 1666 г.) [Сатира 17 в., с. 45].

Борьба двух тенденций в литературных текстах: книжной отвлеченности и конкретности разговорной речи – актуализировала такое явление как контекстуальная синонимия родового и видового наименования, например, *хлев* и *овчарник*, *хлевина* и *свинарь*:

«С волками – кто видал? – агнцы коли водворяются во един овчарник? И на поле от волка бегают овцы, а в одном хлеве и один волчищо сотню ягнят передавит» (Авв.) [РИБ-39, с. 822], «Аще хощещи, да скоро в *хлевину* свинии внидут, зови тако свински дважды: тако скоро входите во *свинарь*, яко же стряпчий и суди входят во ад» (к. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 240].

Следует учесть и такую особенность литературно-художественного текста, заимствованную из устной народной поэзии, как синонимические повторы, цель которых – усилить эмоционально-смысловое напряжение. Слова, входящие в эти повторы, воспринимаются авторами как близкие по смыслу, и, вероятно, они были таковыми в XVII в. Например: «...Нагих розсылает по городом по низовским в *темницы* и в *заточение*. Народъ поимаша Борисова сына Федора и мать его Марию во царских *хоромах и полатах*» («Сказ. о Гришке Отрепьеве») [РИБ-13, с. 730, 733].

Книжная письменность Московской Руси XVI–XVII вв. дает богатый материал для анализа соотношения разговорных и книжно-письменных элементов в составе литературного языка, эволюции книжно-славянского типа языка, развития народно-литературного типа в повествовательной литературе, увеличения проницаемости границ между разновидностями литературного языка и между разговорной и литературной речью, а также для уяснения закономерностей семантико-стилистического развития русской лексики в начальный период становления норм национального выражения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по статье: Гольдберг А. Л. О «Смертном разряде» Юрия Крижанича // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1974. – М., 1975. – С. 100.

² История русской литературы. – В 4 т. – Л., 1980. – Т. 1. – С. 292, 293, 296, 313.

³ Мещерский Н. А. История русского литературного языка. – Л., 1981. – С. 127–128.

⁴ См. подробнее: Судаков Г. В. Лексика одежды в севернорусских актах XVII в. // Лексика севернорусских говоров. – Вологда. 1976. – С. 57, 58.

⁵ Мещерский Н. А. История русского литературного языка... С. 19.

5. ДИНАМИКА ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ И РЕЧЕВЫХ ТРАДИЦИЙ ЭПОХИ

Культура повседневного общения имеет национальную специфику, отражает менталитет и традиции народа. Ярко предстает перед нами тот или иной этнос в зеркале национального застолья. Ведь любой народ в еде очень зависит от родной земли и своей природы, здесь обязательно сказывается своеобычное. Не является исключением и русская лексика пищи и питания: «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Система напитков до середины XX в., пока для изготовления напитков использовалось исключительно сырье естественного происхождения, решающим образом зависела от сырья, из которого напитки изготавливались.

Сырье для изготовления напитков связано с определенными климатическими зонами произрастания и производства исходного сырья, поэтому у многих народов система напитков обязательно имеет национальный колорит. Любой этнический тип более приспособлен для жизни в той местности, где он сформировался и развивался: уклад жизни, материальная культура, местная пища и напитки – все играет роль. Народ той или иной местности привычен к определенным типам напитков, а в некоторых случаях определенные типы напитков ему вообще противопоказаны. Так, у народов Крайнего Севера в составе их национальной пищи никогда не было ни винограда, ни меда, ни зерна – тех веществ, из которых изготавливают алкогольные напитки. Вероятно, поэтому у северных народов нет иммунитета к алкоголю.

Решающее влияние на карту национальных напитков оказывает изменение технологии переработки первичного сырья.

В старорусской письменности степень отражения разных сторон быта далеко не одинакова, что зависело от неодинаковой общественной значимости соответствующих явлений материальной культуры. Так, достаточно полно описан царский и патриарший стол, зафиксирован общерусский стандарт монастырской трапезы¹. Но мало сведений об обеде, о праздничном столе посадского человека или крестьянина, поэтому восстановление в полном объеме репертуара народных кушаний чрезвычайно сложно. Проще составить описание сырья и полуфабрикатов для приготовления напитков и яств: обширные материалы на эту тему содержат приходо-расходные и таможенные книги. Главный источник по исто-

рии монастырской трапезы – столовые обиходники, которые, кстати, еще не были предметом анализа². Чаще всего они обнаруживаются в составе монастырских уставов.

Среди текстов, хранящихся в отделе рукописей и редких книг Библиотеки РАН, есть собрание Н. К. Никольского – известного исследователя истории Кирилло-Белозерского монастыря (Ф. 247). В этом собрании находится устав Кириллова монастыря конца XVI в. (Д. 41), расписывающий житейский обиход братии. Более 20 листов рукописи (Л. 39–61 об.) посвящены «обиходу братцкой естве». Этот материал, а также келарский обиходник того же монастыря 1654–1675 гг. и используются нами при анализе монастырской трапезы XVI в.

В монастырских столовых обиходниках фиксируется общерусский стандарт ежедневной трапезы. Стол кирилловских монахов мало отличался от той еды, которой питались в окрестных деревнях. Это обусловлено следующими обстоятельствами:

1) единством норм и правил, обязательных для всех монастырей русской православной церкви, единым ритуалом жизни иноческой обители;

2) основатели монастырей (они же – авторы монастырских уставов) являлись в большинстве случаев выходцами из Троице-Сергиева монастыря и поэтому закрепляли в уставах основанных ими монастырей порядок, установленный Сергием Радонежским;

3) столовые обиходники расписывали дневные выти и годичный круг трапез для рядовых, преимущественно постных дней, в эти дни порядок жизни был особо строг и единообразно обязателен, эти ограничения подробно изложены. Чередование постов и мясоедов было достаточно ритмичным: на неделе постились в среду и пятницу, в году было четыре долгих поста и три однодневных. А вот в праздник допускалось разнообразие, довольство, мясо и хмельные напитки, поэтому праздничные столы в обиходниках описаны скупо.

Каковы же напитки в ежедневном меню кирилловских монахов?

Часто упоминается *взвар*, приближающийся по своим функциональным качествам к напитку. Одна из его разновидностей описана в обиходнике: «*звар* медвен с перцем да со пшеном» (л. 49). Это был напиток, сваренный на меду, с добавлением риса и изюма (или ягод), по составу он повторял *коливо*.

Квас на столах был постоянно, кроме дней Великого поста, когда его заменяли водой. Наименования кваса разнообразны: «квас медвен к обеду, а вечером сычен, квас патошной» (л. 48); «а квас ячной переварной» (л. 50). *Квас переварной* – это жидкий квас, квас второго налива на квасную гущу. Кроме того, упоминается квас брацкой (братский), ячменный – ячной – яшной, житный (ячменный), овсяный, поддельный (ячменный пополам с медвяным), полуян (ячменный в смеси с овсяным или ржаным). В Новгородской кормчей 1280 г. читаем: «въ чистую неделю до-стоить медъ ясти пресным *квасъ житной*».

В постные дни употребляли также *капустный рассол* и *рассол свекольный* или *красный*, т. е. из квашеной свеклы: «а пища хлеба мяхкий да *капустной росол* один по ставцем» (л. 76); «да *росол красной* пити вода» (л. 49).

Кроме того, пили молоко пресное (свежее) или молоко вареное (топленое). Топленое квашеное молоко называлось *варенец*.

Упомянем еще известные со времен Киевской Руси *кисель*, *сыта* и *патока*: «*кисель* со сливками и за ужиною тоже *кисель* а на завтра к обеду тот же *кисель* с *сытою*» (л. 43 об.); «а *патоку* по ставцем дают в меру равно всем» (л. 58 об.). *Сыта* – ‘вода, насыщенная медом’ подавалась в отдельных братинках или в ставцах.

Требования обиходника соблюдались не с одинаковой строгостью. Если продовольственные запасы сокращались, наступала бескормица, то обиход монастырский устрожался. Вот как сообщается об этом в кирилловском обиходнике: «Аще ли ж коли бывают времена и лета скудна потребных всех плодов земных оумаление грех ради наших во обители и по селом всякого жита и меду и рыбы и всякая снеди и тогда настоятель по совету соборных старцев и всех еже о Хсе братии повелит служебником исполняти в тразе (так! вероятно, описка вместо трапеза. – Г. С.) пищу и питье по обиходу монастырскому по времени елико можно доветися братии за оскудение потребных елико бгъ подасть» (л. 61).

Сравнение кирилловского обиходника с обиходниками Волоколамского и Новоспасского монастырей показало преобладание общерусского стандарта и соответственно – употребление только общерусских наименований.

Все наименования в кирилловском обиходнике носят специализированный, номенклатурный характер и поэтому имеют однозначную семантику. Составные наименования по особенностям вос-

произведения являются полусвободными сочетаниями, что обычно для названий напитков в древнерусском языке.

Неукоснительность соблюдения традиции в монастырской трапезе Кирилло-Белозерского монастыря подтверждается и данными Г. Н. Лукиной, одни и те же напитки в монастырской трапезе сохранялись веками, так, квас и мед известны на Руси с XII в., молоко – с XIII в., кисель – с XIV в., пиво с 1280 г.³ Таким образом, и названия напитков переходили из эпохи в эпоху (из древнерусской в старорусскую), особенно если в соответствующей сфере деятельности (в нашем случае – сфере православного культа) действовал строгий, не подверженный влиянию времени этикет.

В эволюции русского стола есть такой исторически важный момент, как переход в XV–XVII вв. от «питного» меда к водке. Предварим, однако, рассмотрение этой проблемы изложением нескольких положений.

В IX–XIV вв. на Руси различались в зависимости от исходного материала, технологии изготовления три типа напитков. Их отличало одно общее свойство: до XV в. славяне, как балты и германцы, не готовили и не употребляли крепких напитков.

Прежде всего в традиции было виноградное красное вино – ритуальный напиток. Такое вино распространилось с принятием христианства, являлось символом христовой жертвы. Вслед за греками русские пили виноградное вино только пополам с водой, не крепче. Названия вина этого периода, кроме слов *вино*, *питие*, – преимущественно греческие заимствования, т. к. это было иноземное привозное вино. Именно поэтому номенклатура этих названий в древнерусском языке совершенно не развита. Позже, во времена Московской Руси XIV–XVII вв. терминология вин несколько усложняется благодаря развитию торговых контактов с Западом: фряжские вина – это французские, итальянские и крымские; греческие вина – мальвазия, бастр; французские – романея, мушкатель; ренское – германское вино из мозельских виноградников.

Второй тип – напитки местного производства, получаемые в результате естественного сбраживания меда. Мед – название древнее, упоминается уже в Остромировом евангелии (XI в.). *Питный мед* – хмельной напиток, приготавливаемый из смеси меда диких пчел и ягодных соков и подвергаемый выдержке от 10 до 35 лет. До XVII в. мед – главный национальный напиток Руси. Но и в XVII–XVIII вв. он не был редкостью на русском столе.

Судя по регулярным заменам *медъ – вино*, отмеченным еще А. Х. Востоковым в текстах XI в., мед издавна ценился как хмельной напиток: «Въ *медоу* (вариант: въ *вине*) не моужаися, мѣнози бо погоубиль *медъ*»; «Не упиваетеся *медѣмъ* (вариант: *виномъ*)».

Фольклор и художественные тексты зафиксировали основные качества «питьего» меда – сладость и крепость: «еще пиет черлено вино и меды сладкие и веселится» [Каз. ист., с. 221]; «Просил царь Соломан испить меду пьяново, чтоб не страшна смерть была» [Пам. СРЛ-3, с. 69].

В деловых текстах акцентируется внимание на технологии изготовления меда (*медку розсытитъ – меды сытитъ – меды посычены, меду поставлено*), причем часто в сопоставлении с приемами изготовления других популярных для того времени напитков: *пивца сварити или медку розсытити; вина усижено и пива сварено и меду поставлено*.

Технология приготовления меда менялась (вначале – *медостава*, потом – *медоварение*), поскольку сокращались медовые запасы (имеется в виду сокращение бортничества – добычи меда диких пчел). Чем отличался *ставленный мед* от *вареного меда*? В том и другом случае мед вначале *рассычивали* (разбавляли водой): норма рассычивания для медостава – 1:4, 1:6. При медоставе рассыченный мед выпаривали: из 16 кг пчелиного меда получали 4 кг кислого меда. Выпаренный осадок заквашивали, затем кислый мед клали в котел с ягодами, этот настой бродил, его томили в печи, переливали в бочонки и ставили в погреб на выдержку.

Медоварение развилось позже медостава, в XIII–XIV вв., когда стала очевидной нехватка меда. При рассычивании норма воды была увеличена: 1:7, к меду стали добавлять патоку, состав обваривали кипятком (*обарный мед*), вкладывали дрожжи и старались, чтобы продукт брожения уходил в сам мед – отсюда снотсшибательная сила меда при его незначительной (по нынешним меркам) крепости – до 16 градусов⁴. По традиции и новую технологию называли *мед ставить*, вот ее подробное описание в Домострое (по списку XVII в.): «Съ зелии *медъ ставить со всякими: съ мушкатомъ и съ корицею и съ гвоздикою и съ инбиремъ и съ иными всякими зельи, положити меду кислова, которого ни буди, въ малые бочечки да подкормити патокою, да те зелья истерти мелко да класти въ мешечки портяные, да те*

мешечки съ теми зельи положити въ те малые бочки, и в медъ на ниткахъ повесити въ воронки, а воронки закрывати накрепко, чтобъ изъ бочекъ духъ не выходилъ» [ЧОИДР. 1881. Кн. 2. С. 25].

Смена технологии и разнообразие местных добавок к основному продукту существенно повлияли на развитие номенклатуры названий: нами учтено около 70 отдельных лексем и составных наименований. В русской номенклатуре названий медов обычно используются указания на 9 признаков напитка: 1) способ приготовления и дополнительная обработка (*мед вареный*); 2) обозначение добавок (*мед малиновый*); 3) продолжительность выдержки и одновременно градация по сортности (*мед легкий – мед середний – мед крепкий*); 4) оценка общего качества (*мед добрый*); 5) назначение (*мед столовый*); 6) цвет (*мед белый, мед красный*); 7) место изготовления (*мед немецкий*); 8) время изготовления (*мед вешний*); 9) посуда или место хранения (*мед ковшечный, мед амбарный*).

Сортов меда было великое множество. Так, иностранному послу в 1602 г. было предложено «*23 или 24 сорта меду попробовать, который ему больше понравится*». Желание отразить качества меда в его наименовании обусловило развитие составных наименований.

Первое важнейшее качество – способ приготовления и дополнительная обработка: *ставленный, вареный – обьярный – обарной, сыченый, цеженный*. Ср.: «*меду цежена*» (Рязанская кормчая 1284 г.) [Сб. ОРЯС РАН. 1899. Т. 65. № 2]; «*мед обарной и паточной и цеженой*» (1583 г., Москва, наказ) [Сб. Рус. истор. об-ва, т. 38, СПб., 1883, с. 72]; «*медовъ ставленныхъ 20 ведръ доброго, 150 ведръ росхожего*» (1676 г., Москва) [РИБ-21, с. 206]; «*у тебя меду сыченого мало*» [ПСРЛ-37, с. 26].

Вторым по важности является обозначение добавок (ягод, фруктов, пряностей), на которых настаивали мед: *ягодные меды* [Домострой, с. 24]; *медъ чистыи пѣпряныи* (XII в.) [Сб. ОРЯС РАН. Т. 1. № 3. 1867. С. 30]; *2 ковши меду паточнаго с гвосцы 2 ковши меду с мушкатом, 2 ковши меду с кардамоном* [Заб. Дом. быт, ч. 2. М., 1915, с. 397]. Преобладали в ягодной России ягодные меды: малиновый, черемховый, черничный, смородинный, черносмородинный, костяничный, можжевельный, вишневый, терновый, см.: «*подавалъ ему медъ вишневой и малиновой въ ковышехъ*» (1517 г.) [Пам. диплом. сношений с Рим. имп.,

т. 1, СПб., 1851, с. 239]; «две кружки *меду черемхового*» (Москва, 1599 г. цар. гр.) [АИ-П, с. 13]; «*меду вишневого, малинового, смородинного по 2 кружки, костеничного, черемхового, можжевельного по кружке*» (Москва, 1664 г.) [Дворц. разряды-III, с. 573]. Из фруктовых медов был популярен яблочный, остальные фрукты не вызревали в суровой России.

Вероятно, третье место в медовой иерархии займут меды, именованные с учетом продолжительности выдержки, влияющей и на градацию по сортности: *лехкий – середний – крепкий – старой*, см.: «две бочки *меду старого*» (XVI в.) [Иосафовская летопись. М., 1957, с. 93]; «А изъ сырцу доброго поставить приказныхъ трехъ *медовъ: лехково, середнево да крепково по 5 ведрь*» (Москва, 1673 г.) [РИБ-21, с. 1635].

Оценка общего качества напитка выражалась словами *добрый, простой – расхожий*: «*медовъ ставленыхъ 20 ведрь доброго, 150 ведрь расхожего*» (Москва, 1676 г.) [РИБ-1, с. 206]; «2 ведра *простаго меду*» (Москва, 1684 г., рус-дат. договор) [ПСЗ-II, с. 637].

Предназначенность меда зависела от вкусовых качеств и продолжительности выдержки: *княжой, боярской, приказной, рядовой, братский, столовой*. Например, боярский мед готовили из чистого меда, патоки не добавляли. См.: «10 ведрь *меду княжого, 15 ведрь меду боярского*» (ок. 1560 г., росп. припасам) [РИБ-10, с. 53]; «поставил *столовова меду* два нуда» (Вологда, 1621 г. кн.пр.-расх.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 20. Л. 21].

Следующий признак – цвет: *белый, светлый – красный*. Красный мед был ценнее белого, отличался разнообразием добавок и более совершенной технологией изготовления. Белый – светлый мед противопоставлялся медам выкислым, т. е. всем ягодным и фруктовым медам, но он мог насыщаться пряностями. См. примеры: «Давати *мед белой* да пиво, *красных медов* не давати» (Москва, 1584 г., росп. корма послу) [Пам. диплом. сношений Моск. гос-ва с Англиею. Т. 11. СПб., 1889. С. 141]; «Велел гсдрь подавати послу в ковшех в золотых *мед вишневой и малиновой и белой*» (Москва, 1583 г., отпуск англ. послу) [Там же, с. 134]; «*белые меды: паточный с гвозцы, ковшичный с мушкатом, с кардамоном*» (Москва, 1667 г.) [Заб. Дом. быт.-2, с. 397].

Столовый обычай старой Руси состоял в том, что гостям выставляли (посылали) сразу несколько разновидностей меда: «Послано дворяномъ нолведра *меду вишневого*, полведра *меду мали-*

нового, полведра *меду боярского*, полведра *меду обарного*, 5 ведръ *меду паточново*, 10 ведръ *меду княжего*» (Москва, 1594 г.) [Тр. вост. отд. Рус. археолог. об-ва. СПб., 1898. Т. 22. С. 300]. «В первую подачу в стол великому государю подавали три вида *медов красных: вишневой, малиновой, смородинный*; 2 подача: *малиновой боярский*, 3 подача: *можжевеловой, черемховой*» (Москва, 1667 г.) [Заб. Дом. быт.-2. С. 397]. В древности мед пили из кубков и рогов, а во времена Московской Руси – из кружек, ставиков, ковшей (белый мед – из белых ковшей, красный – из цветных) и стаканов: «Святейшему патриарху подносили *въ нарядныхъ ковшахъ с жемчюгомъ и камнемъ красной медъ, въ белыхъ ковшахъ – белой медъ*» (Москва, 1667 г., записки) [Вивл.-II, 1773. июль].

Перейдем к рассмотрению третьего типа напитков, получаемых в результате искусственного сбраживания зерна после варки и добавления трав. Прежде всего это квас и пиво. Если мед был торжественно-праздничным напитком, его пили изолированно от приема нищи, то рядовыми столовыми напитками были квас и пиво.

С первого затора (это смесь солода, хмеля и дрожжей) сусло получалось густое, а пиво – самое лучшее. Последующие выгонки сусла были жиже и светлей – пиво хуже. Практика многолетнего приготовления нива показала необходимость сохранения строгой, неизменной технологии: река под названием «пиво» течет в очень узких технологических берегах, выход за пределы которой мгновенно превращает пиво в «непиво». По этой причине номенклатура названий пива была менее развита, чем система названий меда: их ровно вдвое меньше.

Эксперименты с забраживанием теста привели к открытию в середине XV в. винокурения: изобрели ржаное вино и водку.

Слово *водка* (от «невинного» слова *вода*) в старорусском языке имело несколько значений, что объясняется качествами данной жидкости, главное из которых – большое содержание алкоголя (спиртуозность).

Довольно рано русские *водку* стали использовать как «хмельной напиток» (кроме того, использовали как техническую смесь в ювелирном деле, как пахучую жидкость в косметике и как лекарство в медицине): «Когда они веселятся, то пьют главным образом *водку* и медовый напиток» (Россия н. XVII в.) [Записки капитана Маржерета. М., 1982. С. 147]. Водки ароматизировали,

старались придать какой-то цвет, такие технологии повторяли уже известную ранее практику приготовления питного меда: «для те-зоименитства ея государынина *водок коричной, анисовой, приказной, гвоздичной, кардамонной, кишнецовою* по четвертной склянице» (Москва, 1700 г.) [Заб. Дом. быт, ч. 2. М., 1915. С. 713]. Отсюда пошло выражение *зелено-вино* – это зельено вино, то есть «с зельем – хмелем, зверобоем и иными травами».

Популярностью пользовались *анисовая, полыньковая-полынная водки*: «Велено им дать в Аптекарской приказ про государя в *водку анисную* сладкую шесть фунтов анису» (Москва. 1631 г., память) [АИ-III, с. 472]; *водка полыньковая* (Н. Новгород, 1699 г., роспись) [Д. Шакл.-2, с. 342]. Для государева стола Сытный приказ, который ведал кушаньями и напитками, заказывал водки в Аптекарском приказе: «Велети изсидети в Аптекарском приказе на государев обиход на Сытной дворец из четырех ведер из романеи *водка коричная*» (Москва, 1628 г.) [Заб. Дом. быт-2, с. 736]. Как лекарственную, так и хмельную водку первоначально делали из виноградных вин путем перегонки – *сиденья*: «Дворцовому винокуру Осипу Федорову за работу что онъ *сидель вотку...*» (Москва, 1699 г.) [Расход. книга Патриаршего приказа кушаньям... СПб., 1890, с. 320].

Водилась и привозная водка: немецкая, *фрянчужская*, киевская: «*Есть у тебя водочки добрые немецкие. Пожалуй, Костянтинъ Родионовичъ, изволь тое водочки бочечку къ намъ прислатъ*» (Валдай, 1663 г., отписка) [С-Петербург, отд. Ин-та истории. Ф. 181. Оп. 1. С. 426].

Растет крепость вина, изобрели *горячее вино* – «обладающее способностью гореть» (ср. одновременно появившиеся украинская *горилка*, немецкое *Brandtwein*). В Новгородской летописи за 1548 г. впервые упоминается *горькое вино* ‘водка с настоем полыни и древесных почек’.

С середины XVII в. водка становится русским национальным напитком. Формируется обычай *угощенья-жалованья водкой, кушанья водки*: «Тебе б приятелю моему *кушать* из нея *водочку* на здоровья; *Жаловали* боярь и окольничихъ и думныхъ и ближнихъ людей кубками фряскихъ питей, а стольниковъ и генераловъ и стряпчихъ походныхъ и полковниковъ стрелецкихъ и дьяковъ изъ приказовъ и гостей *водкою*» (Москва, 1691 г) [Петровский сб. СПб., 1872, с. 396].

Из-за семантической загруженности слова *водка*, используемого часто в докторских рецептах, крепкий напиток на основе перегонки виноградных вин называют *горячее вино* или *двойное вино* (Курц Б. Г. Соч. Кильбургера о рус. торговле в царствование Ал. Мих. Киев, 1915. С. 320]. Чаще всего крепкий напиток по традиции называли *вином*, но добавляли определение-уточнитель: «*Вина* строить розличныя иряныя и нарядныя, тройныя и четверныя, строить для славы и чести, а не для себя» (Космография 17 в.) [Зап. Моск. археолог. ин-та, т. XI, 1911, с. 17].

Некоторое время, преимущественно в севернорусских актах, хлебный крепкий напиток называли *арака*: «у перепуска смечать по скольку ис котла *араки* первой и другой» (Домострой) [ЧОИДР, 1908, кн. 2, с. 47]; «То вино тотъ голова Прокопей Самойловъ съ товарищи пограбилъ и браги излилъ и *араку* къ себе на поварню и запасы хлебные по ималь» (1632 г., явка) [РИБ-25, с. 97]. *Арака* была известна русским первоначально как ту-рецкий или якутский напиток, приготавливаемый из зерна.

Однако с водкой в силу ее большей крепости по сравнению с обычным вином все чаще отождествляется двойное вино. Так, на московской таможне в 1684 г. при расспросе торговец заявляет к перевозке «три боченка киевской *водки* ведръ съ девять», а при сыске у него обнаружено «две бочки *вина двойного* мерою по три ведра» [ДАИ-XI, с. 222]. Судя по показаниям словарей, и в XVIII в. названия крепкого хлебного напитка свободно заменяли друг друга: *Вино горячее, водка, горелка* [Вейсманов лексикон, с. 107]; *Двойное вино – вотка* [Рук. лекс., с. 84].

Официальное признание термина *водка* состоялось 8 июня 1751 г. путем издания царицей Елизаветой Петровной указа «Кому дозволено иметь кубы для двоения водок».

В XVIII в. перестали напиток рассычивать, т. е. добавлять раствор пчелиного меда, а больше стали заниматься ароматизацией за счет добавки пряностей и трав. Начали пробовать разные варианты смешивания напитков: появилось *вино с махом* (2/3 простого вина и 1/3 двойного), но его делали без очистки, поэтому вскоре перевели в разряд технических смесей. А вот на основе разведения тройного вина водой до 40 градусов по предложению Д. И. Менделеева в 1894 г. Россия запатентовала «Московскую особую», прославившуюся на весь мир.

Дополним историю водки рассказом о горилке. Украинская *горілка* отождествлялась с жженым вином, ср: «указъ о *зженомъ*

вине, сиречь о *горелке*». Первые партии горилки были привозными, поэтому в первых примерах употребления слова подчеркивался иноземный характер напитка и любовь к нему именно иноземцев: «Немчинъ Иванъ фонъ Любцовъ учель говорить: “Есть де у васъ *горелка*, станемъ де мы пить про королевскую мамку здоровье”» (Углич, 1631 г., чел.) [Зап. Моск. археолог. ин-та, 1911, т. XIV, с. 397]. С середины XVII в. *горелка* (ср.: не *горилка*) становится хорошо известным напитком в России, растет и ее крепость. Так, в 1664 г. в связи с присылкой патриарху несвежей рыбы провинившиеся получили такую саркастическую грамоту от святейшего: «Буде толко сами такие ж едите и сами провоняете, чают и в банях своих недедю не отмоете смраду того и яковитою *горелкою* вскоре не запьете» [РИБ-5, с. 510].

Одновременно с эволюцией хмельных напитков развивались и представления о питейной посуде: норма потребления снижалась, но крепость напитка росла. Для древних русичей и 14 градусов – крепко, для русского барина и ерофеич в 70 градусов – сладко, а пролетарская водка имела сорокаградусный стандарт. Итак, вот меры жидкостей для хмельного: московское ведро – 12 литров, четверть – четверть ведра, 3 литра; стопа – 10 чарок, полтора литра; водочная бутылъ – 0,61 л (современная поллитровка появилась в конце 20-х гг. XX в.); ковш – 3 чарки, поллитра; чарка – 143,5 г (гениальное открытие древних русичей, поскольку позже было доказано, что медицинской нормой единовременного потребления водки являются 150 г, это знаменитые «наркомовские сто пятьдесят», хорошо известные участникам Великой Отечественной войны).

Обратим внимание на распространенность слова *чарка*: поднести чарку, выпил чарку. Вообще фразеология русского застолья была связана не с названием напитков, а с названиями питейной посуды: заздравная *чаша*, выпей *чарку*, поднесли *ковш*. А вот как соблазняют молодца в «Горе-Злочастии»: «Испей *чару* зелена вина, запей ты *чашею* меду сладково». Здравница – «заздравный тост» от русского выражения *заздравная или здоровная чаша*. Обычай произносить здравицу появился очень давно, в Изборнике Святослава 1076 г. читаем: «*Чашу* принося к устам, помяни звавшего на веселие». С древности существовали правила поведения за столом. Часть из них записана прямо на ковше середины XVII в., хранящемся в Историческом музее в Москве: «Человече, буди при славе смирен, при печали мудр, не зван на пир – не ходи, аще пойдеши –

в высоком месте не садись, да сзади всех опозоренный не будешь, не всякой ковш пей до дна, да не будешь без ума, а к чюжим женам в кут не ходи, с ними не беседуй, да не будешь бесчестен».

Процедура трапезы начиналась с закуски. Закуска – легкое кушание перед основной трапезой (икра, копченая рыба, сыр, соленое мясо, сухарики, печенье и напитки), цель закуски – не утоление голода, а возбуждение аппетита. Закусочный стол – русское изобретение. Номенклатура русских названий закусок начинает формироваться с XVIII в. Русский закусочный стол сложился тоже под влиянием всеильной с XVIII в. водки именно как закуски к крепким напиткам. Он представляет собою три группы закусок: а) мясные (9 видов): *свиное соленое сало, ветчина (окорок тамбовский), говяжий студень, холодец поросячий-свиной, голова свиная холодная, язык свиной (говяжий) отварной, телятина холодная заливная, солонина отварная*; к этому набору обязательны *горчица и хрен*, совершенно непопулярные во времена питного меда; б) рыбные (24 вида): *селетка с подсолнечным маслом и луком, икра черная паюсная (хуже – зернистая) лососевая, икра красная лососевая, икра розовая сиговая, балык осетровый холодного копчения* и т. д.; в) овощные (11 видов): *огурцы соленые, капуста квашеная, капуста провансаль* и т. д.

В заключение – одно замечание в порядке намека на возможную перспективу исследования. Номенклатура названий напитков в основе своей андрогенна по происхождению, т. е. ее сформировали мужчины: в качестве виноделов, медоваров и винокуров издревле выступали мужчины; женщин допускали к изготовлению пив, медов, тем более – водки лишь на отдельных, первоначальных стадиях изготовления сырья. Дело в том, что по мере изготовления напитка его полагалось пробовать на вкус, а женщине это не всегда показано. Эволюция названий хлебных напитков отражает три этапа развития технологии. Так, бытовые названия XV–XVII вв. по-мужски строги, точно отражают качества реалии, предельно информативны: *хлебное вино, вареное вино, куреное вино, горячее вино, русское вино, житное вино, горькое вино*. В XVIII–XIX вв. появляются эвфемизмы и жаргонные выражения, что отражает привыкание общества к крепким напиткам, переход от оценки питья крепких напитков как дела неприличного к квалификации как благопристойного занятия. Поэтому наряду с «технологическими» наименованиями (*самогон, перегар, сивуха*) появляются и по-мужски грубовато-шутливые: *царская ма-*

дера, французская 14 класса (намек на то, что пьет самый низший чин), *петровская водка, огонь да вода, хлебная слеза*. Наконец, в XIX–XX вв. преобладают технические термины: *рака, простое вино, полугар, пенное вино, двухпробное вино, трехпробное вино, четырехпробное вино, двойное вино, вино с махом, тройное вино*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Назовем наиболее богатые по лингвистической содержательности тексты из числа опубликованных: «Роспись царским кушаньям» 1613 г. [АИ, т. 2. СПб., 1841], чин свадьбы царя Алексея Михайловича 1643 г. [ДРВ, 1773], описание царских застолий XVII века [Забелин. Дом. быт-2], «Роспись кушанью боярина Бориса Ивановича Морозова» 1657–1661 гг. [ВОИДР, кн. 6, 1850]. См. описания патриаршего стола: столовая книга патриарха Филарета 1623–1624 гг. [«Старина и новизна». Кн. 11, 13. СПб., 1906, 1909]; стол патриарха в 1691 г. [Забелин. Мат.]; [«Расходная книга патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Адриану и разного чина лицам с сентября 1698 по август 1699 г.». СПб., 1890].

² Некоторые из них опубликованы: Обиходник Волоколамского монастыря XVI века и обиходник Новоспасского монастыря 1648–1649 гг. // ЧОИДР. 1880. Кн. 3; Келарский обиходник Матфея Никифорова старца Кирилло-Белозерского монастыря. 1655/1656 год. – М., 2002. Неопубликованных памятников такого рода гораздо больше.

³ Лукина Г. Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. – М., 1990. – С. 108, 110–112, 122–123.

⁴ См. описание технологии: Похлебкин В. В. Чай и водка в истории России. Красноярск, 1995. – С. 52–55.



Глава V.

ДИАЛЕКТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СТАРОРУССКОЙ ЛЕКСИКИ

1. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВА

Использование данных лексики для решения проблемы диалектного членения русского языка донационального периода имеет известную традицию. Особенно значительны успехи отечественных исследователей в описании лексического состава старорусских памятников, связанных с отдельными территориями или культурно-письменными центрами, например, с бассейном Северной Двины (Н. С. Бондарчук, В. Я. Дерягин, И. А. Елизаровский, Б. А. Ларин), с Великим Новгородом и Псковом (В. В. Ильенко, В. И. Максимов, О. С. Мжельская, В. П. Строгова, В. И. Щеголихина), с Белозерьем (Е. П. Андреева, Ю. И. Чайкина), с Москвой и Подмосковьем (В. Н. Прохорова, Г. А. Якубайлик), с югом России (С. И. Котков, Н. К. Соколова, В. И. Хитрова), с Рязанью и Смоленском (Е. Н. Борисова), с Зауральем и Сибирью (Н. Н. Бражникова, А. А. Горбунова, Л. Г. Панин, В. В. Палагина, О. Г. Порохова, Е. Н. Полякова, Г. А. Христосенко, Н. А. Цомакион). Однако наблюдения над словарем старорусского языка в географической проекции еще не носят систематического характера, они не скоординированы, полученные результаты до сих пор не обобщены, лексика многих, в том числе центральных регионов остается не обследованной, поэтому нет общей картины территориального распределения лексики в преднациональную эпоху. Добавим, что практически не было и попыток воссоздать полностью диалектное состояние русского языка XVI–XVII вв., хотя, по мнению В. Г. Орловой, начальный этап национального периода (XVI–XVIII вв.) был «особенно

важным для оформления диалектного членения русского языка в его современном виде»¹. Диалектное членение средневековой Руси реконструируется для периода не позднее XIV–XV вв., т. е. эпохи формирования языка великорусской народности, причем главным образом на основе фонетико-морфологических данных современных говоров². Вместе с тем существует определенное мнение, что «создание русской диалектографии, основанной на показаниях памятников, – задача вполне реальная»³, что «создавать русскую историческую диалектологию на базе одних современных говоров невозможно»⁴. В. В. Колесов справедливо считает, что «доверие к диалектным материалам преувеличено настолько же, насколько преувеличено недоверие к материалам, извлеченным из письменных источников»⁵. Богатые архивные собрания памятников письменности XVI–XVII вв. и уже выполненные лексикологические описания части из них позволяют приступать к воссозданию лингвистического ландшафта прошлого, используя диалектные данные более поздних периодов лишь для сравнения. Конечно, полученные данные не могут носить окончательного характера, ареалы слов не всегда могут быть установлены с абсолютной точностью, но все же, если для языка XI–XV вв. говорят лишь о некоторых предполагаемых диалектизмах, то для периода XVI–XVII вв. в большинстве случаев можно выявить диалектизмы очевидные.

Выявление общерусского и отграничение местного – важнейшая задача исторической лексикологии русского языка XV–XVII вв., от решения которой зависит определение словарного вклада отдельных территорий в сокровищницу общерусского национального языка, воссоздание широкой ретроспективы территориальной дифференциации лексики, изучение соотношения и взаимодействия словаря центра с лексикой областных культурных центров, установление времени формирования отдельных тематических и лексико-семантических групп, «именно в лексике историко-диалектологические исследования с широким использованием локализованных и датированных текстов представляются наиболее перспективными»⁶.

Основной проблемой исторической лексикологии и исторической диалектологии русского языка является проблема формирования и развития русского национального бытового словаря, к которой примыкают и более частные, как роль народно-разговорной речи и языка деловой письменности в развитии бытового словаря, территориальное распределение лексики в языке Московской

Руси, степень северно- и южновеликорусского участия в начальном процессе формирования общерусских лексических средств; взаимодействие в области лексики языка художественной литературы, народно-разговорной речи и языка деловой письменности. В старорусский период, как известно, усилилось взаимодействие диалектов, возникли переходные среднерусские говоры, произошло уточнение границ отдельных диалектных объединений. Все эти процессы хорошо отражает лексика, поэтому «обследование и разъяснение лексики XVI–XVIII вв. дают историческое освещение основному составу словаря современного русского языка»⁷. Разработка указанных проблем возможна на путях объективного, с учетом всего жанрово-стилевого и территориального разнообразия текстов, осмысления языковой ситуации в преднациональной России, массового и равномерного обследования источников разнотипной локализации и анализа их данных в сравнении с выводами современной диалектной лексикологии.

Выводы о географии слов и связанных с ними предметов, сделанные на ограниченном материале, нередко бывают ошибочными. Так, Н. К. Соколова включала в воронежские диалектизмы XVII в. такие общерусские лексемы, как *варега*, *голиця*, *корец*, *корчага*, *кошелка*, *лукошко*, *напол* ‘род кадки’, *ставец* ‘род посуды’, *стойка* ‘род бочки’⁸. Б. А. Ларин относил к южнорусизмам слова *армяк*, *кафтан* и *однорядка*⁹, которые в XVI–XVII вв. бесспорно имели общерусский характер, правда, *армяк* – лишь с конца XVII в. Е. Н. Полякова находит среди южнорусизмов название девичьего головного убора *перевязка*¹⁰, хотя оно было представлено среди южнорусских говоров лишь в смоленском, имеющем переходный характер. В. В. Виноградов считал, что слово *опашень* было в XV–XVI вв. севернорусизмом¹¹, хотя в действительности оно гораздо шире было распространено в среднерусской письменности. М. Г. Рабинович полагает, что о *зипунах* упоминается лишь однажды в воронежском акте последней четверти XVII в.¹², хотя это общерусское наименование, фиксируемое в источниках с 1577 г., а его деминутив *зипунишко* – с 1568 г., см., например: «продал кафтан зенденинной вишнев да *зипунишко* зенденинное да телогреенцо заечинное» (Кириллов, 1568 г., кн. пр. К.-Бел. м. № 1, л. 9 об.) [КДРС]; «*зипун* тафта жолта стеган... *зипун* тафта празелена» (Москва, 1577 г., платье царя Ив. Вас.) [Заб. Дом. быт-2, с. 859, 870].

В историко-диалектологических работах прежде всего важно предельно точно определить тематические группы анализируемой

лексики. Выбор для анализа тех или иных лексико-тематических групп определяется целями исследования, при этом учитывается степень древности слов, устойчивость их в языке и другие признаки. Не случайно, например, для выяснения наиболее древней картины диалектов на определенной территории в первую очередь исследуют географическую терминологию, лексику земледелия и т. п. Учитывая неодинаковые темпы изменчивости разных групп лексики, целесообразно при изучении лингвогеографической ситуации конкретного периода обратиться к анализу не устойчиво консервативных систем географической, земледельческой, административной терминологии, а к изучению предметно-бытовой лексики из сфер «одежда», «утварь», «пища», «постройки», обладающей большой динамикой, чутко реагирующей на изменения «вещного» мира. Обозначая жизненно важные реалии, по-разному эволюционирующие на разных территориях, эти слова меняют свой семантический объем и парадигматические связи, что обуславливает их территориальную дифференциацию, особенно развитую в кругу конкретных названий. Здесь немало и чисто этнографической лексики, называющей реалии локального распространения.

Предметно-бытовая лексика благодаря постоянной необходимости для общения и широкой употребительности (в силу ежедневной потребности в называемых предметах) является одной из основных частей словаря любого языка, причем хорошо отражающей малейшие изменения в развитии словарного состава данного языка. В донациональный период при существовавшем тогда уровне грамотности и образования бытовой словарь для большинства пользующихся русским языком был основным элементом устного общения. Что касается его использования в письменной речи, то, как известно, письменная речь Московской Руси имела несколько разновидностей, различавшихся по ряду признаков, в частности, и по использованию бытовой лексики. Книжно-письменные источники содержали незначительное число подобных слов. В деловой письменности и частной переписке, близко связанных со сферой устного общения, слова бытового характера употреблялись относительно свободно. Сохраняет свое значение предметно-бытовая лексика в устной речи и письменности национального периода. Таким образом, актуальность изучения предметно-бытовой лексики русского языка преднационального периода (XVI–XVII вв.) объясняется важной ролью этой части старорусского словаря в повседневном речевом обиходе и в лите-

ратурном языке, отражением в истории его развития сложных процессов формирования национальной лексической нормы, распределения лексики по сферам и регионам употребления, а также слабой изученностью всех этих процессов. Особая подвижность бытовой лексики делает более заметными изменения в составе, взаимоотношениях и границах диалектов. Точная локализация этой лексики во времени и пространстве позволяет довольно объективно характеризовать общую картину диалектов и состояние определенного говора в то или иное время.

При изучении языка Московской Руси необходимо учитывать воздействие факторов административного, социально-экономического и историко-культурного характера. Уже в XV в. основные русские территории были объединены под властью Москвы, к середине XVI в. присоединяются окраинные области: Псков – 1510 г., Смоленск – 1514 г., Рязань – 1521 г., Белев, Трубчевск и Путивль – 1523 г. К концу XVI в. в составе России появляются Орел (1566 г.), Воронеж (1586 г.), Белгород (1593 г.), Курск (1597 г.). Города становятся центрами торговли и промышленности, культуры и просвещения, их жители активно общаются с населением самых разных мест, так, Устюг Великий и Псков имели торговые связи почти с 40 городами, а список рыночных связей Москвы насчитывал 157 городов и 41 уезд¹³. Со второй половины XVI в. формируется централизованный бюрократический аппарат, делопроизводственная деятельность которого оказала определенное нормализующее воздействие на язык местных канцелярий, хотя процесс формирования и распространения нормы осуществлялся узуальным путем. Названные процессы повлекли за собою интенсивное междиалектное взаимодействие, способствовали складыванию общерусской нормы в письменной речи и общерусского фонда средств в сфере разговорно-обиходного общения, ускоряли языковую интеграцию нации. В XVII в. общность русской народности приобретает сравнительную устойчивость, начинается переход ее в нацию.

Методы и источники исследования

Идея лингвистического картографирования диалектных данных русского языка была впервые высказана И. И. Срезневским¹⁴, но историческая лингвогеография еще слабо разработана. Вопросы методики в этой области обсуждались мало. Основными здесь яв-

ляются выбор источников, техника сбора материала, графическое оформление результатов, их интерпретация. Все эти вопросы применительно к старорусскому периоду имеют некоторую специфику по сравнению с методами работы с современным материалом.

Прежде всего необходимо подобрать тексты, разнообразные в жанрово-тематическом отношении, так как характер функционирования в них лексем в зависимости от этого не был одинаковым. Ср. мысль А. С. Герда о том, что «относительно полная история диалекта может быть воссоздана в целом только как история регионального языка во всем многообразии речевых ситуаций и типов текста»¹⁵.

Все тексты должны иметь строго фиксированную территориальную приуроченность. Неравномерное распределение сохранившихся письменных источников по территории России предполагает необходимость привлечения к анализу максимально возможного их числа. Значительная часть памятников местной письменности связана не с малыми населенными пунктами (впрочем, понятие о больших и малых селениях в то время сильно отличалось от современного: только самые крупные города насчитывали более 500 дворов, а деревни в 10–15 дворов были обычным явлением), а с административно-территориальными центрами, т. е. уездными городами. Это обстоятельство определяет разреженную сетку пунктов и невозможность установить точные изоглоссы. Кроме того, не все письменные центры представлены текстами, содержащими нужный материал, поэтому на нынешнем этапе исследования указание на незафиксированность слова в том или ином пункте может обозначать не отсутствие слова, а отсутствие информационно насыщенного текста, отражающего говор данной территории. Дальнейшее увеличение числа источников и исследованных лексических групп сделает картину более конкретной и точной. В диалектологии обычно исследуются противопоставленные факты. В исторической лингвгеографии, учитывая особенности изучаемой лексики, можно привлекать и непротивопоставленные явления, особенно те, которые позднее тоже становятся в оппозиционные ряды.

Важной, но трудоемкой задачей является фиксация типичных для данной территории слов – «метод ареальной реконструкции»¹⁶. Частота употребления лексемы является географически варьирующимся показателем, поэтому важно учитывать употребление слова в письменности данного пункта хотя бы до условного ми-

нимума (10 употреблений), но в текстах, написанных разными авторами (не менее чем в трех разных источниках). В случаях единичной фиксации слов в пунктах, далеко отстоящих от основной территории употребления, выводы о географии слов формулируются достаточно осторожно.

Целесообразно последовательное оформление материала вначале в таблицы, играющие роль исходных карт, а затем в сводные таблицы или карты изоглосс¹⁷. Таблицы могут иметь два вида: полные, включающие все слова тематической микрогрунны, и дифференциальные, отражающие только региональную лексику. К сожалению, ареалы распространения предметов одежды, утвари и т. д. на русской территории в XVI–XVII вв. пока не установлены, что делает невозможным сопоставление изоглосс и изопрагм. Конечной целью лингвогеографического анализа на материале письменных источников, как и по данным полевых наблюдений, является установление диалектного членения языка, отграничение общерусского от местного. Обратим внимание на трудности разграничения междиалектного, не узколокального средства и общерусского разговорного, так как и в донациональный период в языке функционировали, кроме разговорных слов общерусского употребления, междиалектные лексические средства, употребляемые в нескольких или даже многих пунктах и связанные с несколькими диалектными континуумами. Разграничить эти явления при отсутствии в донациональную эпоху четкой противопоставленности «литературное – диалектное», «общеупотребительное – диалектное» можно только путем накопления фактов, дальнейшего расширения источниковой базы, развития региональной исторической лексикографии.

Местные речевые явления в ту пору не были противопоставлены средствам литературного языка в отличие от современных диалектизмов, поэтому для обозначения локальных фактов прошлого требуется особый термин – «локализм» или «регионализм». Старорусскому локализму свойственны ограниченный ареал употребления, устанавливаемый по памятникам письменности, приуроченным к определенной территории; отсутствие данного слова в текстах общерусского распространения; противопоставленность его элементам общерусского употребления; возможное сохранение словом локального характера и в последующие периоды. Основным в ряду перечисленных признаков является первый. Ф. П. Филин считал особо значимым последний признак¹⁸, но применитель-

но к предметно-бытовой лексике – довольно подвижному разряду слов это вряд ли справедливо.

Приведем список основных культурно-письменных центров России XVI–XVII вв., с которыми связаны привлекаемые нами для исследования тексты (курсивом выделены крупные города России, насчитывавшие более 500 дворов; таких было всего шестнадцать). **Севернорусская зона:** Архангельск, Бежецк, Белозерск, Вага (Важский Богословский монастырь), Валдай, Великие Луки, *Великий Новгород*, *Великий Устюг*, Весьегонск, Ветлуга, *Вологда*, *Галич*, Каргополь, Кириллов, Кола, *Кострома*, Олонец, Онега, Опочка, Осташков, *Псков*, Свирь (Свирский монастырь), Сия (Антониево-Сийский монастырь), Соловки (Соловецкий монастырь), Сольвычегодск, Старая Русса, Тарногский Городок, Тихвин, Торопец, Тотьма, Углич, Усть-Вымь, Устюжна, *Хлынов*, Холмогоры, Чаронда, Ям, Яренск, *Ярославль*. **Среднерусская территория:** Алатырь, Арзамас, Владимир, Волоколамск, Вязники, Вязьма, Городец, Гороховец, Дмитров, Дорогобуж, Зарайск, Звенигород, *Казань*, Калязин, Касимов, Кашин, Кашира, Клин, *Коломна*, Медынь, Можайск, *Москва*, Муром, *Нижний Новгород*, *Переславль-Залесский*, Ржев, Ростов, Рязань, Саранск, Свияжск, Серпухов, Симбирск, Суздаль, Тверь, Торжок, Шуя, Юрьев-Польский, Юрьевец. **Южнорусская зона:** Алексин, Астрахань, Белгород, Белев, Валуйки, Воронеж, Дедилов, Елец, Инсар, *Калуга*, Короча, Кромь, Курск, Лебединь, Лихвин, Мценск, Новосиль, Обоянь, Орел, Острогожск, Путивль, Севск, Смоленск, Старый Оскол, Тамбов, Темников, Тула, Усмань, Черкасск, Черневск, Яблонь. **Зауралье, Сибирь и Дальний Восток:** Албазин, Верхотурье, Енисейск, Иркутск, Колыма, Кунгур, Ленский острог, Мангазея, Нерчинск, Пелымь, Тара, Тобольск, Томск, Туруханск, Тюмень, Чердын, Шадринск, Якутск. Полный анализ текстов по всем названным пунктам учеными пока не выполнен. Из 16 наиболее крупных городов России, насчитывавших более 500 дворов, два: Балахна и Соль Камская – нами не учтены, источники из этих пунктов не изучались и другими исследователями.

Нужно учесть, что за одним географическим пунктом скрывается несколько местных канцелярий не только данного уездного центра, но и рядом находящихся селений, а также расположенные на территории данного уезда монастыри. Во всех случаях, где это возможно, учитывались данные других исследователей по тому или

иному региону. Хронология источников далеко не одинакова, например, южновеликорусские тексты сохранились лишь с конца XVI в., что требует осторожности в выводах о географии отдельных слов. На севернорусской и среднерусской территориях представлено несколько большее число культурно-письменных центров, чем на юге и в Сибири (ср.: север – 39, средняя Россия – 38, юг – 31, Сибирь – 18), что объясняется наличием здесь крупного количества монастырей, особенно в Вологодском и Белозерском уездах. В монастырях имелись большие библиотеки: Ферапонтов монастырь имел 352 книги (опись 1665 г.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 40. Л. 35–53], Корнильево-Комельский – 364 (опись 1656 г.) [Там же. Д. 28. Л. 41–52]; Спасо-Прилуцкий – 407 (опись 1654 г.) [Там же. Ф. 512. Д. 44. Л. 53–62 об.]; Спас-Каменный – 411 (опись 1670 г.) [Там же. Ф. 883. Д. 44. Л. 40–46]. До двух тысяч книг насчитывали библиотеки Кирилло-Белозерского, Соловецкого, Троице-Сергиева монастырей, где и писались книги¹⁹.

Общерусское и местное в составе старорусского бытового словаря

Историческая лексикология пока не располагает выверенными данными о составе общерусского словарного фонда XVI–XVII вв., поэтому публикации подобных сведений даже по отдельным тематическим группам имеют самостоятельную ценность. Обобщая данные других исследователей и собственные наблюдения, приходим к выводу, что среди названий одежды к средствам общерусского распространения относились почти все родовые наименования: *одежа* – *одежда*, *одеяние*, *риза*, *платье*, *порты* ‘одежда’, *портище* ‘одежда’, *портное*, *убор*, *наряд* ‘комплекс одежды определенного назначения’, *багръ* – *багоръ*, *багрянница*, *вретище*, *рубище*, *власяница*, *яригъ*, *гуня*; *обувь*, *обувение*, *обутель*, *обуша*; *судно* (мн. *суды*), *сосуд*, *посуда*. В общерусском употреблении находились названия рабочей одежды *сермяга* и *балахон* (последнее – с конца XVII в.), названия меховой и кожаной одежды *кожух*, *кожан*, *шуба*, *шубка*, *тулуп* (последнее – со второй половины XVII в.); названия общей верхней одежды *охабень*, *опашень*, *однорядка*, *ферези*, *свита*, *куртка* (последнее – со второй половины XVII в.); названия мужской верхней одежды *кафтан*, *полукафтан*, *зипун*, *армяк* (последнее – к концу XVII в.), *чекмень*, *доломан*, *мятель*, *епанча*, *емурулук*; названия женской верх-

ней одежды *сарафан, летник, телогрея*; названия нижней одежды *белье, рубашка, рубаха, сорочка, срачица, порты, портки, штаны*; названия нашейной одежды или деталей одежды *ожерелье 'воротник', ворот, воротник*; названия поясов *пояс, опояска, кушак; запон 'передник'*; названия рукавиц *варега, вязаница, голица, рукавица, рукавка, рукав 'муфта'*, названия головных уборов и их деталей *покрыв, покрывало, плат, убрус, увясло, главотяг-главотяж, фата, перевязка, кокошник* (к концу XVII в.), *подзатыльник, сорока, чепец, тафья, шапка, треух, колпак, шляпа*; названия обуви *лапоть, сапог, башмак, сандалия, онуча, ноговицы, чулок*. На всей русской территории были известны следующие названия столовой посуды и столовых приборов: *судки, блюдо, блюдце, тарель, ставец, солонка, солоница, лжица, ложка*, названия посуды для напитков *чаша, чашка, чара, чарка, кубок, кубец, скляница, ковш, корец, братина, кувшин, кунган, корчага, чван, оловяник, ендова, кубышка*, названия кухонной посуды *горшок, котел, сковорода, сковородка, квасник, куб, решето, уполовник* (со второй половины XVII в.); названия погребной бондарной посуды *бочка, бочонок* (с 70-х гг. XVII в.) *кадь, кадка, бадья, чан* (к концу XVII в.), *делва, галенок, ведро, водонос, шайка* (с середины XVII в.), *корыто, ночвы*; названия плетеных вместилищ *короб, коробья, коробка, кошница, лукошко, кузов, пошев*; названия вместилищ из кожи и ткани *мех, мешок, куль и кулек* (оба – со второй половины XVII в.), *сума*; названия кошельков и карманов *мошна, через, зепь*; названия деревянных и металлических вместилищ для домашних вещей *ящик, сундук, подголовок* (с последней четверти XVII в.), *ларец*; слово *влагище* в родовом значении 'футляр'; названия мерных сосудов *мера, четвертина, четверть, осьмина, десятина*; названия гигиенической утвари *рукомойник, лохань, белильница*; названия вместилищ для посуды *постав* и *погребец*.

В большинстве случаев эти слова употребляются в деловой письменности и частной переписке, что свидетельствует об их преимущественно разговорном характере. Закрепление ряда из них в литературном языке только еще начиналось.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии. – М., 1970. – С. 223.

² Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. – М., 1972; Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии...; Хабургаев Г. А. Становление русского языка. – М., 1980.

³ Котков С. И. Памятники русской письменности и историческая диалектография // Вопросы языкознания. – 1975. – № 2. – С. 14.

⁴ Чайкина Ю. И. Из истории диалектных границ в связи с заселением Северной Руси // Вопросы языкознания. – 1976. – № 2. – С. 106.

⁵ Общие проблемы диалектологии и истории языка. Ответы на вопросник. – М., 1969. – С. 58.

⁶ Дерягин В. Я., Комягина Л. П. Из истории диалектных границ в северной России // Вопросы языкознания. – 1968. – № 6. – С. 118.

⁷ Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря (принципы, инструкции, источники). – М.; Л. – 1936. – С. 9–10.

⁸ Соколова Н. К. К истории воронежской диалектной лексики // Славянский сборник. – Воронеж, 1958. – Вып. 2. – С. 175–183.

⁹ Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). – М., 1975. – С. 234.

¹⁰ Полякова Е. Н. Названия предметов одежды в пермских памятниках XVII – начала XVIII в. // Лингвистическое краеведение Прикамья. – Пермь, 1977. – С. 47.

¹¹ Виноградов В. В. О связях истории русского литературного языка с исторической диалектологией // Виноградов В. В. Избр. труды. История русского литературного языка. – М., 1978. – С. 280.

¹² Древняя одежда народов Восточной Европы: Материалы к историко-этнографическому атласу. – М., 1986. – С. 70.

¹³ История СССР. – 1 серия. – М., 1967. – Т. 3. – С. 20, 25; Мерзон А. П., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII в.). – М., 1960. – С. 9, 240; Тверская Д. И. Москва второй половины XVII в. – М., 1959. – С. 79–80.

¹⁴ Срезневский И. И. Замечания о материалах для географии русского языка // Вестник Русского географического общества. – 1851. – Ч. 2. – Кн. 1. – Отд. 5. – С. 6.

¹⁵ Герд А. С. Роль речевых ситуаций в формировании регионально-го языка: Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. – М., 1982. – С. 208.

¹⁶ Филин Ф. П. О лексике древнерусского языка // Вопросы языкознания. – 1982. – № 3. – С. 12.

¹⁷ О тинах лингвистических карт см.: Сухачев Н. Л. Лингвистические атласы и карты // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. – Л., 1974. – С. 37–38.

¹⁸ Филин Ф. П. Некоторые проблемы реконструкции древнерусских диалектов // Славянское языкознание. IV Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1968. – С. 387–388.

¹⁹ Розов Н. Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики. – Л., 1971; Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки русского Севера (Очерки по истории книжной культуры XVI–XVII вв.). – М.; Л., 1977.

2. СЕМАНТИКА И ГЕОГРАФИЯ НАЗВАНИЙ САРАФАНОВ И ПОНЕВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVI–XVII ВВ.)

Лексические группы названий одежды в русском языке XVI–XVII вв. активно изменялись и увеличивались количественно. Это обеспечивалось постоянным массовым функционированием лексики, обозначавшей предметы повседневного обихода, а также рядом экстралингвистических причин: 1) на изменение словника названий одежды влияла постепенная смена форм быта, культура других народов; 2) усиление общерусских начал в сфере материальной культуры и быта способствовало увеличению числа лексем междиалектного и наддиалектного употребления; 3) возрастание различий между разновидностями письменной речи, изменение жанров письменности, формирование новых принципов организации литературных текстов вело к жанрово-стилевой дифференциации языковых средств, которая коснулась и предметно-бытовой лексики. Давали о себе знать и неодинаковые темпы изменения вкусов по отношению к разным типам одежды. Ускоренное развитие семантики наименований женской одежды объясняется ее более быстрой изменчивостью по сравнению с мужской, военной, профессиональной и т. д.

Рассмотрим эволюцию названий женской верхней комнатной или летней одежды типа *сарафан* и типа *понева*, которые по данным современной диалектологии противопоставлены друг другу в территориальном отношении: названия разновидностей *сарафанов* – северновеликорусские, *понева* и наименования ее вариан-

тов – южновеликорусские. К названиям одежды типа сарафана относились *сарафан* (*сарафанец, сарафаненка, сарафанишко*), *саян, костычь – костечь, костолан, шушпан, крашенинник, растегай*. Разновидность юбки из нескольких кусков ткани разного цвета, не сшитых с одной стороны, получила названия *понева – понява, понка, деланка, синевка, снованка, плахта*. Анализ этих наименований на материале письменных источников XVI–XVII вв. позволяет проследить эволюцию их семантики, учесть территориальное распределение, сферу употребления и семантические связи между словами внутри каждой из этих групп.

Слово *сарафан* (через тюркские языки из персидского – [Фасмер-III, с. 561]) вначале имело значение ‘легкая мужская общесловная одежда типа кафтана, рабочая или походная’, впервые в этом значении оно зафиксировано в тексте 1514 г.; в XVII в. мужской *сарафан* ‘тип мехового кафтана’ лишь изредка упоминается в царской и архиерейской одежде (последнее упоминание датируется 1648 г.); слово *сарафан* в значении ‘тип женской одежды’ первый раз отмечается в тексте 1565 г.

Приведем несколько фактов со словом *сарафан* ‘тип мужской одежды’: «русские воеводы начаша ходити и ездити во охабняхъ и *сарафанехъ*, а доспехи своя на телеги и в сумы skutаша» (в скобках указано место написания текста, дата, тип или название источника: 20–30 гг. XVI в.) [Ник. лет.-IX, 27]; «шиты гсдрю архиепспу два *сарафана* холодные один киндяшнои ценинной а другой крашенинной лазоревой» (Вологда, 1646 г., кн. пр.-расх. арх. Дома) [ГАВО. Ф. 887. Д. 19. Л. 283]; «*сарафанъ* халдейской красной ветхъ оплечье шумиха» (Москва, 1648 г.) [Кн. пер. казны Ник., с. 68]. Последние примеры употребления *сарафан* в значении ‘тип мужской одежды’ связаны с обозначением одежды архиепископа и одеяния халдеев – участников религиозного представления «шествия на осляти». Все это свидетельствует о постепенности утраты указанного значения в слове *сарафан*.

Проиллюстрируем значение ‘тип женской одежды’ у слова *сарафан*, с этим же значением отмечен деминутив *сарафанец*: «дочере ж моей княжне Огрофене моего платья в приданые... *сарафанец* на зелене земли, шелк дволичен, а на нем дватцать три пугвицы» (1565 г., духовная кн. Оболенского) [АФЗХ-2, с. 210]; «мне Ондрею дати Марьи за пожилая на *сарафан* рубль да на однорядку рубль» (Смоленск, 1611 г., рядная) [Пам. об. Смол.,

с. 133]; яв[ил] городечанин Федосей Евтифьев снѣ... женской *сарафан* (Тихвин, 1626 г., кн. там.) [ЛОИИ. Ф. 132. Оп. 2. Д. 1265. Л. 145]; «на Офросинье было платья *сарафан* крашеный» (Тула, 1621 г., явка) [Д. холоп., с. 215].

Слово *сарафан* в значении ‘тип женской легкой одежды’ встречается в тихвинских, свирских, ростовских, двинских, вологодских, великоустюжских, вятских, чердынских, московских, смоленских, тульских, рязанских, курских и астраханских письменных источниках XVII в., т. е. оно было элементом общерусского распространения, свойственным деловой письменности и устной речи той поры. Есть все основания полагать, что слово *сарафан* в XVII в. преимущественно относилось к женской, а не к мужской одежде. Разновидности женских сарафанов получали название по материалу или особенностям отделки.

Костычь (*костечь*) имело значение ‘крашеный сарафан особого покроя с нашивками из шнура – костылями на боковых швах’. Отмечается с 1595 г. в актах Двинского и Важского уездов: «внуке моей Офимьи замужной *костычь* крашенинной» (Двин. у., 1595 г., духовная) [Гр. Дв.-I, с. 337]; «снесли с повети с моей с сарая числом вдесятере рубашек и *костычев* женских и тонких и толстых» (Важ. у., 1612 г., чел.) [ГААО. Ф. 829. Оп. 1. Д. 794]; «яз Анна взяла... *костычей* тонких и пачесных» (Двин. у., 1628 г., рядная) [Ефименко, с. 28]. В архангельских говорах наблюдается слово *костычь* ‘обшитый внизу хазом сарафан’ [Подвыс., с. 72; СРНГ-XV, с. 86].

Близкое по образованию *костолан* отмечено только в новгородских актах: «охоратков сказала у себя сукман желтой простой, рубашка муская простая да *костолань* женской» (В. Новгород, 1651 г., распрос) [ДТП-IV, с. 440]. В XIX–XX вв. *костолан* ‘сарафан’ обнаружено в новгородских, псковских и тверских говорах [СРНГ-XIII, с. 117]. Учитывая историческую связь псковско-новгородских и северодвинских говоров, можно предположить этимологическую близость лексем *костычь* и *костолан*.

В письменных источниках, связанных с западной частью средне-великорусской и южновеликорусской территории, наряду с общерусским *сарафан*, отмечается с 1660 г. *саян*, *саянец* ‘сарафан или подобная ему женская одежда’, слово заимствовано через польский из итальянского [Фасмер-III, с. 567]. *Саяны* упоминаются среди польского платья, а также в одежде западнорусского населения: «Да платья кафтан полской... да *саянец* небольшой

отласной зеленой... да сестры нашей Марфы платья взял у брата своего Степана *саян* алой тафтяной» (Минецкая вол., 1660 г., роспись) [АЮБ-III, с. 260]; «Покрали у меня бедной... *саян* синий суконный» (Старобыхов, 1663 г., пиaseц русский) [АМГ-III, с. 523]. Вторая половина XVII–начало XVIII в. – время утверждения слова *саян* в ряде русских говоров, именно в этот период, по наблюдениям Е. Н. Борисовой и С. И. Коткова, оно отмечается в Смоленске, на Валдае, в Курске¹.

В XIX–XX вв. *саян* в значении ‘сарафан’ представлено в смоленских и тверских говорах [Опыт, 198], в значении ‘юбка’ – в курских (Там же). *Саян* ‘распашной сарафан на застежках спереди, от пояса до подола’ был известен в Поволжье [Мельников П. И. (Андрей Печерский). В лесах. – М., 1958. – Кн. 2. – С. 408].

Слово *шушпан* – *сушпан* первоначально наблюдается в письменности как имя собственное: «Кн. Василий Юрьевич *Шушпан* Шелешпанский» (конец XV в.) [Веселовский, с. 375]. В значении ‘женская легкая рабочая одежда из простого сукна, тип сарафана’ оно фиксируется в свирских и вологодских текстах первой половины XVII в.: «Купил... рубашку да *сушпан* да мех» (Свирь, 1615–31 гг., кн. расх.) [Кн. расх. Свир. м. Д. 6. Л. 35 об.]; «Даны коровнице сапоги да холста на *шушпан* 8 аршин» (Вологод. у., 1632 г., кн. прих.-расх. Прил. м.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 32. Л. 44 об.]. В XIX в. здесь *шушпан* ‘сарафан без складок назад’ [Опыт, с. 269].

В двинских актах XVII–XVIII вв. отмечена лексема *крашенинник*: «Я Парасья взяла... сапоги красные въ одиннадцать алтынъ да *крашенинникъ* въ полтину» (Двин. у., 1654 г., рядная) [Ефименко, с. 30]; «*Крашенинник* на нем пугвиц серебряных тритцеть» (Двин. у., 1719 г.) [Арх. Он.]. Здесь значение слова можно интерпретировать как ‘сарафан из крашенины’. Ср.: «*Крашенинник* – разновидность сарафана из тонкого домотканого крашенного холста» [Сл. Соликам., с. 260].

В южновеликорусских актах *крашенинник* – ‘верхняя теплая одежда, крытая крашениной или сшитая из крашенины, надеваемая поверх сарафана’. Обратим внимание на цитату из курского судного дела 1697 г., где *крашенинник* упоминается в перечне теплой одежды между шубами и шубками, здесь же называется и *сарафан*: «Да платья у него Андрюшки два зипуна сермяжных новых две шубы бораньих муская да женская *крашенинникъ* шупка женская суконная два *сорофана* женских» [Сб. Шукина-III,

24]. Ср.: «*Крашенинник – сарафан* или кафтан из крашенины» [Даль-П, 186, без указания места].

Кумачник 'сарафан из кумача' фиксируется в северновеликорусских актах: «Болшей дочере Евдокее ожерелье да однорядка... да *кумачник* с плетением и с пухом... да сарафан киндяшной лазоревой с плетением и с пухом» (Устюг, у., 1672 г., духовная) [АХУ-I, с. 439]; «Оставляла на соблюдение сукню яренокъ красного сукна да *кумашникъ* изношеной да сарафан крашенинной» (Белозерск., 1692 г., челоб.) [Кол. Зинченко, № 136, с. 9]. Это слово позднее отмечается в костромских, ярославских, новгородских, архангельских, олонечких, онежских, владимирских, вятских, нижегородских, пермских, пензенских и рязанских говорах [Даль-П, с. 217; Опыт, с. 96; СРНГ-XVI, с. 81].

На территории от Валдая до Нижнего Новгорода употреблялось слово *растегай* в значении 'распашной сарафан у крестьянок': «Сшилъ он за те днги скотья двора девке Марфицы *растегай* крашенинной» (Валдай, 1665 г.) [Кн. Ивер. м.-I, с. 111]; «Платья:... телогрею, *ростегай* кумачной, треух» (Н. Новгород, 1684 г.) [АЮБ-III, с. 429]; «Людского платья... три *ростегая* крашенинных аляныхъ, цена полтора рубли» (Арзамас, 1690 г., челоб.) [Мат. ист. и юрид. района б. приказа Казанского дворца. Симбирск, 1898. Т. 1. С. 34].

Сарафаны из дубленого холста в Зауралье получили название *дубленник*: «Снесла с собою... верхницу *дубленник* новой, цена 4 алт.» (1670 г.) [А. кунгур., с. 20]. Учитывая, что *верхница* в пермских говорах имеет значение 'сарафан из холста' [СРНГ-IV, с. 161], можно думать, что *дубленник* выступает здесь как средство конкретизации: 'сарафан из дубленого холста'. В XIX в. наблюдается *дубленик*, *дубленка* 'дубленый полушубок, холщовый сарафан' [Даль-I, с. 498, без указания места].

Семантическим соответствием зауральскому *верхница* выступает белозерское *верхник*, где использован тот же принцип номинации – способ ношения одежды: «Да *верхникъ* купилъ дал 8 алтн» (Белозер, у., 1598 г., кн. прих.-расх. Новоезерского м.) [ЛОИИ. Ф. 115. Д. 662. С. 28]; «Купил рубашку женскую да *верхник* да волосник» (Белозер. у., 1624 г., кн. прих.-расх. Новоезерского м.) [Там же, с. 122. Ср.: «*Верхник* – сарафан». Белоз. [СРНГ-IV, 160].

Словообразовательное гнездо с корнем *понев-* (*панев-*, *поняв-*) было известно в русском языке раньше, чем слово *сарафан* и его

производные. *Понява*, *понева* фиксируется в текстах с XI в. в значениях 'кусок полотна', 'покрывало', 'плащаница, погребальная пелена', 'завеса', 'одеяло, покрывало', 'ковёр', 'штука холста', 'одежда' [Срезн.-II, с. 1185–1186]. Почти все эти значения сохраняются в старорусском языке, но с разной степенью употребительности.

Как название одежды *понява* 'исподняя одежда, рубашка' употребляется изредка в текстах церковнокнижного характера: «въ нем же бе одень оставивъ на немъ однуу тѣчию *поняву*... възми и *поневоу* его, яко красьна есть ... съвълѣкохъ *поневоу* съ него, да и быхъ нага оставилъ» (XI в.) [Патерик Син., с. 138–139]; «Облачаше же ся црь и сам в тонкоу и белоу *поневоу*» (XVI в., Сказ, о создании ц. св. Софии) [Лож. и отреч. кн., с. 21]; «Анна Амасова покоила его, яко матери чадое свое и гнойные его ризы измываху и облачашу в *понявы* мяхкие» (к. XVII в., О трех исповедниках) [Жит. пр. Аввакума. М., 1960. С. 297].

Значение 'плащаница, погребальная пелена' зафиксировано в словарях XVII – начала XVIII в., но весьма редко наблюдается в текстах, что свидетельствует о его архаичном, книжном характере: «*Понява* – плащаница» [Алф.⁽¹⁾ Л. 184 об.]; «*Понява* – зри плащаница» (1704 г.) [Лекс. тряз. с. 493].

Понева в значении 'штука холста' представлено в южной части северновеликорусской территории на линии Весьегонск – Шуя, употребляется изредка по традиции в таможенных грамотах. Позднее это значение не отмечается. См. примеры: «Съ пяти *поневи* полденги, съ кожи съ коровьей полденги» (1563 г., Весьегонск. там. грамота) – [Срезн.-II, с. 1186]; «Таможеникомъ у нихъ имати.. съ дву *поневи* полденьги» (1614 г., Шуйская там. грамота) [Борисов В. А. Стар. акты... к описанию г. Шуи. М., 1851. С. 251]. Вероятно, знакомо было слово и в Москве, поскольку таможенные грамоты оформлялись от имени царя.

Семантическая неопределенность некоторых контекстов позволяет по-разному толковать значение слова *понева*, *понка*, особенно если учесть при этом более поздние диалектные данные. Например: «шесть *понев* да трои серги; Възял сковорода да четьре понкы да двои сергы» (Яросл. у., 1543 г., правая грамота) [А. сб. Лих.-II, с. 196, 197]. Ср.: «*Понева* – женская шуба, крытая крашениной»². Рассмотрим иллюстрацию из тихвинского акта 1656 г.: «явил Томила Шевелев ковришко пестрое, *понява* крашенная опояска ижерская» (Тихвин, 1656 г., кн. там.) [ЛОИИ.

Ф. 132. Оп. 2. Д. 1307. Л. 9 об.]. Ср.: «*понева* – женский головной убор, повязка; широкая долгая одежда» [Даль-III, с. 289].

У слова *понка* можно усматривать значение ‘длинная верхняя женская одежда, надеваемая поверх рубахи’: «черницы ходят я коже мирския жены, в *понках* черных... Свитка, сиречь рубаха, якоже у женъ мирскихъ была, только сверху *понка* черная» (1653 г.) [Аре. Сух. Проскинитарий, с. 24].

В древнерусских текстах XI–XIV вв. не зафиксировано слово *понева* в значении ‘женская одежда типа юбки’. Лишь с конца XVI в. в южновеликорусских письменных источниках появляются такие примеры, хотя семантика слова в них не всегда очевидна: «старецъ Насонъ принесъ воемъ алтынъ, продалъ две *поневы* женские» (Дорогобуж. 1593 г.) [Кн. расх. Болд. м., с. 189]; «грабежем животов их у них поймал... 2 *поневы* шолком розвезены» (Путивль, 1639 г., чел.) [Воссоед. Укр. с Рос.-I, с. 278]; «с Чючиной дочери *поневу* снял, с Семеновы жены *поневу* снял, с Яцковы Телятниковы дочери *поневу* снял, с Андреевы жены *поневу* снял» (Чугуев, 1641 г., чел.) [Там же, с. 320]. Хронология выявленных южновеликорусских примеров дает основание говорить о постепенном распространении слова на южновеликорусской территории, начиная с юго-запада: «восмь рубашекъ женскихъ, семь наметокъ, три *поневы*» (Короча, 1646 г., роспись) [ЧОИДР. 1859. Кн. 2. Разд. II. С. 218]; «та жонка ево, Ивкина, невестка обявилась въ лесу на ней... рубаха и *понева* и покромъ» (Воронеж, 1679 г., чел.) [Тр. Ворон. УАК-5, с. 524]; «да онъ же Иванъ грабежомъ взялъ... съ жонакъ тритцать *паневъ*» (Орел, XVII в., чел.) [Тр. Орл. УАК-6, с. 98]. В данном значении это слово представлено в Дорогобуже, Смоленске, Короче, Воронеже, Орле, Тихвине, Рязани³.

Употреблено оно в московском переводе Литовского статута XVII в.: «за сермягу полполтины, за *поневу* синюю черленую – полполтины, за *поневу* черную – гривна» [ЛЗАК за 1915 г. Пг., 1916. Вып. 28. С. 370].

Этнографические типы понев уже в то время были различными, но в семантике общего названия это было невозможно учесть, поэтому разновидности понев получали наименования по цвету ткани или особенностям изготовления: *деланка*, *синевка*, *снованка*. Первые два из них представлены только в воронежских источниках: «покромъ черчатая, кадман, *понева деланка*, рубаха

женская алленая» (Воронеж, 1676 г., роспись) [Тр. Ворон. УАК-5, с. 327]; «у меня животишек моих *понева деланок* и синевок... и всякой рухляди взято на пятнатцат рублей» (Воронеж, 1648 г.) [СлРЯ XI–XVII вв.-4, с. 204]⁴.

Старорусские примеры не дают оснований для конкретизации значения указанных слов, обычно их толкуют с помощью более поздних диалектных данных (см. образец: [СлРЯ XI–XVII вв.-4, с. 204]). *Снованка* ‘разновидность поневы’ – смоленское слово: «да платя побрали... сорок *снованок*» (Смол, у., 1609 т.) [Пам. об. Смол., с. 8].

Как название женской одежды слово *понева* нашло отражение в словарях XVIII в.: «*понява* – одеяние женское» [Лекс. Вейсмана, с. 547]. Ср. диалектные данные: «*Понева*. 1. Короткая юбка, сшитая из трех разноцветных шерстяных лоскутьев. Кур. Ряз. Тамб. Тул. 2. Суконный или холстинный однопольный кусок, прикрепляемый крестьянками сзади, подобно полуюбке. Смол.» [Опыт, с. 170]. *Деланка* и *синевка* бытуют позднее в воронежских говорах, *снованка* сохраняется как смоленское слово⁵.

Название *плахта*, проникшее из украинского языка, не получило широкого распространения даже в южновеликорусской письменности. Одну фиксацию находим в острогожской челобитной 1698 г.: «*пять плахтовъ да рубахи*» [Мат. Ворон.-5, с. 276]. В одном переводном тексте у слова *плахта* можно видеть значение ‘тип верхней мужской одежды’: «каков есть сей юноша, а хотя и въ *плахте* ходить, а нъеть то простак» (1688 г.) [Рим. д.-I, с. 17]. В национальный период *плахта* в значении ‘юбка, понева’ отмечается в касимовских и курских местах, а в значении ‘головной платок’ – в тверских [Даль-III, с. 122].

Таким образом, названия женской верхней комнатной или летней одежды имели две особенности: во-первых, основные наименования *сарафан* и *понева* существовали с глубокой древности и на протяжении веков меняли свой семантический объем, они имели разные значения и неодинаковую территорию распространения в старорусский период в соответствии с обозначаемыми этнографическими реалиями; во-вторых, названия разновидностей сарафанов и понев, возникшие как результат именования по материалу и покрою, находят отражение в местной деловой письменности XVI–XVII вв. и имеют отчетливо выраженный диалектный характер. Данные письменных источников позволяют более конкретно представить эволюцию названий *сарафан* и *понева* с точки

зрения семантики и географии. Слово *сарафан* в первой половине XVII в. утрачивает значение 'тип мужской одежды' и активно развивает значение 'разновидность женской одежды', в котором становится фактом общерусской живой речи и делового языка. Древнее славянское *понева* сохраняет в старорусском языке многие свои значения, хотя часть из них зафиксирована лишь в церковно-книжных текстах. В значении 'женская одежда типа юбки' оно постепенно распространяется в конце XVI – начале XVII в. на южновеликорусской территории, что, вероятно, объясняется причинами социально-политического и этнографического характера. Можно думать, что более отчетливо регионы распространения слов *сарафан*, *понева* со значением 'женская одежда' оформились уже в национальный период.

Названия разновидностей сарафанов и понев имели местный характер: *костыч* (Двина, Вага), *шушпан* (Свирь, Вологда), *верхница*, *дубленник* (Кунгур), *крашенинник* (Двина), *кумачник* (Великий Устюг, Белозерск), *саян* (Западная Русь), *растегай* (средняя Россия), *снованка* (Смоленск), *деланка* и *синевка* (Воронеж), *плахта* (Острогжск). Использование одного и того же мотивирующего признака (по материалу) неоднократно приводило к развитию многозначных наименований: *крашенинник* 'сарафан' и *крашенинник* 'тип теплой верхней одежды'. По отношению к указанным словам лексемы *сарафан* и *понева* функционировали как общие наименования. Учитывая, что диалектная лексика лишь частично отражается в письменности, можно утверждать, что местных названий в старорусский период было больше, чем пока выявлено нами. Такие типы женской одежды, как *сарафан* и *понева*, уже в старорусский период отличались значительным территориальным разнообразием, и это сказывалось на развитии их наименований.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Борисова Е. Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. – Смоленск, 1974. – С. 74; Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв. – М., 1970. – С. 152.

² Мельниченко Г. Г. Краткий ярославский областной словарь. – Ярославль, 1961. – С. 157.

³ См. еще примеры: Борисова Е. Н. Из истории некоторых слов бытовой лексики на материале рязанских памятников XVI–XVII вв. // УЗ

Балашовского пед. ин-та. – Балашов, 1956. – Т. I. – С. 123–126; Котков С. И. Указ. соч. С. 149; Хитрова В. И. Лексикологические заметки // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1972. – С. 143–146.

⁴ См. еще примеры: Хитрова В. И. Указ. соч. С. 156.

⁵ См.: Хитрова В. И. Указ. соч. С. 132–133, 145; Борисова Е. Н. Указ. соч. С. 72.

3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЛОКАЛИЗМЫ В ГРУППЕ НАЗВАНИЙ РУКАВИЦ

Богатые архивные собрания сохранившихся до наших дней памятников письменности второй половины XVI–XVII вв. и уже выполненные лексикологические описания части из них позволяют делать попытки воссоздания лингвистического ландшафта прошлого. Ниже на материале архивов Вологды и Архангельска, картотеки ДРС и многочисленных публикаций текстов XVI–XVII вв., принадлежащих различным территориям Русского государства, анализируются названия рукавиц¹.

Очевидно, что в севернорусских говорах набор слов, выражающих понятие ‘рукавица’, богаче, чем в южнорусских. Однако уже в изучаемый период рукавицы использовались не только для защиты рук от холода, но являлись элементом рабочей одежды и даже использовались в парной бане. Об этом свидетельствуют многие факты, например: «вологодских *рукавиц* дубленых на страду выдал 12» (расх. кн. Богосл. м., 1597 г.) [ГААО. Ф. 829. Оп. 3. Д. 5. Л. 31]; дано сторожам на *рукавицы*, в которых им сечь дрова (кн. пр.-расх. моск, приказов-I, 1614–1619 гг.) [КДРС]; «7 *рукавиц* солильных добрых цена 23 ал 2 де 12 *рукавицы* солильных отирков цена 6 алтнь» (Астрах, акт., № 983, скл. 7, 1627 г.) [КДРС]; «даны *рукавицы* в хлебню... даны рукавицы на каменное дело» (пр.-расх. кн. С.-Прилуцк. м., 1671 г.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 45. Л. 179 об.]; «девятнадцатеры *рукавицы* ловецкие новые» (оп. Ферапонт. м., 1680 г.) [ГАВО. Ф. 883. Оп. Д. 59. Л. 77 об.]; «велено купить верховым богомольцамъ въ баню... *рукавицы* съ вариги» (1693 г.) [Заб.-I, с. 502].

Всего в актах XVI–XVII вв. нами обнаружено 37 слов и их вариантов от 14 корней: *вареги* – *варенги* – *варяги*, *вачеги*, *везени-*

цы – везяницы – вязеницы – вязяницы – везонки – везенки, верхи – верхницы – верхонки – верхоньки, голицы, дельницы, деяняцы, дьяльницы – деяльницы, дубленицы – дубленки, исподки – исподницы, камошницы, надолонки, персницы – перстчатки – перстянки – перстяницы – перчатки, ровдужницы, рукав, рукавки – рукавцы, рукавицы – рукавиченки, шубницы.

К общерусским названиям в то время относились слова *рукавицы, рукавки, вязаницы, голицы*. Примыкает сюда по значению также общерусское олово *рукав* ‘муфта из меха или плотной ткани для укрытия рук’.

Нестабильность фонетико-морфологического облика слова *вязаницы* (*везеницы – везонки – вязеницы – вязяницы – везяницы – везенки*) объяснялась, вероятно, тем, что оно не относилось к числу основных специальных наименований, а чаще употреблялось как пояснительное, дополняющее и легко могло заменяться определением *вязаные*, поэтому, может быть, оно нечасто употребляется в текстах. Например: «купил десятеры исподки *вязяницы* купил трои исподки вареги *вязаные*» (пр.-расх. кн. С.-Прилуцк. м., 1617 г.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 45. Л. 15, 22]; «даны рукавицы дубленые да *везеницы* новые... даны рукавицы дубленые с *ыстотками вязаными*» (кн. выдачи рухляди вологод. арх., 1683 г.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 127. Л. 20 об.-21].

Специфическим признаком слов *голица* и *варега* была их более частая употребительность в северных актах по сравнению с южнорусскими (к часто употребляемым относим слова, зафиксированные в актах данной территории не менее 10 раз не менее чем в трех документах, написанных разными писцами).

В Москве слово *голица* употреблялось одинаково часто наряду со словом *рукавица*, наиболее ранние примеры его употребления тоже связаны с Москвой: «Куплено в меньшую казну полтора раста рукавиц *галиц* но осми алтын без дву денег десятков» (пр.-расх. кн. Волоколамск. м., Д. 6. Л. 198 об. 1587–1588 гг.). [КДРС]. Употребительность этого слова в говорах Москвы способствовала его закреплению в деловом языке Московского государства и расширению его употребления в южнорусских актах XVIII в.² Самая ранняя фиксация слова *вареги* (*варяги*), по материалам картотеки ДРС, относится к 1551–1559 гг.: «Княжим людем дал ... две шапки с сукном дал гривну рукавиц *варяги* дал алтын» (кн. расх. арханг. Корельского м., № 935, л. 28 об.) [КДРС]. Наиболее часто встречалось в В. Устюге, Тотьме,

Сольвычегодске, на Ваге. Локальным являлся вариант *варенги*, обнаруженный В. Я. Дерягиным в платяной книге Михайло-Архангельского монастыря за 1696 г. и отмечаемый в конце XIX в. в Тотемском уезде в форме *варенки* [СРНГ-4, с. 51].

Несомненно севернорусским являлось слово *вачеги* 'суконные рукавицы', представленное из славянских языков только в русском. Думается, что в пользу разного происхождения слов *варега* (от корня *вар-* (*варить*) – по версии В. Я. Дерягина) и *вачега* (из саам. *vatts, vattsä* 'рукавица' [Фасмер-I, с. 280]) говорит и разная территория их употребления в старорусский период: *варега* – общерусское, *вачега* – севернорусские говоры. Приведем примеры: «Куплено сукна аршинъ на *вачеги*» (приходо-расх. кн. вологод. арх., 1650 г.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 24. Л. 286 об.]; «портной швечик шыл работным людемъ два кавтана да трои *вачеги*» (арх. Онеж. Крест, м., 1661 г.) [КДРС], «трои *вачеги* суконные» (дело патр. Никона, 398, К.-Белоз. м., 1676 г.) [КДРС]. Слово отмечено также в текстах XVI–XVII вв., относящихся к Двинскому и Ванскому уездам. В настоящее время употребляется только в говорах северновеликорусского наречия [СРНГ-4, с. 77–78], а также является профессиональным термином металлургов, обозначая грубые шерстяные рукавицы, используемые доменщиками при работе у печи.

В деловой письменности зафиксирован характерный для севернорусской территории обычай одновременного ношения двух пар рукавиц: нижних – вязаных и верхних – кожаных или суконных.

Верхние рукавицы носили соответствующие названия: *верхи*, *верхонки* – *верхоньки*, *верхницы*. Варианты названий были территориально распределены: *верхи* – Вологда, Архангельск; *верхонки* – *верхоньки* – Архангельск, Онега, Вага, южное Зауралье³, *верхницы* – Архангельск, Вага, Вологда, Ярославль, В. Устюг, Сольвкчегодск, Якутск. Наибольшей употребительностью отличался вариант *верхницы*. Самую раннюю фиксацию слова *верхи* в указанном значении обнаруживаем в приходо-расходной книге тотемского соляного промысла вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря за 1607 г.: «купил старец Геронтеи на Вологде трои рукавицы *верхи* ... купили старцу Павлу рукавицы *верхи* с ысподками» [ГАВО. Ф. 512. Оп. 3. Д. 6. Л. 93 об., 94 об.]. Приведем примеры и с другими вариантами: «шестеры рукавицы навгородская *верхницы*» (кн. расх. Корел. м., № 937, л. 62 об., 1560–1563 гг.) [КДРС]; «10-ры рукавицы *верхницы* 10 алт... рукавицы *вер-*

хонки 5 д» (расх. кн. Богосл.м. 1597 г.) [ГААО. Ф. 829. Он. 3. № 5. Л. 14 об., 17]; «купил рукавицы себе старец Иосиф *верхницы* и с ысподками... купили старцу Деонисею рукавицы *верхницы* и с ысподки» (пр.-расх. кн. вычегод. промысла С-Прилуцк. м., 1615 г.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 17. Л. 16]; «девятеры деяницы да *верхонки* дал 23 алтна 2 де» (расх. кн. Свир. м. Д. 160. Л. 56 об., 1615–1631 гг.) [КДРС]; «рукавицы *верхницы* барановые» (В. Устюг, 1668 г.) [Шляпин, с. 809]; «У него ж, Ивана, куплены шестеры *верхоньки* с ыспотками» (арх. Онеж. Крестн. м., 1673 г.) [КДРС]; «колмогорской покупки пятьдесят варегъ тридцать семеры *верхницы* уресковые» (акты Холмогор. тамож. избы, № 847, 1647 г.) [КДРС]. Современная география анализируемых слов также исключительно севернорусская [СРНГ-4, с. 162, 168–169]. Не зафиксировано в говорах только слово *верхи* в указанном значении.

Севернорусским являлось в изучаемый период слово *исподки* ‘нижние рукавицы, надеваемые под другие, верхние’ [Сл. РЯ XI–XVII вв.-6, с. 277], см, примеры: «а грабежем с меня сорвали... рукавицы ровдужьи на *испудках* новые» (В. Устюг, у., 1634 г., явка) [АХУ-III, с. 165]; «Генваря в 9 день дано *испотьки* новые под рукавицы волчьи» (В. Устюг, 1668 г.) [Шляпин, с. 231]. Наиболее употребительно слово было в Архангельске, Вологде, В. Устюге и Сольвычегодске, отмечено также в актах Ваги, Олонца и южного Зауралья.

Слова *исподка* и *верхница* обозначали в севернорусских актах не только понятие ‘рукавица’, но называли также нательную одежду, причем, по нашим данным, и в этих значениях слова тоже принадлежали к севернорусским диалектизмам: «А въ коробье, государь, было... двадцать рубашекъ мускихъ и женскихъ *исподокъ* и *верхницъ*, цена восемь рублевъ» (В. Устюг, у., 1633 г., явка) [АХУ-III, с. 153]; «пропало у меня сироты з двора с сараю с шеста две рубашки мужьская да женская... тое свою женскую *испотку* познала на ней Кунаве Игнатове жене и почала ей говорить что моя рубашка (Вологод. у., 1662 г., чел.) [ГАВО. Ф. 1260. Он. 7. Л. 42]. Кстати, слово *исподка* ‘нижняя рубашка’ отсутствует в СлРЯ XI–XVII вв. Попытку предупредить двусмысленность, порождаемую многозначностью слова, наблюдаем в следующем примере: «того же дни купил тринатцатеры *исподки* рукавишных дал тринатцат алтнъ днгъ» (пр.-расх. кн. С-Прилуцк. м., 1652 г.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 39. Л. 10 об.]. Данный пример позволяет предположить, что *исподки*

могли употребляться и как внутренняя, пришиваемая к кожаной или суконной оболочке часть рукавиц.

Вариант *исподницы* отмечен всего один раз в явочной челобитной из Тарногского Городка: «вынесь изъ избы... шапку вершекъ костришной, черной, подкладъ овчинной, да рукавицы барановые съ *исподницы* съ вареги» (В. Устюг. у., 1673 г., явка) [АХУ-III, с. 777].

К названиям рукавиц В. Я. Дерягин отнес и форму *исподы* в следующем примере: «Он же взял... рукавицы и с *исподами* цена 4 ал.» (кн. казен. товаров Пертоминского м. 1686–1687 гг.). Однако здесь, на наш взгляд, слово *исподы* означает внутреннюю, пришитую к верхней оболочке часть рукавиц или изнаночную сторону одежды, подкладку [Сл. РЯ XI–XVII вв.-6, с. 276]. Думать так позволяют и соображения лингвогеографического характера: *исподки*, *исподницы* ‘нижние рукавицы’ свойственны были только севернорусским говорам, *испод* ‘изнаночная сторона, подкладка’ – явление общерусского распространения, таким же является и форма *исподы* в выражении *рукавицы о исподами*, см. пример из московской грамоты: «Били нам челом смольняня посацкие торговые люди ... чтоб нам их пожаловати велети из Смоленска с товаром торговати пропустити в Литву, а товару де у них... 2000 рукавиц с *ысподами*, да у Дорошки ж товару 1200 рукавиц с *ысподами* да 500 ирх шубных» (гр. из Казен. приказа 1604 г.) [Русс.-бел. связи. Минск. 1963. С. 60].

На севернорусской территории употреблялись слова *деяницы* (с 1578 г.), *дельницы* (с 1670 г.), *деяльницы* (с 1687 г.) – *дияльницы* (с 1631 г.). Первая фиксация слова *деяница* относится к 1578 г.: «да купил *деяницы* дал алтынъ» (пр.-расх. кн. Ант.-Сийского м., № 1, л. 79 об.) [КДРС]; для остальных слов первые употребления приводит Сл. РЯ XI–XVII вв.-4.

Слово *деяница* – наиболее употребительное в этом списке, оно было представлено в актах Свирского и Иверского Валдайского монастырей, в таможенных книгах Тихвинского монастыря, а также в актах Пскова и Двинского уезда, например: «дано деяничнику найму от вязения *деяниц* 14 алтнъ» (кн. расх. Свирск. м. Д. 160. Л. 22 об., 1615-1631 гг.) [КДРС]; «Куплены... двою рукавицы борани и з *деяницами* братии» (кн. старорусск. сол. промысла Иверского Валд. м. Д. 22. Л. 126 об., 127, 1622 г.) [КДРС]; «явиль тифинец Данило Куколской товару... сапоги да Л *деяницы* да зипун» (там. кн. Тихвин. м. Д. 355. Л. 36 об.,

1624 г.) [КДРС]; «сняли съ него... рукавицы съ *деяницами*» (Псков. губ. вед., 1845 г., чел., 1671 г., Псков); «рукавицы перстятцы *деяницы*» (Псков, 1607 г.) [Фенне, с. 90].

По первоначальному району бытования слово *деяница* можно считать новгородско-псковским диалектизмом, распространившимся с течением времени на путях новгородской колонизации Севера, что подтверждается и современной географией этого слова [СРНГ-7, с. 342, 347; КСРГК].

Слово *дельница*, по данным КДРС, зафиксировано только в приходо-расходных книгах Онежского Крестного монастыря за 1670 и 1682 гг., например: «Василью Гладкому продано двои сапоги изцелные красные верхницы да *делницы*» [КДРС].

Деяльница – *дияльница* отмечено в актах Свирского и Архангельского Пертоминского монастырей [Сл. РЯ XI–XVII вв.-4, с. 240–241], т. е. там же, где употреблялись слова *деяница* и *дельница*.

Несомненно севернорусским следует признать и малочастотные варианты *дубленицы* – *дубленки* ‘рукавицы из дубленой кожи’. Один пример со словом *дубленицы* из приходо-расходных книг Соловецкого монастыря за 1670 г. привел В. Я. Дерягин; вот еще одна иллюстрация: «Тотемец Иван Трубников продал... бумаги, рукавиц *дублениц*, икры...» (Тотьма, 1676–1677 г.) [ТКМГ-III, с. 620]. Пока не отмечен в литературе и не представлен в КДРС вариант *дубленки*, употребленный в расходной книге Николаевской Мокрой пустыни (Вологод. у.): «да он же Антипа делал семнацатеры рукавицы *дубленки* дано от дела пят алтнь [ВОКМ. Д. 2199. Л. 5 об.]. Возникнув и сохранившись на севере, слово распространилось и за Урал: в XVIII в. оно отмечено в южном Зауралье, в наши дни – в средней части бассейна р. Оби [Сл. Оби-1].

Не отмечено в литературе и не учтено картотекой ДРС севернорусское слово *камошницы* ‘рукавицы из камасов (шкур с оленьих ног)’. Пример с ним встретился в раздаточной книге Троице-Гледенского мон. за 1675 г.: «ему ж даны рукавицы *камошницы* с ыспотками» [ВОКМ. Д. 6823. Л. 4 об., В. Устюг]. Слово сохранилось в современных говорах (Онеж., Арх.) [СРНГ-13, с. 28].

Отмечено в актах слово *надолонки* ‘рабочие рукавицы с кожаной нашивкой на ладони’ от *долонь* ‘ладонь’. Территория его распространения – Новгород, Вологда, В. Устюг, т. е. севернорусские говоры, например: «У него ж куплены трои рукавицы *надолонки*

дано тритцат алтынъ» (кн. Старорусск. сол. промысла Иверского Валд. м. за 1662 г. Д. 22. Л. 128 об.–129) [КДРС]; «дано ... войлок короветник новый, рукавицы *надолонки* и с испотьками ветхими» (В. Устюг, 1668 г.) [Шляпин, с. 255]; «дано на болшую коровню коровником и коровницам... рукавицы верхницы *надолонки* на рубаху и на штаны гребенины» [там же, с. 271]; «ему ж даны июля 9 дня *надолонки*» (С.-Прилуцк. м., 1671 г.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 16. Л. 182 об.]. В наши дни слово в указанном значении представлено только в севернорусских говорах: яросл., перм., карел. [КСРНГ]. Однако чаще *надолонкой* в отличие от *затылка* 'тыльной части рукавиц' называли кожаную нашивку на рабочей поверхности рукавиц, например: «ему же даны рукавицы дубленные ветчаные *надолонки* новые» (кн. выдачи платья Тр. Гleden. м., В. Устюг, 1675 г.) [ВОКМ. Д. 9548/2. Л. 8]; «ему ж даны рукавицы починенные *надолонки* новые затылки старые... ему же даны рукавицы затылки старые *надолонки* новые» (разд. кн. Тр.-Гleden. м., 1675 г.) [ВОКМ. Д. 6823. Л. 32].

Названия, производные от слова *перст*, встретились также на севернорусской территории. См. примеры употребления слова *перстянки*: «Да у него ж было положено моего платишка... кожи поношенные да рукавицы ровдужные *перстянки* да огниво» (акты Верхотур. съезж. избы, карт. № 4, 1649 г.) [КДРС]; «новгородец посадкой члкъ Тимофей Михиевъ онъ явить товару... 9 *перстянки* опоичатые» (кн. там. Свирского м., № 198, № 3, 1661 г.) [КДРС]; «да платья... рукавки *перстянки* лошные» (опись Иверск. м., 1673 г.) [КДРС]. Единственный раз фиксируется вариант *перстяница*, причем в записи иностранца: «рукавицы *перстяници*» (Псков, 1607 г.) [Фенне, с. 90]. Литературный вариант *перчатка* в XVII в. отмечен в смоленских актах 1673–1696 гг.⁴ и в курском документе 1720 г., начало его употребления на севере пока не установлено.

Слово *шубницы* «меховые овчинные рукавицы» фиксируется в XVI в.: «купил двои рукавицы *шубницы* дал 10 де» (кн. пр.-расх. Ант. м., № 1, л. 108, 1580 г.) [КДРС]; «да двум Василиям же дал рукавицы *шубницы* двои новые» (пр.-расх. кн. Важск. м., 1596г.). В XVII в. слово употреблялось в вологодских, тотемских и великоустюгских актах: «рукавицы *шубницы* под сукном синим новым... рукавицы *шубницы* новые под сукном синим» (В. Устюг, 1668 г.) [Шляпин, с. 212, 230]; «Василей Малко поехал в Уну даны голицы и *шубницы* и онучи» (С.-Прилуцк. м., 1671 г.)

[ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д 45. Л. 181 об.]; «продали рукавиц варег, рукавиц *шубниц* ... на 11 р.» (Тотьма, 1676–77 гг.) [ТК МГ-III, с. 580]. В настоящее время слово широко распространено на всей территории, занятой северновеликорусским наречием, и имеет многочисленные варианты.

Отметим, что многие из употреблявшихся в севернорусских актах слов имели и параллельные соответствия в виде составных наименований (*вязаницы* – *вязаные исподки*, *дубленицы* – *дубленые рукавицы*, *шубницы* – *шубные рукавицы* и т. д.), например: «даны *рукавицы дубленые* да *везеницы* новые ... даны *рукавицы дубленые* с *ыспотками вязаными*» (Вологда, 1683 г.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 127. Л. 20–20 об.]; «продали рукавиц *дублениц*» (Тотьма, 1677 г.) [ТК МГ-III, с. 120]; «вологжана Костянтин Симанов, Осип Тарасов продали *рукавиц варег, рукавиц шубниц*» [Там же, с. 590]; «ему ж дал *рукавицы шубные*» (С-Прилуцк. м., 1627 г.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 90. Л. 2 об.]; «ему ж дал *рукавицы перщатые*» [Там же, л. 2]; «Микитка Шашков явил товару 13 кож аленьих 6-ры рукавицы *персницы*» (Сольвычегодск, 1635 г.) [ТК МГ-I, с. 300].

Таким образом, из всей совокупности употреблявшихся в XVI–XVII вв. названий рукавиц значительная часть их встречалась только на севернорусской территории. Отчетливо прослеживается нормализующая роль московской деловой письменности: если слово попадало в московский говор и язык московских приказов, оно обнаруживало тенденцию к общерусскому распространению. Дальнейшая история анализируемых слов сводилась к расширению региона их бытования и в силу этого к увеличению числа фонетико-словообразовательных вариантов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Классификация этих названий по принципам наименования, этимология слов и сведения об их употребительности впервые были приведены: Дерягин В. Я. Названия рукавиц в русском языке // Диалектная лексика. 1973. – Л., 1974. – С. 27–50.

² Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв. – М., 1970. – С. 183.

³ Бражникова Н. Н. Исследование в области лексики южного Зауралья по данным деловой письменности XVII–XVIII вв. АКД. – М., 1971. – С. 10.

4. ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В СТАРОРУССКИХ НАЗВАНИЯХ КОРЗИН

Разработка ареально-лингвистической тематики на историческом материале представляется весьма перспективной для решения целого ряда проблем. Лексическое взаимодействие литературного языка и говоров в разные периоды истории языка, словарный вклад говоров отдельных территорий в общерусскую языковую сокровищницу, соотношение и взаимодействие словаря центра с лексикой местных культурно-письменных центров, территориальная дифференциация лексики, общерусское и местное в ее составе в конечном итоге связаны с основной задачей истории языка XV–XVII вв. — выяснением источников и путей формирования русского национального языка. Если в языке XI–XV вв. ввиду ограниченного числа источников можно отметить лишь некоторые предполагаемые диалектизмы, то в языке XVI–XVII вв. в большинстве случаев возможно выявить диалектизмы очевидные, хотя ареалы их распространения пока не могут быть установлены с абсолютной точностью из-за неравномерного распределения сохранившихся источников.

Названия плетеных вместилищ, о которых далее пойдет речь, благодаря традиционности этих реалий для русского быта имеют длительную историю в языке. Разнообразие материала и технологии изготовления, неодинаковые на разных территориях функции этих предметов определили незначительное число общерусских лексем и большое количество диалектных слов. Главным признаком, определявшим функциональное назначение вместилищ, был способ плетения или сшивания материала: 1) если между полосами материала оставались ячейки, получались вместилища типа *корзины*; 2) если ячеек не было, а емкость состояла из одного-двух сплетенных, сшитых или цельных корпусов, то получался сосуд для хранения жидких и сыпучих веществ типа *бурака*. В ряде случаев одно и то же название могло быть связано с разными реалиями, относящимися и к вместилищам типа *корзины* и к сосудам типа *бурака*.

К средствам общерусского распространения в XVI–XVII вв. относились следующие названия плетеных вместилищ: *короб*, *коро-*

бья, коробка, кошица, лукошко, кузов, пошев. Остановимся более подробно на диалектных названиях корзин.

Слово *кошель* (от *кошь*) наблюдается в письменности с XV в., главным образом в деловых текстах. Имеет несколько значений с общим смыслом 'плетеное вместилище, корзина, короб, плетеный или гнутый из луба, лыка, с крышкой, для различных хозяйственных нужд': «стоит мужик в платье и в шляпе, за плечми держит *кошель*, в левой руке серп» (Москва, опис. фигуры на кубке, 1626 г.) [Заб. Разр., с. 439]; «принято у прошлого казначея старца Игнатия пудъ десять гривенокъ ягодъ нзюмовых и с *кошелемъ*» (кн. прих.-расх. Ант. м. Д. 3. Л. 77. 1636 г., Двин. у.). Слово *кошель* было известно на Севере и в средней России от Поморья до Рязани. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» сделана попытка дифференцировать значения слова с учетом внешнего вида реалии: 'корзина, короб, плетенные или гнутые из луба, лыка', 'заплечный короб, сумка из лыка, корзина с ляжками для переноски на спине', 'котомка, сума для дорожных припасов, бумаг'. Нам представляется более существенным и более обоснованным с точки зрения контекстных данных группировка значений по признаку «функциональное назначение». Кстати, такие значения довольно отчетливо разграничены в территориальном отношении. Так, на территории от Тихвина до Вологды отмечается *кошель* в значении 'плетеное вместилище для одежды': «явилъ *кошелев* платяных» (там. кн. Тихв. м. Д. 75, л. 26 об. 1635 г.); «У меня сироты из *кошеля* пропала рубашка пестрединная» (Вологда, 1699 г.) [Сб. Шук.-5, с. 153]. На севернорусской территории (Тихвин, Вологда, Галич, В. Устюг) было распространено *кошель* 'заплечное плетеное вместилище для сена', часто с определением *сенной*: 20 кошелеев сенных. (Там. кн. Тихв. м. Д. 3. Л. 142 об., 1626 г.); «купил десяток *кошелев* липовых вязаных сошных» (Вологда, кн. прих.-расх. арх., 1668 г.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 43. Л. 55 об.]. Отметим, что в национальный период *кошель* со значением 'корзина; сетка из веревок или лыка для кормления сеном лошадей в дороге' употребляется не только в архангельских, вологодских, псковских, пермских, уральских, ленинградских, но и в московских, тверских говорах [СРНГ]. Есть также основания для выделения значения 'сосуд из луба, бересты или лыка для черпания и переноски воды', с которым слово *кошель* употреблялось на ограниченной территории (от Тихвина и Валдая до Суздаля и Владимира, от Вологды до Волоколамска и Москвы): «куплен *кошел* водоволошнои дано В де» (кн. прих.-

расх. И.-Волоколам. м. , 1592 г.) [ЦГАДА. Ф. 1192. Оп. 2. Д. 10. Л. 124]; «за *кошель*, чем воду тоскать, 8 ден.» (1625 г., Москва) [Заб. Дом. быт-1, с. 613]; «куплен *кошел* лычаной дал пят денегъ на мнстръ х колодезю вода лит.» (кн. прих.-расх. Покр. м. Л. 186, 1690 г., Суздаль). *Водоносной кошель* упоминается в рукописном лексиконе первой половины XVIII в. [Рук. лекс., с. 151], но позднее не встречается.

Отметим также зафиксированное в воронежском акте 1675 г. слово *кошелка* ‘корзинка’: «*кошелка* лычная». (А. Ворон. приказн. избы. Оп. 3. Д. 77). В национальный период *кошелка* в значении ‘корзина, лукошко’ известно в воронежских и ярославских говорах [СРНГ], со значением ‘берестяной кузов с крышкой, носят за спиной’ употребляется в рязанской Мещере [Сл. ряз. Мещеры-1, с. 188].

В древнерусском языке употреблялось образованное от праславянского **lociti* ‘гнуть, сгибать’ [Фасмер] слово *лукно*, *лукньце*, оно имело значение ‘посудина из дерева или луба, тип кузовка или кадочки с обручами, для сыпучих и влажных продуктов; мерный сосуд’. Сохранялось это слово и в старорусский период, но только на определенной территории, см. примеры: «Явил Городецког уезду ис Присель Ванка Семенов тритцат сит ретких и частых тритцат решет да *лукон* иовязистых» (кн. там. Устюжна, 1629 г.) [РГАДА. Ф. 137. В. Устюг. Д. 16а. Л. 68 об.]; «четыре *лукна* осиновых гнутых с кровлями» (Онега, 1666 г.) [Арх. Он.]. Немногочисленные примеры связаны с Устюжной, Белозерьем, Вологодой и Поморьем. В национальный период *лукно* сохраняется в том же регионе, но диалектные данные дают возможность более строго определить его значения и территорию употребления: *лукно* ‘лукошко; корзина из бересты, коры, прутьев’ наблюдается в нижегородских, новгородских и псковских говорах; *лукно* ‘лубковый или деревянный сосуд с крышкой для хранения муки, зерна’ – в олонечких и псковских; *лукно* ‘любая деревянная посуда с обручами, кадочка’ – в архангельских [СРНГ]. Как указано ранее, *лукошко*, впервые отмеченное в Псковской судной грамоте по списку 1467 г., в старорусский период было общерусским словом. *Лукно*, которое по происхождению древнее, чем *лукошко*, в старорусский период было диалектным, севернорусским словом.

Лукошко с зерном для ручного сева в ряде мест получало специальное наименование. Так, в рязанских местах с XVII в. до наших дней оно именуется *севальник*, см.: «куплена два *севальни-*

ка» (Кн. прих.-расх. Солотч. м. XVII в., Рязань-I, 26); «*Севальник* – *луконо*, *лукошко* с семенным хлебом, которое севец носит через плечо» [Даль].

Лубяное лукошко, которое служило черпаком на южных соляных промыслах, называлось *садовница* (от *садиться*, *оседать*): «в тех куренях 40 корыт болших и малых тож, 30 *садовниц* – лукошки лубеные что из котлов соль вынимают» (1665 г.) [Баг. Мат., с. 44.]. Вероятно, *садовница* – местный термин соледобытчиков, позднее не отмечается.

Общеславянское слово *крошня* (из **krosnia*, ср. *кросно* [Фасмер]) известно в русской письменности с 1499 г., употребляется в значении ‘плетеная корзина, короб для хранения и перевозки различных предметов’, например: «мерили хмель зобнями, уголь *крошнями*» (Кн. расх. Завелич., ч. 4. 1531 г., Псков); «а рыба прutowая в рогожи вертеть а пласти по полице класти, а подпариваная в *крошню* чтобы ветрь проходилъ» (нач. XVII в.) [Дм. К., с. 60]. Лексикограф XVI в. так определил значение этого слова: «корзина, кошница – *крошня*» [Толк. речем, с. 289]. *Крошни*, судя по текстам, представляли собою плетеный сосуд, с отверстиями между дранками или полосами бересты, имели значительную высоту. Были известны и металлические *крошни*, напоминавшие внешне чашу на поддоне, с двумя ручками и крышкой. Назначение крошней не было одинаковым в разных местах: в Пскове в них хранили уголь, на территории от Тихвина до Сольвычегодска перевозили изюм, а в Москве держали мелкий товар. *Крошни* – преимущественно севернорусское слово, в Москве отмечается единично, лишь в конце XVII в. слово *крошни* дошло до наших дней: в северо-восточных, поморских и иркутских говорах оно имеет значение ‘заплочная дорожная сумка, котомка’, ‘заплочная корзина’; в московских, тверских, владимирских, ивановских, олонечких, уральских и иркутских говорах – ‘плетеная корзина, лукошко’ [СРНГ; Иркут. сл.-I, с. 229].

Древнерусское *зобъ*, *зобъ* ‘еда для людей, корм для скота’ лежит в основе наименований *зобня*, *зобница*, *зобенка*. *Зобница*, вероятно, было когда-то названием плетеного вместилища для хранения зернового хлеба, но в старорусский период оно представлено лишь в списках псковских летописей в значении ‘мера зерна и хмеля’: «а еже бы где *зобница* купити ржи или овса, таковых мало обретаху» (сп. XV в.) [Псков, лет.-2, с. 38]. Отметил это слово в свое время В. И. Даль со значением ‘корзина, торба’,

без территориальной пометы. Значительно большей употребительностью отличается слово *зобня*, у которого зафиксированы два значения: 'конская торба, мешок для корма лошадей' и 'корзина, лукошко из лыка', ср.: 1) «дают по *зобне* овса конем игуменовым» (XVI в.) [АФЗХ-1, с. 180]; «старец конюшей Ефросин купил *зобню* да 27 дуг чермоховых» (Кн. расх. Свир. м. Д. 160. Л. 149. 1631 г.); «*зобня* – *ein Pfrdekeszel* (буквально: лошадиный кошель» (1680 г.) [Трондх. сл. с. 619]; 2) «от *зобен* от плетены дано всего четыре алтна» (Вологда, 1628 г.) [ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Д. 135]; «*зобня* лычная цена 4 деньги» (Енисейск, 1687 г.) [Росп. цен, с. 87]; «*Зобня* – кузов» (I пол. XVIII в.) [Рук. лекс., с. 124]. *Зобня* 'конская торба' в изучаемый период имело севернорусский характер (Вологда, Свирь, Подвинье, Енисейск, Якутск). *Зобня* 'лукошко' зафиксировано в тех же пунктах, а также во владимирских местах. Кроме того, в псковских актах первой половины XVI в. встречается *зобня* как 'мера сыпучих тел'. В более позднее время слово *зобня* распространено несколько шире, а семантика его носит более дифференцированный характер [Даль; СРНГ].

Древний корень **zob* послужил для образования слова кузов, которое тоже первоначально означало корзинку для корма [ЭССЯ]. В наиболее древнем примере его употребления оно имеет значение 'приспособление типа борти': «да въ томъ ухажает борти ему себеѣ и иные делати и *кузовы* ставити въ тотъ же оброкъ» (1500 г.) [Кн. пер. Водск. пят.-3, с. 6]. В связи с сокращением бортного промысла в России в XVI–XVII вв. *кузов* 'улей, ловушка для пчел' в текстах не отмечается. В современных говорах известно *кузов* 'плетеный улей, установленный на дереве', характерное для нижегородских диалектов, и олонекское *кузов* 'приспособление для ловли птиц' [СРНГ]. *Кузов* 'плетеная корзина для переноски разных вещей, сбора ягод и грибов' встречается первоначально только в севернорусских актах, связанных с В. Новгородом и Белозерьем, в XVII в. оно известно и на юге России: «два кузова даны четыре денги мекины носили из гумна на двор» (Вологда, кн. прих.-расх. арх., 1622 г.) [ГАВО. Ф. 883. Д. 12. Л. 192]; «два мешечка лненово семени, *кузовъ* борщу» (1633 г., Воронеж, роспись) [Ворон, а., с. 209]; «не поклоняя грибу до земли не поднят ево в *кузовъ*, назвался груздемъ лести в *кузовъ*» (XVII в.) [Сим. Посл., с. 125, 129]. В Великом Устюге *кузовами* называли заплечные короба торговцев мелочными това-

рами: «устюжанин Василей Платонов Ковригиных пошел в Устюжской у. на Юг с *кузовом*, а собою понесл всякого мелочного товару и продал в волости на 6 р.» (1676 г.) [Там. кн.-III, с. 93]. Кстати, с XVII в. фиксируются деминутивы *кузовок* и *кузовишко*. В дальнейшем слово *кузов* и его производные систематически регистрируются словарями, начиная с «Лексикона треязычного» Ф. Полицарпова, и входят в литературное употребление. Слово это в древнерусском языке обозначало плетеную ловушку для пчел и птиц, куда закладывался для них корм. Это значение сохранилось пережиточно лишь в немногих архаичных говорах, а название было перенесено на плетеные ручные вместилища для хозяйственных нужд, где оно успешно конкурировало с такими названиями, как *кошель*, *кошница*, *крошня*, постепенно вытесняя их из общерусского употребления.

Слово *пестерь*, наблюдаемое в письменности с 1598 г., является субстратным включением из исчезнувших финно-угорских языков¹. Эта версия находит подтверждение в географии слова в старорусский период: впервые оно замечено в белозерских актах, а затем – в источниках, связанных с Вологодой, В. Устюгом, Холмогорами. Слово имело значение ‘кузов из луба или дранок для хранения и переноски разных предметов’: «да В *пестеря* купил» (1598 г., кн. расх. Новоезер. м., Белоз. у.) [ЛОИИ. Ф. 115. Д. 662. Л. 24]; «купили *пестер* чемъ по рыбу ходят» (1607 г., кн. прих.-расх. С.-Прил. м., Вологод. у.) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 6. Л. 112]; «*пестерь* ягод изюму» (В. Устюг, 1634 г.) [Там. кн.-1, с. 63]. Ср. данные вятского словарика 1772 г.: «*Пестерь* – кузов, плетенный из лык пли бересты» [Сл. Вятки, с. 8]. В XIX–XX вв. *пестер*, *пестерь*, *пехтерь* употребляется в северо-восточных и сибирских говорах со значениями ‘большая высокая корзинка, плетенка раструбом, из прутняка, из коренника, плетеная или шитая из бересты, луба, для переноски травы, сена и мелкого корма скоту’, ‘лычный большой кошель с широкими ячейми, набиваемый сеном’, ‘корзина для грибов, ягод, которую носят на спине’ [Даль; Кулик., с. 81; Сл. Оби-3, с. 117; Иркут. сл.-2, с. 128; Сл. Краснояр., с. 146 и др.]. Русское диалектное *пехтерь* можно соотнести с белорусским *пехцерь* ‘веревочная, редко связанная сетка для сена в дороге’ [Носович, с. 413].

В среднерусских и южнорусских актах, связанных с Суздалем, Звенигородом, Рязанью, Дедиловом, отмечается фонетически и семантически близкое *пещерь*, *пещерик*: «куплены сто *пещерой*»

(Рязань, 1685 г.) [Кн. прих.-расх. Богосл. м., с. 67]; «куплено свежей рыбы платвы *пещерь* про братцкой обиходъ» (Кн. прих.-расх. Сологч. м. 1698 г., Рязань) [ЦГАДА. Ф. 1202. Оп. 1. Д. 581. Л. 52]; «да кул соли *пещерик*» (Дедилов, судн. дело, 1667 г.) [ЦГАДА. Ф. 836. Д. 47. Л. 2]; «куплено десяток рагож лапотницъ да десять *пещериговъ*» (кн. ирих.-расх. Савв.-Сторож. м., Моск. у., 1678 г.) [ЦГАДА. Ф. 1199. Д. 112. Л. 14 об.]. Сюда примыкает и единично отмеченное *пещурок*: «куплено *пещурков* на две деньги» (роsp. Покр. м., Суздаль, 1690 г.) [Влад. сб., с. 179].

Отмеченное распределение вариантов: *пестерь* – северо-восточное, *пещерь* – среднерусское и южнорусское, обусловленное одновременным заимствованием слова разными диалектами русского языка и, возможно, из разных, но родственных языков, сохраняется и в национальный период. Г. Г. Мельниченко установил две зоны распространения данных слов: *пестерь* – области Европейской части СССР к северу от Ярославля, Чухломы и Ветлуги, а также Урал и Сибирь; *пещерь* – территория к югу от Ярославля, Чухломы и Ветлуги, а также Горьковская, Костромская, Кировская и Ульяновская области².

В деловых бумагах Антониево-Сийского монастыря обнаружено слово *бехтерь* ‘плетеное вместилище для переноски мякины’, вероятно родственное с *пестерь*: «купил В *бехтеря* болших да решато» (Двин. у., кн. расх., 1646 г.) [ГААО. Ф. 56. Оп. 3]; «купил в службу *бехтер* болшей мякины з гумна носит» (1651 г., Двин. у., кн. прих.-расх. Ант.-Сийск. м.) [ГААО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 18. Л. 6]. *Бехтерь*, *бехтерь* ‘большая берестяная или драночная корзина с ручками, иногда – заплечная’ известно в современных архангельских говорах [Арх. сл.-II, с. 20].

Восточнославянское слово *корзина* имеет неясное происхождение, есть версия о его образовании от *корзатъ* ‘обрубать ветки, снимая кору» [ЭССЯ]. Однако первоначальное употребление слова исключительно в северо-западной части русской территории позволяет с доверием отнести к латышскому *corbis* ‘корзина’ и шведскому *Korg* ‘корзина’. Вероятнее всего, это иноязычное заимствование, довольно поздно проникшее в русскую письменность, первая фиксация слова относится к концу XVI в.: «куплена *корзина* в кузницу уголь носить» (1592 г.) [Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1. Л. 104]. В то же время оно употреблено в одном из лексиконов: «*Корзина*, кошница – крошня». [Толк. речем, с. 289]. В текстах XVII в. слово употребляется крайне редко,

в основном примеры относятся ко второй половине XVII в., причем из тихвинских источников. Единичные примеры из московских и астраханских таможенных книг намечают маршруты распространения этого слова и свидетельствуют о значительной роли рыночных связей и таможенного делопроизводства в развитии общерусского бытового словаря, см.: «явил Белозерского уезду Кирилова мнстря крестьянинъ... В *корзины* ложекъ» (Тихвин, 1663 г.) [Там. кн. Тихв. м. № 1330. Л. 14 об.]; «*корзина* с мелочью» (1678 г., Астрахань, кн. там.) [Мат. Узбек., с. 371]; «в 3-х *корзинах* 3800 батоков укладу» (1694 г.) [Кн. моск. там., с. 48]. По территории своего употребления в XVII в. слово *корзина* значительно проигрывает семантически близким лексемам *лукошко*, *пестерь* и *кузов*. В лексиконах XVIII в. оно появляется лишь в последней четверти XVIII в., начиная с «Церковнославянского словаря» П. Алексеева (1773 г.), что может свидетельствовать о приобретении им общерусского характера. Можно думать, что укрепление в общем употреблении слова *корзина* повлияло на снижение употребительности слова *кош* и однокоренных с ним, на переход в разряд диалектных и просторечных лексем таких наименований, как *лукошко*, *пестерь*, *кузов*.

Отметим также одно экзотическое название – *зинбель*, имевшее значение ‘тип вместилища для жидких и сыпучих веществ; мера’: «да ему ж дати в Астрахани сверх того сто *зинбелей* икры» (1594 г.) [Посольство Васильчикова, с. 105]; «в *зинбиле* и в тулуке 9 пуд краски крутику» (1615 г.) [Перс. д., с. 13]. В языке-источнике и в русских говорах данное слово относится к названиям вместилищ, ср.: перс. *zenbil*, *zinbil* ‘корзина из пальмовых листьев’ [Фасмер], астрах. *зимбиль* ‘род округлого кулька, мягкой корзины из рогозы’ [Даль], воронеж. и волгоград. *зембель* ‘корзина’³.

Примыкают к рассмотренным названия с корнем *луб-* (*лубянка*, *лубень* и др.), слово *пошев* и однокоренные к нему, но чаще они обозначают вместилища для влажных и жидких продуктов, т. е. приближаются к названиям бураков и сосудов для жидкостей.

Как показал анализ, названия плетеных вместилищ в старорусском языке – древнее славянское языковое наследие, представляющее собою совокупность нескольких корневых гнезд с основными лексемами *кошъ*, *зобня*, *плетеница*, *кузовъ*, *крошня*, *коробъ* и др. Заимствования в составе данной группы редки. Некоторые

слова, несмотря на конкретно-предметный характер значения, были многозначными, что обусловлено вариантностью внешнего вида вместилищ и разнообразием их функций. Внутри лексического объединения наблюдаются разные типы семантических связей, в частности синонимические: *кошель* – *лукошко* – *короб*, *кошница* – *кошель* – *крошня*. Основная сфера употребления названий плетеных вместилищ – деловая письменность, связанная с нею художественная литература демократического содержания и фольклор, т. е. такие типы речи, основой которых является народное слово. Между семантическими близкими лексемами обнаруживается определенное стилистическое или территориальное размежевание. Иногда слово на разных территориях может выступать в разных фонетико-графических вариантах: *бехтерь* – архангельское, *пестерь* – севернорусское (по течению Сухоны и Сев. Двины), *пещерь* – среднерусское (от Суздаля и Звенигорода до Рязани и Дедилова). Территориально ограниченные слова представлены в основном в севернорусских источниках, где наиболее распространено изготовление и использование плетеных вместилищ из луба, бересты, дранок и т. п. Для всей севернорусской территории были характерны лексемы *крошня*–*крошни*, *зобня*, *кошель* ‘короб для сена’. Только в псковских актах известно название *зобница*. Ареалы других лексем свидетельствуют о их междиалектном характере: *кошель* ‘берестяное или лубяное ведро для воды’ занимало территорию от Тихвина до Суздаля и от Вологды до Москвы, *кошель* ‘короб для платья’ было известно в районе от Тихвина до Вологды. Слова, в основе номинации которых лежит указание на функцию, как правило, имеют узкие ареалы: *садовница* – воронежское, *севальник* – рязанское и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Востриков О. В. Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования. – Свердловск, 1981. – Вып. 2. – С. 28.

² Мельниченко Г. Г. Некоторые лексические группы в современных говорах Владимиро-Суздальского княжества XII–XIII вв. (терр. распространение, семантика и словообразование). – Ярославль, 1974. – С. 42.

³ Титовская В. В. Некоторые лексико-семантические гнезда слов // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1967. – С. 93.

5. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ГРУППЕ НАЗВАНИЙ МЕШКОВ И СУМОК

Названия различных вместилищ бытового назначения составляют значительную часть народного лексикона, однако изученность этого лексико-тематического объединения весьма незначительна. Из исследований, касающихся этой группы, назовем работы Н. Н. Гринковой, в которых был использован большой материал разных славянских языков для выяснения судьбы отдельных слов, Е. Н. Борисовой, выполненные на основе рязанских памятников письменности, С. И. Коткова и В. И. Хитровой, посвященные изучению южнорусской лексики. Пока есть пробелы в датировке первых письменных фиксаций лексем, в характеристике их семантического объема, в степени их употребительности в разных текстах, в территориальной приуроченности. Отечественная археология и этнография мало занимались изучением утвари и посуды донационального периода, описаны и опубликованы преимущественно предметы быта царского двора и феодальной знати. Изложенные причины определяли выбор объекта исследования и письменных источников, из которых извлечены анализируемые факты.

Названия вместилищ типа мешков, изготовленных из кожи или ткани, известны с праславянской эпохи. Издавна входят в эту группу слова с корнем *мех-//меш-*: *мехъ* – до 1117 г., *мешецъ* – до 1117 г., *мешишко* – с 1691 г., *мешокъ* – с XIV в., *мешочекъ* – с 1573 г.

Слово *мехъ* в языке XVI–XVII вв., кроме значений ‘шкура животного’ и ‘кожа’, включало в свою семантику и такой смысл, как ‘мешок’, с разными оттенками этого значения.

Мехъ ‘кожаный мешок для жидких и влажных веществ’ использовалось в основном в церковно-религиозных текстах в отвлеченно-метафорическом смысле ‘вместилище для жидкости’, изредка в деловой письменности – для обозначения конкретных кожаных вместилищ, наряду с деминутивом *мешечекъ*: «какъ во утель *мехъ* вода лити, тако безумнаго учити» (XVII в.) [Сл. Дан. Зат., с. 24]; «дано Ивану Лапшину за *мехи* 30 алтын, купил в Новегороде, квасовые» (Волоколамск, 1576 г., кн. пр.-расх. И.-Вол. м. Д. 1020) [КДРС]; «подносятъ государю царю в *мехах* квас медвяной... квас медвяной в *мешечках* розвозятъ» (В. Новгород, 1646 г.) [Стол. обиход., с. 113]. *Мех* ‘кожаный мешок’ до

сих пор известно в литературном языке, хотя употребляется теперь редко.

Мехъ 'мешок из кожи или ткани для хранения сыпучих веществ' употребляется преимущественно в деловой письменности, а также в светской художественной литературе и характеризуется общерусским распространением: «4 *мехи* холщовых под крупу» (Кириллов, 1582 г., кн. пр.-расх. К.-Бел. м. № 3) [КДРС]; «посол, господине, что мех, что в него положут, то он и несет» (Москва, 1649 г.) [Польск. д.-2, с. 274]; «члвкъ домовыя вещи в *меху* несы» (XVII в., «О дворянине» [Булгаков Ф. И. Сб. повестей скорописи XVII в. М., 1878. С. 123]. Особенно были распространены меха для хлеба и соли, они шились из рогожи. В указанном значении *мехъ* было синонимично слову *мешокъ*, что и подтверждается их взаимозаменяемостью в текстах: «1708 *мехов* малых и больших, многие же *мешечки* были в осминку, а четвертные де *мешки* были скудные» (Черкасск, 1660 г.) [Дон. д.-5, с. 578]; «опричь тех писем, которыя в *мехах* или в сумах завязаны... класть, как их посылать, в *мешок*, где написана Рига» (Москва, 1691 г., гр. царя о почте) [ПСЗ-3, с. 103]. См. также случай взаимозамены слов *мехъ* и *сума*: «приступль к нему некий святыи человек и, взем хлеба часть из *меха* его, положи на перси его... не бысть се гора, яже лежа на персех твоих, но из *сумы* твоей малая частка милостыни есть» (кон. XVII в.) [Вел. Зерцало, с. 220]. Слово *мехъ* в этом значении имело деминутив *мешишко*, не зарегистрированный пока историческими словарями: «*мешишко* старое рядное» (Белоз. у., 1691 г., расп. им.) [Дел. письм. Вологод. края XVII–XVIII вв. Вологда, 1979. С. 17]. Значение 'мешок' сохраняется за словом *мех* в смоленских, псковских, саратовских и тверских говорах, *мешишко* отмечается в томском диалекте [СРНГ-18, с. 143, 149].

Мехъ 'сума, кошелек для денег, драгоценностей и бумаг' известно преимущественно в среднерусской письменности: «денги пашенным людям велено иеречести и покласти их но *мехам* и запечатати» (Москва, 1599 г. гр. царя) [Верхотурские грамоты к. XVI – нач. XVII в. М., 1982. С. 34]; «в *меху* холщевом списки свадебные прежних великих государей» (Москва, 1626 г.) [Оп. посол. пр., с. 314]. В национальном языке слово *мех* в данном значении не употребляется.

Слово *мешецъ* перенесено из древнерусской эпохи. В XVI–XVII вв. имело два значения: 'мешок, сума' и 'кошелек для де-

нег'. Первое значение представлено единичными примерами: «наполни сей *мешецъ* муки» (XVII в., Москва) [Книга Степенная цар. родословия. СПб., 1908. С. 620]. Второе значение зафиксировано большим числом фактов из церковно-религиозной и повествовательной литературы книжно-архаической ориентации: «вдеста ему два *мешца* и глаголаста: “Возьми сия мешца, в едином ти злато, а в другом серебро”» (нач. XVI в. «Пов. о Петре, царе ордынском») [Древнерус. предания XVI–XVII вв. М., 1982. С. 144]. Ср. в «Пов. о построении Благовещенской церкви» по сп. XVII в.: «приступиста къ коню и видят два *чемоданьца* не мала, – сиречь *сумочки* две не малы, по обе страны седла висяща, полна суца, взяста *мешца* она оба с седла. И начаша, радующася, разрешати *мешца*, и обретоша во едином злато, а в другомъ серебро» [ПЛДР XIV–XV вв., с. 466].

Слово *меше(о)къ* возникло как уменьшительное к *мехъ* и заимствовало все его значения. Оттенок уменьшительности в связи с лексикализацией был скоро утрачен, на смену ему появился вторичный деминутив *мешочекъ*. Вместе с тем у слова мешокъ появились и свои оттенки значения. Так, значение ‘кожаный мешок, бурдюк’ отмечается в некоторых лексиконах и разговорниках XVI–XVII вв. (см. примеры: [СлРЯ XI–XVII вв.-9, с. 142]), в текстах оно не встречается. Зато очень широко функционирует общерусское *мешокъ* ‘вместилище из кожи, ткани, рогожи для сыпучих и влажных веществ’: «обретоша у него злыхъ зелей лютыхъ *мешокъ*» (нач. XVI в., Новг. IV лет.) [ПСРЛ-4, с. 74]; «купил 4 *мешка* рядных» (Двин. у., 1581 г., кн. пр.-расх. Ант.-Сийск. м. Д. 1. Л. 116) [КДРС]; «куплено на винокурню два мешка в чем работникомъ солод и овес носит» (Курск, 1627 г., кн. там.) [южн. там., с. 153]; «принял Григорей Кривогорницын десят четвертей круп и толокна в десяти *мешках* в рогожных да в портяном толокна пудъ» (1642 г., Якутск. а. к.5, 11) [КДРС]. Именно отличие по материалу *мешков* из ткани от кожаных *мехов* и послужило причиной семантического расподобления слов *мех* и *мешок*, хотя в XVII в. эти названия еще могли употребляться и применительно к одной и той же реалии, независимо от материала ее изготовления.

Хорошо известно по данным письменности и слово *мешокъ* в значении ‘кожаный кошелек, сумка для денег и документов’, представленное в деловом языке и в светской повествовательной литературе, как «Великое Зерцало», «О России в царствование

Алексея Михайловича» Г. Котошихина, «О трех исповедницах» протопопа Аввакума и др., см. примеры: «в кушачном в золотом *мешку* грамота свейского Густава Адольфа» (Москва, 1626 г.) [Оп. Посол. пр.-1, с. 374]: «в санех взяли бочечку, а в ней ефимков три *мешки*» (Псков.у., 1630 г., допрос) [Псков и его пригороды. М., 1914. Кн. 2. С. 24]; «холсту на мешки денежные куплено» (Мангазея, 1636 г., кн. там.) [РГАДА. Ф. 214. Кн. 26. Л. 546 об.].

Слово *мешокъ* отражено в словарях XVI–XVIII вв., где включено в несколько тематических групп: *мешок, сума; мешок, мешечек, карман; коженный мешок, сума, чамадан; мешек, мешечек, кулек, кошелек* ([Вейсман, с. 112, 185, 517, 518]; см. также: [Парижский сл. московитов 1586 г. Рига, 1948. С. 138].

Деминутив *мешочек* сравнительно поздно отражается в русской письменности (с 1573 г.), имя собственное *Иван Мешочек* регистрируется с 1554 г. [Веселовский, с. 197]. Он имеет все охарактеризованные ранее значения слова *мешокъ* и известен на всей русской территории. Приведем несколько примеров: «в другом *мешечке* казанских денег 10 рублей» (Волоколамск, 1673 г., кн. пр.-расх.) [ВХК XVI в., с. 1]; «купили *мешечик*, что масло весили, – 2 денги» (Волоколамск, 1574 г., кн. пр.-расх. И.-Вол. м. Д. 2. Л. 193 об.) [КДРС]; «той ржи, которая будет в *мешечке*, с тою рожью сливать и отведывать, такова ль суха и в судах, и в *мешке*» (Москва, 1660 г.) [А. Морозова-2, с. 149]. Уже в XVII в. появляются денежные карманные кошельки, однако соответствующего наименования в языке еще не имелось, поэтому используется описательное выражение *мешечикъ зеппой* (от *зеппъ* ‘карман’): «из подголовочка вынели денег 40 рублей да *зеппой мешечикъ*, а в нем было денег рубль» (Арзамас, 1698 г., судн. дело) [Действия Нижегород. ГУАК, 1898. Ч. 3. С. 18].

Функции вместилища могли выполнять также рогожные мешки и кули разных типов. Слова *рогоза* и *рогожа* употреблялись, вероятно, с праславянской эпохи, в их семантике значения ‘плетенка, ткань из мочала’ и ‘куль из рогожи’ тесно сливаются, но иногда контекст позволяет их различать: если говорится о подстилке, покрывале, то имеется в виду *рогожа* ‘плетенка’, если сообщается о вместище для сыпучих веществ, то подразумевается *рогожа* ‘куль’. Последнее обстоятельство послужило основой для развития у анализируемых лексем метрологического значения.

Слова *рогожа* и *рогозина* известны по памятникам с XII–XIII вв. [Срезн.-3, с. 129], лексема *рогоза* фиксируется в письменности с 1573 г. и пока отсутствует в исторических словарях. Приведем примеры, где упомянутые слова выступают в значении ‘рогожный куль’: «дано луковниковскому десяцкому Сенке за две *рогозы* алтын, что привез с рыбою; *рогозы* пошивали 5 веретенщ, дал алтын» (Волоколамск, 1573 г., кн. пр.-расх. И-Вол. м.) [ВХК XVI в., с. 62, 71]; «яз у них взял за те денгы пятьсот *рогозин* и пятьдесят и четыре *рогозины* ржи а в тех *рогозинах* восемьсот бо-чек в белозерскую меру» (нач. XVI в., дух.) [Срезн.-3, с. 130]; «в сушиле мясо и всякая рыба вялая и ветреная и в *рогожах* и в крошнях» (нач. XVII в.) [Дом. К., С. 53].

Слово *рогоза* представлено на севернорусской территории (В. Новгород, Вологда, Волоколамск, В. Устюг) и в Восточной Сибири, *рогозина* отмечено также на Русском Севере и в северной части среднерусской территории (Белозерск, Вологда, Тотьма, Переславль-Залесский, Гороховец), *рогожа* широко употребляется на всей севернорусской и среднерусской территории (Валдай, Ст. Русса, Белозерск, Кириллов, Волоколамск, Архангельск, Тихвин, Вологда, Онега, Звенигород, Москва, Суздаль, Тотьма, В. Устюг, Хлынов, Сольвычегодск), замечено и в астраханских актах.

Ранняя фиксация в письменности деминутива *рогожка* (имя собственное *Рогожка* известно с 1376 г.) [Тупиков Н. М. Сл. древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903. С. 377] – дополнительное свидетельство широкой распространенности лексемы с корнем *рогож-*: «куплено 7 *рогожекъ* снету, дано полтора рубля» (Дорогобуж, 1586 г., кн. пр.-расх.) [РИБ-37, с. 308].

Разновидности рогож получили названия по способу изготовления.

Рогожа лапотница ‘рогожа, плетенная из лыка, вероятно, особого изготовления’ отмечается в документах рязанских и подмосковных монастырей с 1596 г. (ср.: с 1689 г.) [СлРЯ XI–XVII вв.-8, с. 170]: «куплено в гораде тритцет *рагож лапотницъ*» (1596 г., кн. расх. Солотч. м.); «две *рогожи лапотницы* на телеги покрыт(ь) покупки» (Звенигород. у., 1666 г., кн. пр.-расх. Савв.-Сторож. м.) [РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 19. Л. 184 об.]. Выявленные примеры указывают на *лапотницу* как на плетеную рогожу. Не подтверждается фактами предположение Е. Н. Борисовой о том, что *лапотница* имело значения ‘куль для хранения лаптей’ и ‘рогожа, из которой плели лапти’¹.

В московских и рязанских источниках употребляется слово *цыновка* (в исторических словарях пока отсутствует) и параллельное сочетание *рогожа цыноватая*: «к тому же винному сиденью куплено 20 *рогож цыновок* 20 лубов» (Моск. у., 1676 г.) [Опис. аптек., с. 114]; «куплено в Переславли про монастырской обиход дватцать *рогож цыновок*... куплено в Переславли на монастырской обиход дватцать *рогожь цыноватых*» (Рязань, 1666 г., кн. пр.-расх. Богосл. м.) [Тр. Рязан. УАК. 1903. Т. 18. Вып. 2. С. 94, 110]. Определение смысла слова, сохранившегося в XIX в., находим у В. И. Даля: «частая рогожа чистой работы, из сученых мочал, особой ткани», т. е. *цыновка* в отличие от *лапотницы* (грубой толстой рогожи) была тонкой рогожей.

Названия *тартовка*, *тартовиче*, *чюрошница*, *поддержка* обозначали разновидности рогожных полотнищ, различающихся способом изготовления, размерами, материалом, имеют единичные употреблений и, вероятно, являются локализмами: «отпущено вместе с теми арбузами и с виноградом, чем те арбузы и виноград мочно было от стужи уберечи, 50 войлоков коровитиных да 40 *рогож тартовок*» (Астрахань, 1659 г., он. им.) [ДАИ-4, с. 172]; «куплено 8 тортовищ солод возит» (Ростов, 1672 г., кн. расх.) [Пам. Влад., с. 95]; «куплены четыре *рогожи чюрошницы*» (Звенигород. у., 1661 г., кн. пр.-расх. Савв.-Сторож. м.) [РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 84. Л. 39 об.]; «куплено сто дватцат *рогож поддержкеж* дано дватцать девять алткь» (Звенигород. у., 1669 г.) [кн. пр.-расх. Савв.-Сторож. м.] [РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 25. Л. 183].

Из названий рогожных изделий на севернорусской территории бытовало слово *матица* в двух значениях 'вид плотной рогожи' и 'куль из матичной рогожи', см., например: «купил *рогож матичных* болшие руки шестьсот пятьдесят *рогож*» (Двин. у., 1630 г., кн. пр.-расх. Ант.-Сийск. м. № 8) [КДРС]; «костромитин Яков Иванов явил 52 *рогожи матиц*» (Вологда, 1635 г.) [Тамож. книга Вологды 1634–1635 гг. М., 1983. С. 139]; «купил *рогож матицъ* соляных ... купил *рогож подстилошных*» (Волог. у., 1653 г., кн. пр.-расх. С.-Пр. м.) [ГАВО. Ф. 512. Д. 55. Л. 3]. Наименование *рогожа матица* отмечается в письменных источниках, связанных с территорией Вологодчины и Подвинья.

Названия *завитуха*, *вязеница*, *решма*, *подстила*, *шуйка*, *полуторница* обозначали тоже разновидности рогожных полотнищ, различающихся способом изготовления, размерами, материалом.

В значении 'тип вместилища' эти слова не отмечены. Все они зафиксированы пока единичными примерами и, вероятно, являются локализмами: «шуянин Сысой Иванов явил на 2 санех 400 *рогож шуйки*, 8 холстов тонких» (Вологда, 1635 г.) [Тамож. книга Вологды 1634–1635 гг. М., 1983. С. 310]; «купил восьмьсот рогож завитух» (Вологда, 1655 г., прк. сол. двора) [ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 4. Л. 18]; «куплено 375 *рогож вязеницы* дано 16 рублей» (Онега, 1658 г., кн. пр.-расх. Онежск. м.) [КДРС]. Кстати, слова *шуйка* и *вязеница* могут толковаться и как название товара (соли, рыбы, ягод), перевозимого в рогожах. Диффузное значение имело и слово *мещерка* 'мешок или тип рогожи' неясного происхождения, см. примеры: «привес на Воронежь телушку рыжу двѣ *мещерки* сухорей; отвес с Воронежа в *мещорочной рогожи* лисицы» (Воронеж, 1695 г.) [СлРЯ XI–XVII вв.-9, с. 144]. Вероятно, *мещерка* – диалектное слово, в национальный период оно не отмечается, хотя на южнорусской территории оно могло употребляться.

Большое число местных наименований *рогож* содержат приходные книги вологодского архиерейского дома: «1673 г., март 10, купл. сто *рогож решмы*, дано рубль 25 алт.; 1643 г., апр. 29, купл. сто *рогож подстилы*, дано рубль 6 алт. 4 денги; 1671 г., ноябр. 10, куплено сто *рогож шуйки*, дано рубль 10 алт. 4 денги; 1675 г., генв. 7 купил сто *рогож полуторниц*, дано рубль 15 алтын [Волог. губ. ведомости. 1860. № 181].

Из древнерусского языка перешло в старорусскую письменность слово *вретище* (с XI в.) [Срезн.-I, с. 321], оно обозначало грубую ткань или мешок из такой ткани, а также меру вместимости. Происхождение его связывают с корнем *ver* 'вить, плести'². Слово имеет неполногласную огласовку и употребляется в изучаемый период в текстах церковно-религиозного содержания XVI в., в следующем столетии встречается крайне редко: «видѣша привезенное въ монастырь брашно на колеснице и въ *вретищи*» (XVI в., Жит. Серг. Радонеж.) [ПЛДР XIV–XV вв., с. 346]; «повеле насынати пшеници, а сребро кождо въ *вретище* вложить верху и отпусти ихъ. И на пути, отврѣзьше *вретище*, видѣша сребро свое кождо» (1538 г.) [Хроногр. 1512 г., с. 55].

С середины XIV в. начинает употребляться в письменности восточнославянская форма *веретище*, имевшая несколько вариантов и однокоренных соответствий: *веретище* (XIII в.), *веретенище* (1574 г.), *веретье* (1657 г.), *веретьечко* (1681 г.), *верянище*

(1676 г.), например: «да пошли полсти, *веретища*, михи и мидвидно» (сер. XIV в.) [Новг. гр. 6, 44]; «купил Лодыга 5 *веретищъ* рогозиныхъ да сани» (Кириллов, 1568 г., кн. расх. К.-Бел. м. № 2) [КДРС]; «рогозы пошивали 5 *веретищъ*, дали 5 алтын» (Волоколамск, 1574 г., кн. пр.-расх. И.-Вол. м. № 2) [КДРС]; «Тишке Ананьину за *веретья* рогожное два алтына денег» (1657 г.) [Мат. медиц., 205]; «отвели два *веретейка* подержанные портяные» (Каргополь, 1686 г., отводная, Арх. Каргопол. м. № 243) [КДРС]; «к винному сиденью куплено 2 подставки, 18 *верянищъ*, 20 рогож» (Москва, 1676 г., кн. пр.-расх.) [ДТП-1, с. 267]. См. самый древний пример: «вывези ми 2 медведна да *веретиша* да попонь» (В. Новгород, XIII в., гр. 65) [Новг. гр.-2, с. 65]. В ряде случаев приведенные лексемы и их варианты имели значение 'подстилка, рогожа', в других случаях — 'вместилище, куль'.

Обращает внимание сосредоточенность лексем с корнем *верет* — в источниках, связанных с северо-западом и западом (Онега, Свирь, Поморье, Кириллов, Вологда, Волоколамск, Валдай). Единично они фиксируются в Москве, Воронеже³, *веретье* несколько раз отмечено в расходной книге ростовского кружечного двора за 1672 г.: «куплено *рогоз* на *веретья* для хлебной насыпки» [Пам. Влад., с. 96]. В XIX в. *веретье* в значении 'род мешка из грубого холста' наблюдается в курских и смоленских говорах [СРНГ-4, с. 142], остальные слова, хотя и сохраняются в говорах, но значения 'вместилище' не имеют.

Сравнительно поздно зафиксированы в письменности слова *куль* (1606 г.), *кулек* (1609 г., ср.: с 1655 г. [СлРЯ XI–XVII вв.-8, с. 114]), *кулик* 'то же, что кулек' (1694 г., в исторических словарях не зарегистрировано), *кулье* (1684 г., в исторических словарях отсутствует). Ср. мнение А. Л. Хорошкевича о том, что слово *куль* «проникло в язык не ранее XVI в., когда торговля на внутреннем рынке изменила свой характер: широкие масштабы приняла торговля сыпучим товаром — зерном»⁴. Общепринятой этимологии слово *куль* не имеет, наиболее известны латинская, славянская и балтийская версии его происхождения [ЭСРЯ-8, с. 440]. При окончательном выяснении вопроса о происхождении слова *куль* важно было бы учесть географию его первоначального употребления в русском языке (см. об этом дальше).

Куль имело значение 'рогожное вместилище для сыпучих веществ': «под крупы и под горох купил 6 *кулей* рогозинных» (Белозерск, 1606 г., кн. расх. К.-Бел. м. Д. 381) [КДРС]; «из-

вошкику ото ста *кулей* с старым левкасом, что сбиван с стен, от провозу 16 алт 4 ден» (Москва, 1643 г.) [Оп. дворц. приказов, с. 409]; «того ж числа целовалникъ купил иглу рогозинную *кули* шить» (Вологда, 1648 г., кн. пр.-расх. арх. дома) [ВОКМ. Д. 2167. Л. 221]. В зависимости от объема вместилища, которое оно называли, слово *куль* могло иметь определения, характеризующие размер реалии: «овес переделать в крупы и толокно пополам и, устроив в четвертные рогожные *кули*, велеть привезть на Воронеж» (Воронеж, 1673 г., наказ воеводы) [Тр. Ворон. УАК-5, с. 80]. Первые употребления анализируемой лексики относятся к севернорусской территории (В. Новгород, Кириллов, Вологда, Тарнога, Тотьма), в тридцатых годах XVII в. *куль* отмечено в царских грамотах. Во второй половине столетия слово наблюдается в Смоленске, Воронеже, Севске, Н. Новгороде, Рязани, Муроме, Суздале, а также в Пскове, В. Устюге, Сольвычегодске, Холмогорах, то есть практически распространено на всей русской территории.

Деминутив *кулек* также первоначально зафиксирован в севернорусских источниках (Псков, Валдай, Тихвин, Холмогоры, В. Устюг, Звенигород): «*кулекъ* кременя ставок масла деревяного» (Тихвин, 1609 г., кн. там. Тихв. м. Д. 325) [КДРС]; «Тотемского у. Уфтюжские в. Важен Диянов явил: перевез в лотченке *кулек* хмелю весом 7 п.» (В. Устюг, 1151 г.) [ТК-2, с. 8]; «куплено два *кулка* рогожных на покупки да холсту на мешекъ» (Валдай, 1664 г., кн. расх. Ивер. м. Д. 24) [КДРС]. К концу XVII в. слово *кулек* становится известно в Москве, Севске, Н. Новгороде, с начала XVIII в. регистрируется словарями: «*кулекъ*, кулечик зри кошница» [Поликарп., с. 344]. См. еще пример с вариантом *кулик*: «вы, государи, прислали к нам мех соли, для легости возки розложен в четыре *кулика*» (Переяславль, 1694 г., отписка) [Волог. епарх. вед. 1865. № 3].

Отмечается в текстах существительное *кулье* с собирательным значением: «Иван Михайлов явил товару девяносто сит, сто во-семдесят рогож, 50 шт. *кулья*, сто ставцов деревянных» (Юрьев-Польский, 1684 г., кн. там.) [Влад. губ. вед. 1858. № 24]; «велеть изготовлять *кулье*, рогожи и ужища» (Волог. у., 1700 г., отписка) [ОВС-I, с. 39].

В приведенных иллюстрациях обращают внимание факты одновременного употребления в одних и тех же текстах слов *мешок*, *куль*, *рогожа* применительно к разным реалиям, что свидетель-

ствуется о дифференциации семантики данных лексем в языке преднационального периода: *мешок* – ‘холщовое вместилище’, *куль* – ‘вместилище, сшитое из рогожи’, *рогожа* – ‘плетенное из мочала полотно’. Употребление слова *куль* способствовало устранению многозначности слова *рогожа*, позволило конкретизировать семантику названия *мешок*. Быстрое вхождение слова *куль* в повседневное употребление было обеспечено экстралингвистическими причинами (развитие торговли, изменение способов упаковки товаров и пр.), а также потребностью говорящих в более дифференцированных именовании.

Диалектный характер носило слово *воспища(е)* ‘подстилка или мешок из ряднины, дерюги’, известное по текстам с 1678 г. (ср.: с 1685 г. [СлРЯ XI–XVII вв.-3, с. 48]). Отмечено в рязанских и звенигородских актах как местное соответствие к общерусскому названию *куль*, только еще завоевывающему популярность в языке. Наличие слова *воспище* с указанным значением лишний раз убеждает в имевшейся в то время потребности в особом названии для рогожных мешков как распространенном типе мягких шитых вместилищ. См. примеры: «куплено про мнстрской обиход на *воспища* четьыря рагошки пасконныхъ» (Звенигород. у., 1678 г., кн. пр.-расх. Савв.-Сторож. м.) [РГАДА. Ф. 1199. Д. 112. Л. 8]; «куплено редьнины на *воспище* нольдевета аръшина» (Рязан. у., 1684 г., кн. пр.-расх. Солотч. м.) [РГАДА. Ф. 1202. Оп. 1. Д. 23]; «куплено горьшковъ да *воспища* рогожьная куплено» (Рязан. у., XVII в., кн. пр.-расх. Солотч. м.) [РГАДА. Ф. 1202. Оп. 1. Д. 53]. *Воспище* употреблялось также в метрологическом значении [СлРЯ XI–XVII вв.-3, с. 48]. В национальный период *воспище* ‘грубая ткань, употребляемая в качестве подстилки для сушки зерна, перевозки его в телеге’ известно в рязанских, тамбовских и самарских говорах [СРНГ-5, с. 141].

Рассмотрим еще несколько наименований, не отличавшихся частотой употребления.

Слово *каль* (*калья*) фиксируется в русской письменности с конца XV в., его преимущественное значение – ‘мера при продаже красок’, но возникло оно из названия тары определенной емкости: «в 24 *кальях* 56 пуд краски мяхкие» (1615 г.) [Перс. д., с. 13]; 3 *кали* краски крутику весу 14 пуд без чети с колями» (Москва, 1626 г., росп. армян. товаров) [Армяно-русские отношения в XVII в. Ереван, 1964. Т. 2. С. 3]. Судя по контекстам,

калья – *каль* – *коль* заимствовано из восточных языков. Это слово известно в говорах со следующими значениями: ‘осьмина или осьминник’ – тул., ‘мешок, котомка, лукошко, куда ребяташки складывали бабки, козны, котыги’ – арх. [Даль-2, с. 79]; ‘мешок, котомка’ – свердл. [СРНГ-13, с. 7].

Экзотический характер имела лексема *тулук* ‘мех для хранения жидких или сыпучих веществ’, заимствованная из тюркских языков [Шипова, с. 322]; «в зинбиле и в *тулуке* 9 пуд краски крутику» (1615 г.) [Перс. д., с. 13]; «корму: блюдо груш, *тулук* чагирию ведра в 2» (1643 г.) [Посольство кн. Мышецкого и дьяка Ключарева в Кахетию. Тифлис, 1928. С. 128]; «деветь *тулуков* масла коровья, три зеркала» (Астрахань, 1688 г., кн. там.) [Рус.-дагестан. отношения XVII – первой четв. XVIII в. Махачкала, 1958. С. 217]; «явил муромец посацкой человек Дмитрий Сергеев 4 *тулука* нефти» (Москва, 1694 г.) [Кн. Моск. там., с. 71].

Сюда же относится и *тулун* ‘кожаный мешок, бурдюк’ из «Жития Василия Гагары», которое достаточно хорошо поясняется в тексте русскими соответствиями: «возят воду на верблюдах в кожаных *тулунах* а по нашему *сума* ... возят тое воду на верблюдах и на катырех в *мЪшках* кожаных и продают व्यюками и кукшинами» (XVII в.) [Правосл. палест. сб. СПб., 1891. Т. XI. Вып. 3. С. 14, 16]. См. еще вариант *тулун* в стат. списке посольства Головина 1686–1691 гг.: посланцы ... поднесли в дарех от кутухты горшок патоки фунт в 10, *тулун* муки пшеничной, другой пшена сорочинского с полпуда [Рус.-китайские отношения в XVII в. М., 1972. Т. 2. С. 261].

Таким образом, в старорусском языке зафиксированы три фонетических варианта слова, не обнаруживающие семантических различий, все три сохраняются в территориальных диалектах: «Тулук квк. тулук астр, тул/у/б/п/, тулун вост.-сиб.»; «бурдюк, турсук, саба, мех снятый дудкой, целиком, и выделанный на мешок ... нефть в Баку развозят в тулуках» [Даль-4, с. 442].

Русским эквивалентом к восточным названиям кожаных мешков было слово *пузырь*, которое в XVII в. имело общерусский характер и обозначало тару для жидкостей и влажных продуктов: «яв(ил) устюжинець ...бочечка да *пузыр* краски крутика» (Тихвин, 1626 г., кн. там. Тихв. м. № 3) [КДРС]; «колмогорец Захар Никитин ... явил товару продать 20 оборотей ворваньих да в *пузырех* сала ж ворвань» (В. Устюг, 1634 г.) [ТК-I, с. 31]; «икры паюсной армейской в *пузырѣ* пуд» (Рязань, 1697 г., кн. пр.-расх.

Бог. м.) [Древние акты и грамоты Рязанского края. СПб., 1854. С. 146].

Иногда к названиям вместилищ относят слово *кепъ*, у которого усматривают значение 'шестисторонний куль, набитый трепаным льном', известен лишь один пример с этим словом: «лну ... *кепей* с 10» (1659 г., росп. им. Н. Романова) [СлРЯ XI–XVII вв. 7, 114]. В территориальных говорах в качестве меры льноволокна употребляются названия *кербъ* и *керпъ* 'связка, горсть льна' – волог., яросл., иванов., новг., моск., костром., влад., горьк., рязан., ульян., вят., олон., твер., пенз. [СРНГ-13, с. 183–184], это скандинавское заимствование [Фасмер-2, с. 223]. Возможно, *кепъ* в старорусском тексте – результат описки писца или результат неверного прочтения текста издателем.

Басмагъ 'мешок' зарегистрировано в «Слове о пресвитере Тимофее» по списку XVII в.: «и взя драгия кони Тимофеевы со всею драгою збруею, и обрете на нихъ полны *басмаги* великия злата, и серебра, и камения драгаго» [Пам. срл. СПб., 1860. Вып. 1. С. 197]. Происхождение слова неизвестно, позднее в русском языке не отмечается. Полагаем, что перед нами вариант более известного *басман*, ср. другой список того же текста: «взя кони оба драгия Тимофеевы з збруею и обрете на них *басманы* великие полны насыпаны злата и сребра» (сп. XVIII в., Пов. Тимофея Владимирского) [ТОДРЛ-8, с. 304]. Между тем значение 'мешок, сума' у слова *басман* историческими словарями не отмечено, зафиксировано лишь *басман* 'мера веса' [СлРЯ XI–XVII вв.-1, с. 77], являющееся заключительным звеном в цепи семантической деривации: 'вместилище' – 'мерный сосуд или вместилище метрологического назначения' – 'мера'.

Вместилища меньшего по сравнению с мешками и кулями объема получили названия *сума* (в текстах около 1552 г.), *сумъка* (с. 1505 г., ср.: с. 1551 г.) [Срезн.-3, с. 619], заимствованные через польский из древне-верхнемецкого [Фасмер-3, с. 802]. Вероятно, в первых употреблении в русском языке названные слова сохраняли значение 'переметная сума', которое было характерно для них в польском языке: «да *сумы*, да кож въючная да котел» (ок. 1522 г., дух. Г. Д. Русинова) [АРГ, с. 199]; «доспехи своя на телеги своя въскладаху, а инии – в *сумы*» (I пол. XVI в., Пов. о побоище на р. Пьяне) [ПЛДР XIV–XV вв., с. 88]; «пряжки ... куплено ко въючным *сумам* на крымскую посылку» (Москва, 1613 г., кн. расх.) [РИБ-9, с. 56]. Слово *сума* употреблялось

на всей русской территории в деловых текстах, историко-повествовательных сочинениях, литературных произведениях демократического характера. Судя по описаниям, *сума* представляла собою вместилище из кожи или ткани, с пряжками или завязками, для хранения и перевозки тканей, мехов, одежды, почтовых бумаг и др. Иногда *сумой* называла кожаный бурдюк: «да вино из молока ж на день по пяти *сум*, а *сума* в ведро» (Москва, 1617 г., распрос) [Рус.-монг.-1, с. 64]. Во второй половине XVII в. слово расширило свое значение, обозначало вместилища из кожи и ткани определенного объема и любого назначения, а не только приторачиваемые к седлу: «оставляют же богатыри свои добры кони у Смугры реки ... по одной емлют по палице булатной, и те несут под *сумками* скорлятными» (II пол. XVII в.) [Былины, с. 155]. Подтверждают этот вывод и показания словарей XVIII в.: «*Сумы, сумки, чамаданъ, черезъ, котомки*»; «*Сума, мешокъ, кошель*» [Вейсман, с. 92, 193]; «*Сума кожаная, чемоданъ*»; «*Сума, чемодан, котомка, ранец*» [Целлариус, с. 150, 208].

Сумка возникло как деминутив к *сума*, но уже в первых письменных фиксациях уменьшительный оттенок в значении слова отсутствует, но зато проявляется лишь узкое значение 'переметная сумка': «наняв де татарина везти своей рухляди в дву *сумках* в пансырных» (1505 г.) [Крым. д. СПб., 1884. Т. 1. С. 118]; «была де у меня та грамота в *сумке* с денгами» (Москва, 1506 г., сказка) – [Пам. диплом. сношений с имп. Римскою. СПб., 1851. Т. 1. С. 145]. Часто употребляется в текстах и сочетание *сумка переметная*: «Сергии старец дал ... *сумки переметныя* да узду» (Двин. у., 1571 г., кн. пр.-расх. Корел. м. № 939) [КДРС]; «деревенским мастером от шестерых *сумок переметных* от шитья дал 2 алтна 4 де» (Кириллов, 1581 г., кн. пр.-расх. К.-Бел. м. № 3, л. 17 об.) [КДРС]. Отмечаются факты однозначного употребления слов *сума* и *сумка*: «всякой мягкой рухледи в возах и в сундуках, и в коробьях, и в *сумках*, и в чемоданах ... обыскивать; и в *сумах*, и в чемоданех, и по коробьям ... потому ж обыскивати» (Москва, 1635 г., гр. цар.) [АИ-3, с. 337].

В текстах наблюдаются также деминутивы к рассмотренным словам: *сумъчишка* (1584 г.), *сумочка* (1615 г.), *сумченка* (1630 г.), которые пока не зарегистрированы историческими словарями, см. примеры: «привес остатков Варламовых ... скатертка простая да *сумъчишка* переметная» (Двин. у., 1584 г., кн. пр.

Корел. м. № 944) [КДРС]; «Посничко Руковишников, а у нево на телеге ... *сумачки* портяные с мелкою рухледью» (1615 г., Посольство И. Брехова) [Тр. Вост. отд. Русск. археолог. об-ва. СПб., 1892. С. 397]; «зипунишко белое, сумченка холщевые, епанчишко полстяная» (Москва, 1630 г., оп. им.) [Дон. д.-1, с. 326].

Дальнейшая судьба слов с корнем *сум-* хорошо известна.

Из тюркских языков было заимствовано слово *чемодан* (через татарский из персидского: [Фасмер-3, с. 315; Шипова, с. 385]). Вначале фиксируется деминутив *чемоданец* (нач. XV в., ср.: 1589 г.) [Срезн.-3, с. 1498], затем лексема *чемодан* (нач. XVI в.): «взяли оу нашего друга съ саней котель да *чомоданец*» (В. Новгород, ок. 1417 г., росп.) [Акты, извл. из столбцов Новг. Соф. дома. СПб., 1904. С. 273]; «покинул есми, едучи, у Ивана у Пятова въ Боровске *чемодан* с илатемъ» (Моск. у., ок. 1522 г., дух. Г. Д. Русинова) [АРГ, с. 199]; «видять два чемоданца немала, по обе страны седла висяща ... взеста мешца она и седла она оба» (XVI в.) [Великие Минеи-Четьи, сент. 1–13, с. 347]; «отпущено в Конюшенной приказ чемоданец киндяк вишнев стеган на бумаге» (Москва, 1617 г., – Доп. к Дворц. разрядам – [ЧОИДР. 1882. Кн. 1. Отд. 1. С. 111]; «чемодан коженои платя кладуть с петлеми ветхъ» (Звенигород, 1676 г., кн. переп. Савв.-Сторож. м. [РГАДА. Ф. 1119. Д. 32. Л. 77 об.]. Таким образом, основной отличительный признак чемодана в сравнении с похожими вместилищами – материал, из которого он изготовлялся: кожа или ткань, *чемодан* ‘сумка, чаще переметная, из кожи или ткани, для хранения платья или других вещей’. В этом значении слово употреблялось чаще, чем в других. Первоначально оно зафиксировано в источниках, связанных с В. Новгородом, Москвой, Белозерском, Сибирью. С середины XVII в. известно в Курске, Архангельске, Тотьме, Вологде, Смоленске, Муроме, Рязани. Употребляется преимущественно в деловой письменности, летописях, отмечено в «Житии протопопа Аввакума».

Другое значение слова *чемодан* – ‘футляр из кожи или ткани для драгоценностей, денег или книг’: «да в полате взяла в Чюдове ж в литовском *чемодане* чепи золотые» (Казань, 1622 г.) [ЧОИДР. 1915. Кн. 4. Отд. 1. С. 84]; «к тому ж часослову на *чемодан* на покупку пуговиц гривна» (Москва, 1675 г., кн. пр.-расх.) «...унесли десет рублей денегъ вынем из *чемодана*» (Моск. у., кон. XVII в.) [Гр-ки, с. 128]. Близко по семантике ‘футляр для воинского или походного снаряжения, из ткани’: «шили на государевы пансыри *че-*

моданы» (Москва, 1643 г.) [Оп. дворц. приказов, с. 426]; «да на чемодан в поход ж на шатер денег 2 рубли» (Москва, 1656 г.) [Кн. расх. Помест. пр., с. 242]; «к знаменам 18 чемоданов суконных» (Москва, 1656 г.) [АМГ-II, с. 165].

В лексиконах XVIII в. лексема *чемодан* находится в следующих рядах: «сума, *чемоданъ*, котомка, ранецъ» [Вейсман, с. 483]; «*чемодан*, переметные сумы» [Целлариус, с. 49]; «*чемодан* – кожаный мешок, у которого отверстие вдоль, прикрываемое клапаном с застежками и в котором в дороге хранится платье и др. вещи» [САР-6, с. 1257]. Очевидно, значение ‘футляр’ в XVIII в. перестало быть актуальным для этого слова, оно окончательно специализируется в значении ‘кожаное или матерчатое вместилище для платья и др. вещей’.

Вязаные сумки, входившие в воинское снаряжение, иногда называли *вязня*: «*вязня* сафьянная з заряды ветчана» (1608 г., – оп. им. Татищева) [ВОИДР. 1850. Кн. 8, смесь. С. 10]; «в *вязь-нех* 10 алтын денег да зеркало з гребнем» (Москва, XVII в., оп. им.) [Дон. д.-1, с. 330]. *Вязнями* называли и ложечники – вязаные футляры для ложек: «10 ложек каповых, из них 2 ложки в *вязнех*» (Москва, 1675 г., оп. им.) [ЧОИДР. 1911. Кн. 3. Отд. 1. С. 19]. Слово *вязня* утратило свою актуальность в национальный период, В. И. Даль указывал: «*Вязни* – ремни, привязки в одежде, вооружении стрельцов» (Даль-1, с. 337).

Слово *ша(о)лгун* зафиксировано в текстах, связанных с северо-западной частью севернорусской территории (Ям, Тихвин, Онега): «платья де было в дву мехах да в дву *шолгунах*» (Ям, нач. XVII в., распрос) [АЮБ-III, с. 274]; «Никодим Шанин ... подал ему Никифорку *шалгун* и рогатину» (Тихвин, 1687 г., поручная) [АЮ, с. 325]. В онежской грамоте 1697 г. употреблен деминутив *шалгачишко* (от *шалгач*), вероятно, с тем же значением, что и *шалгун*: «были у них сумченка и *шалгачишка* с рухлядью» (Онега, 1697 г., извет) [КДРС]. География первоначально употребления слова подтверждает версию о его финском происхождении: фин. *salkku*, *под.* п. *salkun*, карел. *salkku* ‘сумка с продовольствием’ [Фасмер-4, с. 398]. В национальный период *шалгун*, *шелгун* ‘котомка, мешок для хлеба и припасов в пути’ распространено в новгородских, псковских и тамбовских говорах [Даль-3, с. 619]. Есть свидетельства употребления рассмотренных лексем в архангельских и олонекских местах: «*Шалгач*, *шалгун* – две соединенные парю помочей и перекидываемые через плечи

суконные или холщовые сумки, в которых лесовщики, отправляемые на промысел, держат съестные припасы» [Кулик., с. 135; Подвыс., с. 84].

Очень редко встречается в древнерусских и старорусских текстах слово *тобола* 'мешок, сумка', которое благодаря традиции церковно-книжного употребления дошло до наших дней. Слово считается тюркским заимствованием [Шипова, с. 321]. Впервые оно фиксируется в берестяной грамоте № 141, относящейся к XIII в.: «положили Гришка с Костою. А Гришки коожюх свита сорочица шапка. А Костина свита сорочица. А *тоболи* Костини» [Новг. гр., с. 3]. С XIV в. употребляется деминутив *тоболец* [Срезн.-З, с. 968]. Все это позволяет предполагать, что в древнерусский период слово *тобола* не было чуждо разговорно-бытовой речи. Однако позднее, в XVI–XVII вв., *тобола*, *тоболец* отмечаются лишь в книжно-архаических текстах: «избра себе 5 каменей добрыхъ отъ потока и въложи е в *тоболець* иастырьскый и прашу имый в роуце своей» (сп. 1538 г.) [Хроногр., 1512 г., с. 110]; «пять каменей Давыд имел в пастуше *тоболе*» (1646 г., Т. Анкундинов) [Рус. силлаб. поэзия, с. 87]; «верглися на Аврама Дунина, которому *тоболец* с единонадесетию цекины урезали» (сп. 1695 г., Похождение в землю святую кн. Радивила) [Изв. Рус. Географ. об-ва. 1879. Прил. Т. 15. С. 212]. Приведем показания словарей XVII–XVIII вв.: «*тоболець*, пира, мехъ» [Лексикон латинский Е. Славинецкого. Киев, 1973. С. 102]; «*тоболець* – мешецъ» [Поликарп., с. 709]; «*тоболец* – котомка дорожная, мешек, торба» [Алексеев. Церк. сл., с. 342]; *тоболец*, сумка, котомка [САР-6, с. 722]. Сохраняются эти лексемы и в языке XIX в.: «*тоболец*, *тоболка* – сума, сумка, котомка, калита, сума пастуха» [Даль-4, с. 408].

Рассмотрим еще слова единичного употребления: *пира*, *дисагъ*, *борошень*, *торба*.

Пира относится к устаревшим для старорусского периода элементам словаря, восходит к греческому языку и впервые отмечено еще в Остромировом евангелии. В XVI–XVII вв. известно по азбуковникам и драматургическим сочинениям, отличающимся изобилием книжно-архаичных элементов, например: «*пира* мех холщовый» (XVII в., Алф.⁽¹⁾, 182 об.) [КДРС]; «Слушай, Тересе, даждь яд из *пиры* своя» (1672 г.) [Артаксерово действо. М.; Л., 1957. С. 31]; «тихо вложи ю въ *пиру* свою» (1674 г., Юдифь) [Тихонравов-1, с. 196].

Дисагъ 'сумка, возможно, походная, переметная' – вероятное греческое заимствование (ср. греч. *dissaki* 'дважды, вдвое' [Древнегреч.-рус. словарь. М., 1967. Т. 1. С. 413]). Отражено в житийной литературе: «мяса свина въ *дисазехъ*» (XVI в., Жит. Фед. Сик.) [Срезн.-1, с. 606]. Ср. серб, *бусаг* 'сумка, котомка', болг. *дисагъ* и *дисагы* 'седельные мешки' [Геров-1, с. 294]. После XVI в. *дисагъ* в русских текстах не отмечается.

В значении 'походная сумка, мешок' эпизодически могло употребляться слово *борошень*, более известное как название имущества, мелкого скарба (о слове *борошень* 'мелкое домашнее имущество'⁵), см. редкий пример: «взяли... три *борошня* хазовые – цена 1 р. 16 алт.» (Москва, 1699 г., указ цар.) [Архив кн. Ф. А. Куракина. СПб., 1893. Кн. 4. С. 89]. В дальнейшем такое значение у слова не замечено.

Слово *торба* (тюркского происхождения – [Шипова, с. 326]) замечено нами в экземпляре немецко-русского номенклятора 1700 г., хранящемся в Российской гос. библиотеке, здесь от руки почерком начала XVIII в. вписано: «*торба* – кашелюкъ» (с. 109). В старорусском языке это слово не известно, хотя высказывалось соображение о его относительной древности⁶. Еще раньше оно зафиксировано староукраинскими лексиконами: «тоболець, *торба*» [Лексикон латиньский Е. Славинецького. Киев, 1973. С. 518]; «пацокъ або *торба* – чпагъ, влагалище, пира» [Житецкий П. Сл. книжной малорусской речи по рук. XVII в. Киев, 1882. С. 11]. В церковном словаре XVIII в. *торба* фигурирует как поясняющее к слову *тоболец* [Алексеев. Церк. сл., с. 342], ср. еще: «*торба* – кузовок, в котором кормят овсом лошадей; сума, плетеный кошель» [САР-6, с. 742]. Вместе с тем пока остается необъясненным факт употребления в новгородской берестяной грамоте № 243 имени *Торба*: «а язъ *Торбе* своему господину цоломъ бью» [Новг. гр.-5, с. 66]. Правда, грамота эта относится к первой половине XV в., т. е. является сравнительно поздней. Несомненно, что в русский язык слово проникло в результате западнославянского влияния через посредство украинского языка или белорусского, даже в XIX в., по мнению В. И. Даля, *торба* 'мешок, сума' – южное, западное слово [Даль-4, с. 418]. Позднее наблюдается также в ярославских и уральских говорах [Мельниченко, с. 201].

Таким образом, названия мягких вместилищ из кожи и ткани в зависимости от объема реалий можно разделить на две подгруп-

пы: названия мешков и названия сумок. Члены каждой из этих подгрупп были связаны определенными синонимическими отношениями, родо-видовой зависимостью, а иногда – противопоставлены в семантическом аспекте. Кроме того, некоторые лексемы временно приобретали второе значение ‘футляр’, что объясняется неразвитостью группы наименований футляров в старорусском языке, слабой отграниченностью этой группы от других лексических объединений, близких в семантическом отношении.

По происхождению рассмотренные названия в большинстве относятся к исконным, они возникли в общеславянскую эпоху или в древнерусский период. Модель с суффиксом *-иц-*, а также *-к-* закрепились за названиями разновидностей рогож, деминутивы образовывались с помощью моделей на *-к-*, *-ек-/-ок-*, *-ец-*, *-ишк-* и др. Преобладала мотивация исконных названий по материалу и способу изготовления. Центром лексических объединений являлись гнезда однокоренных слов, которые по отношению к названиям разновидностей вместилищ часто выступали как родовые слова. Характерным признаком лексических объединений является одинаковая цепочка семантической деривации (при использовании разных словообразовательных средств): ‘материал’ – ‘вместилище’ – ‘мера’, а также неопределенность, размытость денотативных границ отдельных слов. Вариантность слов на фонетическом, деривационном, семантическом уровнях объяснялась обширностью территории употребления лексемы. Реалии одного типа, различавшиеся по материалу или способу изготовления, в разных местах получали разные наименования, среди них есть лексемы междиякцентного распространения, отмечаются и узколокальные средства.

По происхождению многие названия рогож относятся к исконным, т. е. возникли в общеславянскую эпоху или в древнерусский период. Некоторые древние названия образованы с помощью суффиксов *-j-*, *-иц-*: *веретье*, *кулье*, *веретище*, *воспище*. Модель с суффиксом *-иц-* закрепились за названиями разновидностей рогож: *лапотница*, *чюрошница*. Для образования деминутивов часто использовались модели на *-к-*, *-ек-*, *-ок-*, *-ец-*, *-ишк-*, *-ечк-*, *-очек-*. Преобладает мотивация исконных названий по материалу и способу изготовления.

Среди иноязычных заимствований чаще встречаются слова тюркского происхождения. Многие из них не получили широкого распространения и употреблялись как местные названия экзотических реалий. Лексемы широкого употребления приспособаб-

ливали свою семантику к нуждам русской номинационной системы (ср. *сума*, *сумка* первоначально 'переметная сумка', затем 'вместилище из кожи любого типа').

В центре лексических объединений находились гнезда однокоренных слов (с корнями *мех-/меш-*, *рогоз-/рогож-*, *верет-/врет-*, *кул-*, *сум-*), которые по отношению к названиям разновидностей определенного типа вместилищ часто выступали как родовые слова. Характерным признаком наличия лексических объединений является одинаковость лексико-семантических изменений, одинаковая цепочка семантической деривации (при использовании разных словообразовательных морфов): 'материал' – 'вместилище' – 'мера' и т. п. У некоторых слов часто бывают представлены все последовательно развившиеся значения, причем с недостаточной дифференциацией даже в конкретных контекстах. В начале письменного периода, вероятно, еще не было четкого различия названий в зависимости от объема и материала, из которого изготовлено вместилище (*мешок* обозначало 'большое по объему вместилище из кожи, ткани, рогожи' и 'карманный кошелек из кожи или ткани'; *рогожа* – это 'подстилка, плетенная из мочала' и 'вместилище, сшитое из рогожи'). Однако в XVII–XVIII вв. значения основных для этого периода лексем уже в достаточной степени определяются. Живая динамика этого процесса проявляется в том, что в текстах наблюдаются случаи сосуществования, взаимозамены семантически однозначных, но разных по времени появления и активности функционирования слов. Одной из причин, содействующей сохранению семантически тождественных однокорневых или разнокорневых слов, была неопределенность денотативных границ, колеблющийся облик реалии. В этот период активно развиваются деминутивы, но различия их в семантике по сравнению с основными словами еще не были достаточно закреплены практикой активного устного и письменного употребления.

Отдельные значения многозначных слов подвергаются стилистической дифференциации, способствует этому и различие в огласовке лексем, обусловленное взаимодействием русского и церковнославянского языков (ср. *вретище* – *веретище*).

Несмотря на бытовой характер обозначаемых реалий, некоторые слова имели книжно-архаический характер, отличались обобщенностью своего лексического значения.

Вариантность слов на фонетическом, деривационном или семантическом уровнях вызывалась обширностью территории их

употребления. Характерно, что центрами инноваций иноязычного происхождения были приграничные районы, где наиболее активными были бытовые и торговые контакты с иностранцами.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Борисова Е. Н. Лексика различной домашней утвари в рязанских памятниках XVI–XVII вв. // УЗ Балашовского пединститута. – Балашов, 1957. – Т. 2. – С. 243.

² Гринкова Н. П. Из истории областных слов русского языка // УЗ ЛГПИ им. А. И. Герцена. Балашов, 1957. – Т. 130. – С. 152; Откупщиков Ю. В. О происхождении слова *верига* // Этимологические исследования. – Свердловск, 1981. – Вып. 2. – С. 102.

³ Хитрова В. И. Материалы для словаря воронежской деловой письменности XVII–XVIII вв. // Проблемы истории русского литературного языка XIX–XX вв. – М., 1980. – С. 123–134.

⁴ Хорошкевич А. Л. Словарь русского языка XI–XVII вв.: рецензия // История СССР. – 1984. – № 5. – С. 176.

⁵ Котков С. И. Из истории некоторых диалектных слов // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. – М., 1962. – Т. 3. – С. 158; Он же. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв. – М., 1970. – С. 287; Панин Л. Г. Лексика западносибирской деловой письменности XVII – первая половина XVIII в. – Новосибирск, 1985. – С. 46–47.

⁶ Гринкова Н. П. Из истории областных слов русского языка... С. 141.

6. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЛОКАЛИЗМЫ И ДИАЛЕКТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЯЗЫКЕ МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВВ.

Исследование территориального распределения бытовой лексики показывает сложную конфигурацию ареалов отдельных диалектных средств. При этом отчетливо проступают очертания нескольких, хорошо противопоставленных по лексическим данным диалектных зон, границы которых по ряду причин восстановлены с известной долей условности (см. схему «Диалектное членение русского языка XVI–XVII вв. по лексическим данным» и комментарий в нашей статье: Лексические диалектизмы и диалектные

объединения языка Московской Руси // Вопросы языкознания. – 1985. – № 5. – С. 83–93). Во-первых, следует учесть, что «каких-либо общих границ диалекта (наподобие границ между княжествами, губерниями, областями и т. п.) не существует. Реальны лишь изоглоссы отдельных явлений и выделяемые на основе их пучков диалектные зоны. Границы между зонами колеблются, являются расплывчатыми¹. Во-вторых, примем во внимание неравномерное распределение сохранившихся и исследованных источников по территории России. В-третьих, сравнительно редкая сетка обследованных пунктов не позволяет намечать границы зон с абсолютной уверенностью, ср.: «диахронические лингвистические карты демонстрируют лишь тенденции в развитии определенных элементов, а не их абсолютные хронологические и территориальные параметры»². Уточнение этих границ является перспективной задачей, для ее решения требуется систематическое описание одного старорусского говора за другим на основе массового привлечения локализованных письменных источников. На наш взгляд, полное отождествление границ современных диалектных ареалов с их границами в XV–XVI вв. и даже более ранними³ и убежденность в длительной неизменности диалектных границ противоречат фактам истории языка. Кроме того, даже при тождестве ареалов взаимоотношения соседних говоров могли быть совершенно иными, нежели сейчас.

В старорусском языке XVI–XVII вв. противоплагаются по отношению друг к другу пять диалектных массивов. Север противостоит югу, они разграничены широкой и неровной полосой среднерусских говоров, внутри которой находятся такие пункты, как Торжок – Тверь – Москва – Владимир – Нижний Новгород. Внутри северной и южной территории в свою очередь противопоставлены запад и восток, но с меньшей степенью отчетливости, особенно в центральной и южной части России. Мысль о подобной схеме диалектного членения старорусского языка высказывалась и ранее, ср.: «более исконное противопоставление говоров русского языка в направлении с запада на восток постепенно перекрывалось вновь намечавшимся выделением говоров северного и южного территориальных подразделений»⁴. Граница между западной и восточной зонами проходит восточнее линии Холмогоры – Каргополь – Белозерск – Бежецк. При этом отметим, что нижнее течение Северной Двины (Архангельск, Холмогоры, Сия) является той переходной территорией, где изоглоссы северо-западной

и северо-восточной зон набегают друг на друга. Говоры Пскова и Великого Новгорода по лексическим показаниям местной деловой письменности решительно тяготеют к севернорусскому наречию, ср. характеристику современных псковских говоров: «перед нами в лексическом отношении говоры исторически северные в своей основе, сохранившие и сегодня немало севернорусского, но подвергшиеся позднее очень сильным влияниям извне»⁵. В южнорусской области малоотчетливая граница между западной и восточной зонами идет по линии Тула – Елец – Старый Оскол. Напомним, что юго-восточную зону южнорусской территории в свое время С. И. Котков ограничил пунктами Вольный – Белгород – Новый Оскол – Острогожск – Воронеж – Усмань, а также включил в нее юго-западную часть Рязанского края⁶. В общем виде указанные зоны близки к диалектным объединениям древнерусского языка XI–XIV вв., намеченным Ф. П. Филиным на основании лексических данных летописей: 1) севернорусская: а) северо-западная, в т. ч. новгородская, псковская и др., б) северо-восточная; 2) южнорусская; 3) восточнорусская; 4) западнорусская⁷. Вместе с тем намеченные нами зоны частично совпадают с зонами, выявленными по этнографическим данным XIX – начала XX в.: севернорусская (Новгородская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Ярославская, Костромская губ.), южнорусская (здесь выделяется крайний юго-запад благодаря близости своей материальной культуры к культуре и быту украинцев и белорусов), среднерусская (Московская, Владимирская, частично Тверская и Нижегородская, а также север Рязанской, Калужской губ.), западная, имеющая переходные черты (Псковская, Смоленская, юго-запад Тверской губ.), северо-восточная, юго-восточная⁸.

Назовем локализмы, послужившие основой для выделения указанных диалектных массивов. В их число вошли слова, устойчиво и широко употреблявшиеся на соответствующих территориях. Лексемы единичного употребления и слова с недостаточно определенной географией распространения сюда не включаются.

Вот характерные севернорусские лексемы, известные на всей территории Русского Севера: названия рукавиц *вачеги*, *верхи*, *верхонки*, *дельницы*, *дубленицы*, *надолонки*; названия одежды *платяное*, *верхник*, *шубник*, *одевальница* ‘тип шубы’, *сукник*, *свитка* ‘тип рабочей одежды’, *шушун* ‘верхняя женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом’, *кумачник* ‘сарафан из кумача’;

названия обуви *малье* 'детская обувь или обувь малых размеров', *уледни* – *уледы*, *унты*, *головы* 'сапоги с пришитыми головками'; названия посуды и утвари *дуплянка* 'тип бочки', *зобня* 'корзина', *подойник*, *латка*, *кошель* 'короб для сена', *решетки* 'приспособление для жарения и печения пищи', *ставик* 'сосуд для хранения напитков и жидкой пищи', *ларь*, *поварница* – *поваренка*, *утка* 'солонка в форме птицы', *чаша* 'деревянная посуда для валяния хлебов', *маслянка*, *призголовок*, *пестерь*, *рогожа* 'рогожный куль'.

На западе северной части России, где были земли, давно освоенные новгородцами (Псков, В. Новгород, Валдай, Тихвин, Белозерек, Свирь, Онега, Архангельск, Холмогоры), употреблялись такие отличительные для этой территории лексемы: *шубницы*, *деяницы*, *деяльницы*, *шушпан* 'женская легкая рабочая одежда, тип сарафана', *понева* 'тип наплечной одежды', *яры* 'сапоги из оленьей шкуры с пришитыми к ним штанами', *лежанка* 'бочка', *коробья* 'мерный сосуд', *бурак* 'короб для хранения бытовых предметов', *шалгун* 'сумки из ткани для бытовой рухляди, соединенные попарно для переноски на плече'.

На северо-востоке (Сольвычегодск, Хлынов, В. Устюг, Тотма, Вологда, Кострома, Ярославль) представлены следующие локализмы: *лопоть* 'одежда вообще', *верхница* 'рубашка', *солдатка* 'тип шубы', *свитка* 'тип женской верхней одежды', *ремень*, *полукушачье*, *кромка* 'пояс', *поршни*, *обуток*, *обуя*, *стречни* 'вид обуви особого покроя', *тимы*, *полуголенки* 'чулки', *кадулька*, *дупелька* 'тип бочки', *сельница* – *сеяница* – *сеяльница* 'корыто или лоток, в который ссыпалось просеиваемое вещество', *галин* 'небольшой деревянный или металлический бочонок', *носок* 'небольшой деревянный сосуд с двумя днищами'.

Выявленные в области предметно-бытовой лексики различия между северо-западной и северо-восточной зонами подтверждают вывод, сделанный Ю. И. Чайкиной на основе анализа других лексических групп, о том, что «существовавшая на более раннем этапе развития русского языка тенденция к обособлению словарного состава западной и восточной зон в их северной части в среднерусский период получает дальнейшее развитие»⁹.

Учитывая наличие значительного числа локализмов, связанных с тем или иным культурно-письменным центром Севера, можно говорить о существовании в старорусский период ряда севернорусских говоров: это **белозерские говоры** (*водяницы*, *плете-*

ницы, передовик 'передник', хамгла 'рыбацкий передник', шадра 'разновидность деревянной посуды', пантюха 'столовая чаша', ушатник 'ушат', лжично 'футляр для ложки, т. е. ложки, используемой при причастии'), **тихвинские** (курпы 'тип башмаков', вороновка – вороненка 'тип бочки', зеленка 'чашка зеленоватого цвета, сделанная из глины', кортель 'столовый сосуд из олова', лежка – лежатка 'тип бочки', мешелка 'род сумки, мошна', панна 'сковородка', уполовня, яندовочник 'вместилище для хранения яндов'), **великоустюжские** (кошуха 'рубашка', прикопытки 'короткие чулки', исподницы 'нижние рукавицы', камошницы 'рукавицы из оленьих камасов', шабур 'летний рабочий балахон из холста', бумажница 'вместилище для бумаг', бехтерь 'плетеное вместилище', коробец – коробчик, лагвица 'баклажка для хранения напитков, емкостью до 4 ведер', подойница 'сосуд для молока, используемый при доении коров', пуз 'мера и тара для сыпучих веществ', седун 'котел для изготовления вина', щепня 'колодезная бадья'), **северодвинские** (бусарка 'меховая одежда, покрытая тканью бусого цвета', холщевница – холщевня – холица 'одежда из холста', костыч 'тип сарафана', исподка 'нижняя женская рубашка', верхница 'верхняя рубашка', крестоватик 'тип меховой одежды', завеска 'передник', долгари 'тип обуви с длинными голенищами', пимы, исцель 'сапоги, сшитые из целого куска кожи', ровдужницы 'рукавицы из ровдуги, т. е. из оленьей шкуры', доиленка 'подойник', криница 'кринка', коренник 'тип посуды из корня дерева', липовка 'кадочка из липового дерева', порочка 'черпак', сусленик 'сосуд для сусла', ушатец, хлебенка 'посуда для хранения печеного хлеба'), **вологодские** (бусырь 'рабочая одежда из ткани бусого цвета', дубленки 'рукавицы из дубленой кожи', берестяники 'лапти из бересты', скрешни 'тип сапог', ошетни 'тип сапог', завитуха 'тип рогожи', огуречник 'столовая посуда для овощей', перешничек, плошка 'кухонная посуда для жарения'); **новгородские** (охоратки, кожницы). Прослеживается связь многих соседних говоров, например, устюжских и северодвинских (см. общие лексемы: *рукомойка, лаговка, хамьян* 'тип мошны'), тихвинских и белозерских и т. п. Обратим внимание на заметные различия в отношении лексики между вологодскими (от Вологды до Тотьмы включительно) и великоустюжскими говорами (но нижнему течению р. Сухоны до Сольвычегодска), вероятно, в прошлом вологодские говоры не были

в такой степени едиными, как сейчас, т. е. великоустюжские говоры существовали как отдельные.

Остановимся на характеристике северодвинского говора. Его включение в состав северо-западного диалектного объединения имеет известную традицию, ср., например: «Холмогорский говор сложился на основе древнего новгородского наречия под некоторым воздействием туземных языков (белозерской чуди, саамов, ненцев). С XVI в. подвергся скрещению с устюжско-вологодским, верхневолжским и московским диалектами»¹⁰. Вместе с тем диалекты нижнего течения Северной Двины тяготеют и к северо-восточной зоне, что подкрепляется этнографическими и антропологическими связями этих мест¹¹. Полагаем, что говоры нижнего течения Северной Двины могут быть отнесены к промежуточным, здесь происходило взаимодействие северо-западных и северо-восточных говоров, особенно активное в старорусский период. В. Я. Дерягин и Л. П. Комягина на основе анализа старорусских названий построек, географической терминологии и современного диалектного материала намечают границу между северо-западом и северо-востоком по водоразделу Онеги и Двины с Вагой¹². По нашим данным, эту границу нужно вести от Холмогор к Каргополю. Формирование северодвинских говоров (новгородских в своей основе) завершается лишь в XVII в. под влиянием верхнедвинских (великоустюжских) и сухонских (вологодских) говоров. Попутно заметим, что именование старорусских говоров по названиям рек было бы более правильно, поскольку население в те времена размещалось по водным путям. На XVI–XVII вв., как на завершающий период формирования некоторых говоров, указывает и К. В. Горшкова: «Распространившись на огромной территории, отдельные части которой имели своеобразную судьбу, новгородский диалект в разных местах развивался неодинаково. История формирования этих групп и диалектных различий между ними относится к эпохе после XV в., т. е. главным образом к XVI–XVIII вв., и в нашей науке совершенно не изучена»¹³.

Среднерусские говоры, за исключением московских, не обнаруживают лексической специфики, подтверждая тем самым свое промежуточное, переходное положение между севернорусскими и южнорусскими диалектами. Следует отметить размытость границ среднерусских говоров: северной границы – из-за тяготения к севернорусскому наречию волоколамских и тверских говоров, юж-

ной – из-за заметной связи южного Подмосковья с рязанскими говорами, см. общие лексемы в последних: *судница* ‘вместилище для посуды’, *воспище* ‘подстилка или мешок из дерюги’, *лапотница* ‘тип рогожи’, *циновка* ‘тип рогожи’. В крайней западной части среднерусской территории вовсе не заметно какой-то промежуточной прослойки между севернорусскими и южнорусскими говорами, что, кстати, объясняет определенную близость смоленского говора к севернорусскому наречию.

Большое число локализмов имеет старомосковский говор. Словарь московской письменности вообще поражает своим объемом, в деловой и художественной речи Москвы происходил иногда осознанный, но чаще стихийный отбор лексических средств из огромного числа общерусских лексем или элементов других диалектов, разными путями попадающих в говор Москвы, который объединял русские языковые силы. Благодаря активным контактам населения диалектные, типично северные или специфические южные слова хотя бы отдельными употреблениями могли быть представлены в московских источниках, не переставая от этого оставаться регионализмами определенной территории: это севернорусские *подойник*, *латка*, *решетки*, южнорусское *понева* ‘женская набедренная одежда’, юго-западные *фартук*, *катанка*, *дылея*, северо-западные *мурманка*, *повязка*, северо-восточные *полуголенки*, *чарки* и т. д. Наличие в языке Москвы большого числа подобных фактов ставит под сомнение объективность предложенной Н. С. Бондарчук методики определения старорусских диалектизмов путем сопоставления местных явлений с данными московских письменных источников¹⁴ и подтверждает необходимость привлечения для лингвогеографических исследований письменных источников разной территориальной приуроченности.

В словаре Москвы отмечаются и другие специфические явления. Известный консерватизм царского двора в отношении церемониальной и нарядной одежды, традиционность обычаев проведения приемов и пиров привели к сохранению ряда архаичных названий. В то же время в язык Москвы активно поступали иноязычные заимствования, связанные с новыми типами западноевропейских короткополых одежд и новыми веяниями в области домашнего быта. Столкновение архаичного русского материала и новейших западноевропейских заимствований – харак-

терная особенность словарного состава московского говора XVI–XVII вв.

Наблюдается большое число лексем, общих для севернорусских и среднерусских говоров¹⁵. Однако не удалось выявить фактов, объединяющих северо-восточную зону с ростово-суздальскими говорами. Это можно объяснить тем, что новгородская колонизация северо-восточной зоны была более ранней, она началась в X–XII вв.¹⁶, а ростово-суздальская проходила позднее, в XIV–XV вв., и выражалась лишь в организации здесь ростово-суздальского административно-финансового управления¹⁷.

Интенсивным было воздействие ростово-суздальской колонизации на состав и культуру населения, сидевшего по р. Мологе, Шексне, вокруг озер Белого, Кубанского, Воже и Лаче¹⁸. Здесь находят отражение древние связи Московского и Ростово-Суздальского княжеств с Белозерьем и Вологодчиной, московская и ростово-суздальская колонизация Севера, проходившая в XIII–XV вв., а также волна обратной миграции в XVI–XVII вв. Немалую роль играет и «первоначальный севернорусский характер ростово-суздальского диалекта»¹⁹.

В южнорусской диалектной зоне обнаружено меньше специфической лексики, но эта зона характеризуется отрицательными показаниями в отношении вышеуказанных севернорусских и среднерусских регионализмов. Вот типичные южнорусские слова, отмеченные на всей территории юга: *вязенки* ‘вязаные рукавицы’, *понева* ‘женская набедренная одежда’, *запояска*, *подпояска*, *покрошь* ‘женский пояс’, *комяга* ‘корыто для воды’, *напол* ‘тип кадки’, *уполоник* ‘разливательная ложка’. На юго-востоке также отмечены *синевка* ‘тип поневы’, *чоп* ‘чан, используемый при винокурении’, *мастюшка* ‘горшок для масла и других жидких продуктов’, *махотка* ‘небольшой кухонный горшок’. На юго-западе наблюдаются лексемы *панчохи* ‘разновидность чулок’, *сельник* ‘лоток, в который сыпается просеиваемое вещество’, *гарнец* ‘тип посуды’, *лазбень* ‘род кадки, жбана’.

Можно выделить также рязанские локализмы (*синявка* ‘тип поневы’, *снур* ‘головной убор’, *поставня* ‘хлебная чаша’, *севальник* ‘лукошко для ручного сева зерна’), воронежские (*варги* ‘вязаные рукавицы’, *вершки* ‘верхние рукавицы’, *бострог* ‘тип женской одежды’, *безрукавка*, *деланка* ‘тип поневы’, *запаска* ‘передник’, *деготница* ‘сосуд для дегтя’, *плахта*, *копица* ‘башлык’, *каюк* ‘корыто для выращивания солода’, *кляга* ‘бочонок’, *кадиль*

‘кадка’, *дежа* ‘квашня’, *кошелка*, *прикадок*, *садовница* ‘лукошко’, *судня* ‘вместилище для посуды’), смоленские (*снoванка* ‘тип поневы’, *хустка* ‘головной платок’, *перчатки*).

Значительным единством отличались говоры, расположенные в западной части русской территории (от Тихвина до Смоленска), по этой причине смоленские говоры иногда не включают в южнорусское наречие. Но все же если Вязьма и Дорогобуж по лексическим данным местной письменности ближе к северо-западу, то Смоленск – к юго-западу, ср. мнение о том, что смоленский говор XVI–XVII вв. не входил в южнорусскую диалектную зону²⁰. Приведем вначале общие для всей указанной западнорусской территории лексические единицы: *магирка* ‘войлочный колпак’, *приволока*, *саян*, *шлык*; *игольница* – *игольник*, *кварта* ‘сосуд для жидкости с ручкой и крышкой; мера объема’, *насадка* ‘деревянный бочонок для напитков, емкостью до 7 ведер’, *осташевка* ‘тип бочки’, *селедовка* ‘тип бочки’, *питушка* ‘сосуд для напитков’.

В лексическом составе западнорусских и севернорусских письменных источников наблюдаются общие элементы: *кандея*, *кувшин*, а также названия вместилищ с корнем *луб-*. В западнорусских говорах и в южнорусском наречии отмечены общие названия одежды: *катанка*, *дылея*, *фартук*. Западный регион по лексическим показаниям можно характеризовать как переходную зону, Любопытно, что по этнографическим данным, правда, более позднего периода – XIX–XX вв. – он также является переходной зоной²¹.

Как показывает анализ, лексические связи говоров северной территории и среднерусских диалектов в XVI–XVII вв. были значительнее, чем аналогичные коммуникации средней России и юга. Сравнивая локальную лексику разных территорий с точки зрения ее употребительности, междиалектного распространения, можно заметить, что диалектизмы севера устойчивее, значительно и их число; данное обстоятельство в некоторой степени объясняется наличием богатой деловой письменности, хорошо отражающей местные явления. Можно предполагать более существенный вклад севернорусского наречия по сравнению с южнорусским в общенародную лексическую сокровищницу: многие слова, впервые отмеченные в письменных источниках Русского Севера, позднее закрепляются в общерусском употреблении.

Наблюдения за временем появления того или иного слова на разных территориях позволяют судить о центре инновации, что

важно как для выяснения вклада отдельных говоров в общерусский лексический фонд, так и – в случаях с заимствованными словами – для определения источника заимствований. Например, слова *курта*, *куртка* были первоначально западнорусскими, а со второй половины XVII в. приобрели общерусский характер. *Чан* (именно этот вариант) вначале известен в памятниках Северной Руси, с начала XVII в. появляется в московских текстах, а со второй половины столетия слово употребляется повсеместно. Первые примеры употребления слова *лагун* наблюдаются в севернорусских актах, к концу XVII в. оно обнаруживается в письменности среднерусской полосы. *Шайка* вначале известно в памятниках Сибири и восточной части севернорусского наречия, к середине XVII в. занимает все пространство Русского государства. Слова *кузов* и *бумажник* распространяются по русской территории с севера, *корзина* и *сундук* – с северо-запада, *туес* и *подголовок* – с северо-востока. *Чемодан* вначале было известно в Москве и на севере России, а с середины XVII в. становится общерусским. *Шкатулка* в изучаемый период было распространено в центре и в бассейне Северной Двины, южнее Рязани это слово не отмечалось. Все приведенные факты касаются севернорусских локализмов, постепенно получивших общерусское распространение.

В отношении южнорусских лексем (имеются в виду лишь тематические группы «одежда» и «утварь») подобные случаи неизвестны. В лексике юга преобладало общерусское, местных черт здесь вообще в количественном отношении меньше. Отчасти это объясняется меньшим числом и более поздним характером сохранившихся письменных источников. Определенную роль сыграли и историко-социальные причины, определившие менее существенную роль юга России в хозяйстве страны. Из 16 русских городов, в которых в XVII в. насчитывалось более 500 дворов, на севере находилось 9, причем все они имели торгово-ремесленный характер. Южнорусские города населялись главным образом служилыми людьми и земледельцами, здесь имелся лишь один крупный город – Калуга²². В отношении юга нужно учесть и такой фактор: русское население здесь существовало непрерывно, но наиболее интенсивно юг заселялся в XVI–XVII вв., причем заселение шло с севера на юг, в частности, из Тульского, Московского, Костромского, Владимирского, Суздальского и других среднерусских уездов²³, поэтому среднерусское и общерусское влияние на южнорусскую речь (а не наоборот) в ту пору было особенно значительным.

Со второй половины XVII в., особенно в связи с таким событием, как воссоединение Украины с Россией, возрастает украинское влияние на юге, начиная с курско-белгородских мест²⁴. Одновременно в связи со стабилизацией населения крепнут южнорусские диалектные черты. Возможно, некоторые южнорусские особенности развились, окрепли и распространились на более широкую территорию, например, в верхнеднепровские говоры (Дорогобуж, Вязьма), лишь в национальный период. На интенсивность изменений южновеликорусских говоров за последние три-четыре столетия указывал и С. И. Котков²⁵.

Что касается проблемы так называемой «диалектной основы национального языка или – в нашем случае – «национального бытового словаря», то можно сказать, что единственной диалектной основы не было и быть не могло. Перерыва в развитии языка древнерусской народности к языку великорусской народности не было, нет границы и между донациональным и национальным состояниями языка. Фонд общерусских лексических средств, переходящих от одного языкового состояния к другому, постоянно возрастал, именно он и был ядром, основой, базой для словаря национального языка. В этом ядре родовые названия, появившиеся в древнерусский период и ранее, были первоначально чаще южнорусскими, а значительное число видовых обозначений зафиксировано лишь в XV–XVII вв. и первоначально в севернорусских источниках. Ведущая роль среднерусских говоров и особенно говора и письменности Москвы состояла в том, что благодаря историческим условиям формирования нации именно здесь происходил процесс отбора, закрепления и распространения (с помощью письменности и другими способами) общерусских лексических средств. Общерусское значение московского говора на основе данных фонетики и морфологии обосновал еще А. А. Шахматов²⁶. Историко-лексикологические наблюдения не подтверждают выдвинутой в начале 50-х годов XX в. идеи об определяющей роли южновеликорусских говоров в формировании национального языка²⁷. Как заметил В. В. Виноградов, «к исходу XVI – середине XVII в. общенародный разговорный и письменно-деловой язык, оформившийся на базе средневеликорусских говоров с руководящей ролью говора Москвы, приобретает качества общерусской языковой нормы»²⁸. В свою очередь характер московского говора «определяла не местная диалектная база, а та диалектная доминанта, которая сложилась в процессе взаимодействия более широких диа-

лектных образований русского юга и севера»²⁹. Вместе с тем лексические данные подтверждают предположение С. П. Обнорского о том, что «в XVII в. на самой московской территории севернорусских черт было более, чем сколько мы наблюдаем в московском говоре в настоящее время»³⁰, часть этих черт (*лагун, кузов, корзина, бумажник* и др.) позднее приобрела общерусский характер. Старорусские факты из области лексики не дают оснований для утверждения о том, что «главствующим началом формирования московского койне были не северновеликорусские, а южновеликорусские говоры», как считал Ф. П. Филин³¹.

Что касается русского языка в Сибири, то он зависел от своей северновеликорусской основы и был особенно близок к говорам северо-восточной зоны, что подтверждается большим числом общих лексем: *лопоть, шушун, свитка, шабур, верхница, полукушачье, обуя, пимы, уледи; поварница, приголовок, рогоза, утка 'солонка', меденик, зобня 'корзина', косяк 'род сосуда'*. В свое время А. М. Селищев высказал мысль о том, что «в основу сибирских говоров легли говоры северной полосы Европейской России – говоры Новгородской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской, Вятской и Пермской губерний»³². Старорусские лексические данные дают возможность ограничить генетическую основу сибирских диалектов северо-восточными, а из числа северо-западных – двинскими говорами. Наблюдаются здесь и специфические, местные слова, заимствованные из тюркских, финно-угорских и тунгусо-маньчжурских языков, например, названия меховой одежды и обуви, как *доха, малица, парка, тулуп, санаяк, яка, торбосы* и др. Уже в XVII в., когда некоторые районы Сибири были достаточно освоены русскими, а местное население ассимилировано, здесь создаются условия для формирования в ряде говоров, например, в томском, средневеликорусских черт³³.

Говоры Поволжья тяготели к среднерусским и юго-восточным диалектам (*казан 'котел для винокурения', плошка 'питейный сосуд'*). Выделяется своим смешанным словарем астраханская письменность, где есть местные названия (*баба 'сосуд для питья', стоятня 'тип бочки', тартовка 'тип рогожи', чапурка 'керамическая чашка для напитков'*), встречаются и элементы других диалектов, в том числе севернорусских.

Из сказанного напрашивается вывод о том, что, по-видимому, в период Московской Руси, хотя основные русские говоры уже вполне сформировались, шло дальнейшее развитие диалектов,

уточнение их границ, нарастание местных особенностей как на территории метрополии, так – и особенно – в пограничных районах, т. е. западной и южной зоне, Сибири. Представляется преждевременным и неточным вывод о том, что «наблюдается полное соответствие ареалов XVII в. современному диалектному членению русского языка»³⁴, В XVI–XVII вв. продолжается и процесс развития диалектных явлений в лексике, поэтому лексические факты в сочетании с фонетическими и грамматическими должны быть включены в совокупность признаков, различающих те или иные старорусские диалекты.

Коснемся некоторых частных моментов территориального функционирования старорусской лексики. Особый интерес и вместе с тем определенную трудность для выявления представляют междиалектные лексемы широкого, но не общерусского употребления, например, *ушат* – севернорус., среднерус., юго-вост.; *берестень* и *насадка* – севернорус., среднерус., юго-запад. При отсутствии общепризнанной литературной нормы, зафиксированной в определенном круге письменных источников, констатировать территориальную приуроченность подобных лексем можно лишь путем массового обследования разнолокальных источников.

Четкого попарного или погруппового территориального распределения лексем фактически не наблюдается, т. к. лексико-семантические процессы в говорах отличались динамичностью, соседствующие говоры активно обменивались лексикой, а также и потому, что «самый характер лексико-семантических противопоставлений отличается неравномерностью и несимметричностью»³⁵, что особенно характерно для предметно-бытовой лексики. Примеры лексических соответствий обнаруживаются лишь внутри лексических микрогрупп. Например, если в севернорусских источниках диалектными являются названия рубах и сарафанов, то в южнорусских источниках им противостоят наименования разновидностей понев, но географического противопоставления слов *сарафан* и *понева* не было, поскольку *сарафан* было общерусским словом.

Отметим далее, что диалектное разнообразие в сфере названий женской одежды – результат большего разнообразия и большей изменчивости самой женской одежды. Комплекс мужской одежды носил общерусский характер, поэтому большинство соответствующих слов представлено на всей русской территории. Указанные особенности подтверждаются и на более широком сла-

вянском материале, так, в староукраинском и старобелорусском языках по сравнению с русским языком XV–XVII вв. также наблюдается значительное сходство словаря мужской одежды и значительные расхождения в номенклатуре женской одежды. Сопоставление анализируемой номенклатуры в восточнославянских языках данного периода обнаруживает количественно неодинаковый состав групп, разную частотность общих лексем, ср. широкую употребительность в русском языке слов *рубаха*, *рубашка*, *портки*, *порты* в соответствии со столь же распространенными в украинском и белорусском *сорочка* и *шаровары*. На русской территории, особенно на севере, широко используется слово *чулки*, в южнорусской и украинской письменности оно становится популярным с начала XVIII в. В староукраинских и старобелорусских текстах чаще встречаются слова *жупан*, *цеботы* и т. п.

На степень развитости локализмов в той или иной тематической группе иногда влиял сословный характер реалий. Среди названий крестьянской рабочей одежды или обозначений простонародной грубой и поношенной одежды особенно много локальных фактов, есть подобные элементы среди названий кухонных черпаков, ср. *поварница* – севернорус., сибирск., *поваренка* – севернорус., *уполовник* – севернорус., среднерус., юго-вост., *аполло/у/ник* – юго-запад., *чюмич* – севернорус., среднерус., юго-запад. Функционально одинаковые сосуды для винокурения получили повсеместно название *квасник*, но имелись и местные наименования: *заторник* – севернорус., московск., *спускник* – псковск., вологодск., костромск., *цепник* – белозерск., тверск., вологодск., костромск., *чоп* – южнорусское. Одинаковые сосуды для приготовления теста на значительной территории от Поморья до Рязани получили название *квашня*, лишь в воронежских актах обнаружено наименование *дежа*. Сосуд для хранения молока на севере, в средней России и в северо-восточной части южнорусской территории назывался *кринкой*, а в районе Звенигорода, Муроме и Рязани, кроме слова *кринка*, употреблялось название *молостов* с тем же или очень близким значением. Во всех этих случаях диалектные различия основаны на неодинаковом членении одного и того же семантического поля носителями разных диалектов, что выражается различием мотивирующих признаков, аффиксов. Между одними и теми же лексемами на разных территориях возникали неодинаковые семантические отношения. Комплексы функционирующих на той или иной территории тематических и

лексико-семантических групп отличаются количеством лексем, что отчасти зависит и от экстралингвистических причин: климатических условий местности, наличия того или иного сырья, особенностей технологии ремесла и т. д., см. обилие названий рукавиц в севернорусских источниках, наименований меховой одежды и обуви в сибирских материалах, более раннее появление на севере слова *ремень* в значении 'кожаный пояс для подвязывания одежды' и более частое употребление на юге лексемы *подпояска* 'пояс из ткани для подвязывания одежды'.

Диалектный характер часто приобретали и названия, заимствованные из других языков. Центрами таких инноваций были приграничные районы, на территории которых торговые и бытовые контакты с иностранцами были наиболее интенсивными (см., например о смоленском диалекте XVI–XVII вв. как посреднике в усвоении западноевропейских заимствований³⁶). Регион первоначального употребления заимствованного слова в русской письменности, а также маршрут его постепенного распространения по другим зонам может служить локализирующим признаком для установления языка – источника заимствования. Если при этом разные фонетические варианты слова связаны с разными регионами (ср.: *кумган* – севернорус, московск., рязанск., *кунган* – средне-рус, белозерск., рязанск., воронежск., см. также разную географию вариантов *яндова* – *ендова*), то это может быть свидетельством неоднократного заимствования слова из близкородственных языков, причем в разных частях России.

В истории лексики есть не только случаи расширения ареалов слов, но и факты ограничения территории бытования лексемы, как было со словом *почвы*, превратившимся из общерусского в локальное явление.

Среди локализмов XVI–XVII вв. есть и архаичные для той поры элементы, причем они употребляются не только в местной письменности, но и в церковно-книжных сочинениях, в историко-повествовательных текстах: это названия мер и мерных сосудов (*лагвица*, *гарнец*, *пуз*), наименования царской и придворной одежды и др.

Дальнейшее развитие исторической лингвогеографии на материале лексики позволит уточнить картину территориальной дифференциации словарного состава русского языка и проследить за складыванием общерусского лексического фонда в других тематических группах.

В качестве вывода к этому разделу отметим, что XVI–XVII вв. – чрезвычайно важный период в истории развития словарного состава русского языка. В это время крепнут объединительные тенденции во всех сферах духовной жизни народа, закладываются основы национального бытового словаря, происходит отбор в общерусскую лексическую сокровищницу семантически емких и стилистически выразительных слов из огромного числа книжных, разговорных и общеупотребительных или локальных элементов. Увеличивается число нейтральных общеупотребительных лексем, наблюдается широкое «олитературирование» слов бытовой сферы, ранее функционировавших лишь в отдельных говорах. Решающую роль в этом процессе играют говор и письменность Москвы. В старорусском бытовом лексиконе преобладают названия исконного происхождения, они составляют основу формирующегося национального бытового словаря, церковнославянизмы и иноязычные заимствования в нем составляют лишь незначительную часть. Усиливается нормализующее воздействие языка литературно-художественных и описательных сочинений религиозного и светского содержания, они выступают в качестве лаборатории семантико-стилистических проб и экспериментов, но в основном для родовых названий. Отбор лексем из разговорного фонда конкретных названий, из новообразований и заимствований происходил в деловой речи. Деловой речи принадлежит главная роль в формировании русского бытового словаря, в складывании общерусских лексических средств.

В XVI–XVII вв. речь горожан не была отделена от диалектной речи сельского населения, средством повседневного общения русских был русский разговорно-бытовой язык диалектного характера, в котором имелось значительное число общерусских элементов. Просторечия, понимаемого сейчас как «эмоционально-сниженный пласт литературного языка и наддиалектные, не имеющие изоглосс явления, стоящие, вне литературного языка», в XVI–XVII вв. не было. Мнение об относительном единстве в XVII в. общерусского городского просторечия³⁷ не может быть принято за его бездоказанностью. Ф. П. Филин не без оснований предполагал, что «выделение просторечия началось во второй половине XVIII в.»³⁸. В языке XVI–XVII вв. было представлено следующее противопоставление: народно-разговорное–книжное, при этом в понятие «народно-разговорное» мы включаем диалектные средства и наддиалектные элементы общерусского употребле-

ния из устной бытовой речи городского и сельского населения, которые находят отражение в деловой письменности и частной переписке, в разговорниках и азбуковниках.

Единого и общенародного разговорного языка Московской Руси не было. Вся территория России была в равной мере диалектной, в меньшей степени это относилось к Москве и нескольким крупным торгово-ремесленным центрам, как Великий Новгород, Псков, Вологда, Астрахань, в койне которых заметнее проступали общерусские черты, не подавляя, впрочем, местного начала. К сожалению, койне русских средневековых городов на фоне крестьянской речи окружающего региона пока еще не изучены, затрудняет отсутствие текстов, связанных с мелкими населенными пунктами и отражающих диалектные особенности речи местных жителей. Замена в этом случае исторических сведений современным диалектным материалом снижает доказательность выводов.

Несколько иной была картина в Сибири и южнорусских областях, население которых в XVI–XVII вв. активно обновлялось, здесь процессы нивелировки диалектных особенностей и отбора общерусских средств в результате непосредственного общения уроженцев разных областей могли идти довольно быстро, уступая в интенсивности лишь аналогичным изменениям речи москвичей.

Различные формы устной и письменной речи были в разной степени связаны с диалектным разнообразием бытового общения.

Дальнейшее изучение истории лексики на основе учета всех форм применения языка, всего многообразия письменных источников позволит приблизиться к решению сложных вопросов формирования национальной лексической нормы, развития и взаимоотношений отдельных диалектов и наречий, диалектов и литературного языка, выяснить сущность изменений в период перехода от донационального к национальному состоянию языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Филин Ф. П. Некоторые проблемы реконструкции древнерусских диалектов // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. — М., 1968. — С. 383.

² Нимчук В. В. К вопросу об украинской диахронической лингвогеографии // Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. — М., 1984. — С. 86.

- ³ Хабургаев Г. А. Становление русского языка. – М., 1980. – Гл. 5.
- ⁴ Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии. – М., 1970. – С. 230.
- ⁵ Герд А. С. О севернорусской лексике в псковских говорах // Эволюция лексической системы севернорусских говоров. – Вологда, 1984. – С. 8.
- ⁶ Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии (фонетика и морфология). – М., 1963. – С. 15–16.
- ⁷ Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей) // УЗ ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Л., 1949. – Т. 80. – С. 277.
- ⁸ Работнова И. П. Русская народная одежда. – М., 1964. – С. 4; Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX – начала XX в. // Русские. Историко-этнографический атлас. – М., 1967. – С. 256–260.
- ⁹ Чайкина Ю. И. Вопросы истории лексики Белозерья // Очерки по лексике севернорусских говоров. – Вологда, 1975. – С. 155.
- ¹⁰ Ларин Б. А. Русско-английский словарь – дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). – Л., 1959. – С. 310.
- ¹¹ Витов М. В. Этнические компоненты русского населения Севера (в связи с историей колонизации XI–XVII вв.). – М., 1964.
- ¹² Дерягин В. Я. О развитии диалектов Архангельской области по данным истории и географии слов. АКД. – М., 1966. – С. 17; Он же. Из истории лингвистических изоглосс в говорах Архангельской области // Этимология. 1966. – М., 1968. – С. 167–188; Комягина Л. П. Лексический атлас Архангельской области // Русская речь. – 1971. – № 3. – С. 86–95; Она же. Соотношение лингвистических и этнографических ареалов на территории Архангельской области // Эволюция лексической системы севернорусских говоров. – Вологда, 1984. – С. 8–19.
- ¹³ Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. – М., 1972. – С. 144.
- ¹⁴ Бондарчук И. С. К вопросу лингвогеографической интерпретации семантических структур // Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу. – Воронеж, 1974. – С. 178.
- ¹⁵ Судаков Г. В. Лексические диалектизмы и диалектные объединения языка Московской Руси // Вопросы языкознания. – 1985. – № 5. – С. 83–93; Он же. Лексические связи среднерусских говоров в русском языке преднационального периода // Среднерусские говоры. – Калинин, 1986. – С. 55–64.

¹⁶ Богословский М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. – М., 1909. – С. 1–4; Бернштам Т. А. Роль верхневолжской колонизации в освоении Русского Севера // Фольклор и этнография Русского Севера. – Л., 1973. – С. 24.

¹⁷ Кизеветтер А. А. Русский север. – Вологда, 1919. – С. 12; Очерки по истории колонизации Севера. – Пг., 1922. – Вып. 1. – С. 35–37.

¹⁸ См. лексические показания: Судаков Г. В. Лексические диалектизмы и диалектные объединения языка Московской Руси...; Он же. Лексические связи среднерусских говоров в русском языке преднационального периода...

¹⁹ Аванесов Р. И. К вопросам образования русского национального языка // Вопросы языкознания. – 1953. – № 2. – С. 68.

²⁰ Борисова Е. Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. – Смоленск, 1974. – С. 112; Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии (фонетика и морфология)... С. 16.

²¹ Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX – начала XX в. ... С. 193–267.

²² Муравьев А. В., Самаркин В. В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V–XVII вв.). – М., 1973. – С. 138–139.

²³ Багaley Д. И. Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. – М., 1887. – С. 369; Готье Ю. В. Замосковский край в XVII в. – М., 1937.

²⁴ Багaley Д. И. Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства... С. 159; Танков А. А. Историческая летопись курского дворянства. – М., 1913. – С. 200–201; Хабургаев Г. А. Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия. (Введение. Вокализм) // УЗ МОПИ им. Н. К. Крупской. – М., 1966. – Т. 163. – Вып. 12. – С. 278–279, 308–309.

²⁵ Котков С. И. Памятники русской письменности и историческая диалектография // Вопросы языкознания. – 1975. – № 2. – С. 13.

²⁶ Шахматов А. А. К вопросу об образовании русских наречий // Русский филологический вестник. – Варшава, 1894. – № 3; Он же. Введение в курс истории русского языка. – Пг., 1916. – Ч. 1.

²⁷ См. ее обоснование: Аванесов Р. И. К вопросам образования русского национального языка...; критический разбор приводится в работе: Черных П. Я. О начале и характере формирования русского национального языка // Филологические науки. – 1958. – № 3. – С. 130–142.

²⁸ Виноградов В. В. Основные вопросы и задачи изучения русского языка до XVIII в. // Вопросы языкознания. – 1969. – № 6. – С. 34.

- ²⁹ Котков С. И. Об образовании восточнославянских национальных литературных языков // Вопросы языкознания – 1960. – № 1. – С. 61.
- ³⁰ Обнорский С. П. Избранные работы по русскому языку. – М., 1960. – С. 159.
- ³¹ Филин Ф. П. О лексике древнерусского языка // Вопросы языкознания. – 1982. – № 3. – С. 101.
- ³² Селищев А. М. Диалектологический очерк Сибири // Избранные труды. – М., 1968. – С. 226.
- ³³ Палагина В. В. Реконструкция исходного состояния вторичного говора (на материале томского говора): АДД. – Новосибирск, 1973. – С. 22.
- ³⁴ Хабургаев Г. А. Становление русского языка... С. 178.
- ³⁵ Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М., 1973. – С. 126.
- ³⁶ Борисова Е. Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. – Смоленск, 1974.
- ³⁷ Хабургаев Г. А. Становление русского языка... С. 81.
- ³⁸ История лексики русского литературного языка кон. XVII – нач. XIX века. – М., 1981. – С. 7.



Глава VI.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ: ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. ЛЕКСИКОГРАФИЯ НА СЛУЖБЕ ЛЕКСИКОЛОГИИ

Историческая лексикология и историческая лексикография развиваются параллельно, и конкретные проявления их взаимодействия достаточно известны. Активизация русской лексикографии позволяет весьма оптимистично оценивать ее перспективы.

Каждый новый этап развития исторической лексикологии приводит к выводам о каких-то несовершенствах в имеющихся или выходящих исторических словарях. Например, осознаваемая в настоящий момент необходимость в обобщающих трудах по исторической лексикологии не может быть удовлетворена без создания словарей, фиксирующих жанрово-стилистическую и географическую дифференциацию лексики. Достаточно глубокая и ясная ретроспектива, освещающая эволюцию отдельных слов, помогла бы решить немало неясных вопросов современной диалектологии и лексикологии русского языка.

Дальнейшее развитие исторической лексикологии потребует создания большого (с максимальным охватом источников) старорусского словаря XIV–XVII вв. и целого ряда частных словарей того же периода: словаря языка Москвы и некоторых других регионов, словаря делового языка, словаря книжнославянского языка периода второго южнославянского влияния. Уже сейчас очевидна нужда в диалектном словаре XIV–XVII вв. или только XVII в., который в дальнейшем может пополняться и уточняться.

Создание лексиконов русского языка XIV–XVII вв. обеспечено большим количеством опубликованных источников, особенно

XVII в., и поистине неисчерпаемыми фондами рукописей делового содержания второй половины XVI–XVII вв. Эти материалы выявлены и в известной мере исследованы лексикологами, т. е. выполнена необходимая работа, предвещающая вышеуказанные лексикографические мероприятия.

Историческая лексикография русского языка, к сожалению, не изобилует словарями. Словари классического типа («Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)», «Словарь русского языка XI–XVII вв.»), начатые в советское время, до сих пор не завершены изданием, а словари других типов (словарь языка памятников, региональный словарь) выходят очень редко.

Например, задуманный в Санкт-Петербургском университете «Словарь обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.)» (далее – СОРЯ; см.: [Проект Словаря обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.). – СПб.: Наука, 2002] привлекателен по целому ряду обстоятельств.

1. Для его составления избирается период русского Средневековья (вторая половина XVI в. – первая треть XVIII в.), хорошо обеспеченный памятниками. Правда, эти памятники в большинстве своем еще не опубликованы, но их основные коллекции, хранящиеся в центральных и местных архивах, известны и частично описаны специалистами. Желание авторов СОРЯ дать свежий иллюстративный материал вполне реализуемо, если они будут достаточно усердны в расписывании скорописных источников (первоначально в списке источников, используемых в словарных статьях-образцах, был всего один рукописный источник).

2. СОРЯ задуман как словарь дифференциального типа. Включается в Словарь «лишь то, что можно считать: 1) народным, 2) русским и 3) обиходным», а также 4) «славянизмы, широко известные и употребительные в разных жанрах письменности Московской Руси». При отборе лексики исключению будут подлежать: 1) церковно-книжная лексика («слова узкоцерковного применения и назначения») и 2) «все, что считаем не чисто книжным» (вслед за Б. А. Лариным), 3) не выдуманные, «кованные писательские слова, не окказиональные кальки с иностранных речений, вводимые неискусными переводчиками».

3. Заслуживает одобрения функционально-жанровый подход к лексическому материалу: «язык устного общения и частных деловых документов, лишенных политического, общегосударствен-

ного значения», «наддиалектная система разговорной речи XV–XVII вв.», «общий разговорный язык, а не узко локальный и не узко социальный».

4. Разнообразен круг источников Словаря. Привлекает желание авторов дать представление о составе разговорного словаря Московской Руси.

5. Достаточно подробно разработана словарная статья, особенно в части семантического описания и подачи фразеологизмов. Особую ценность представляет намерение авторов дать не менее 2–3 цитат на каждое значение, оттенок, устойчивое сочетание. Хорошо, что введена помета о количестве цитат в картотеке на каждое слово.

Далее скажем о наших замечаниях и предложениях к Проекту.

1. Для обоснования временных границ Словаря (у авторов Проекта: XVI–XVII вв.; у Б. А. Ларина: вторая половина XVI – первая треть XVIII в.) недостаточно только цитаты из Б. А. Ларина. Для него был принципиален вопрос о границах начального этапа образования национального русского языка, он говорил о «характерных признаках начального этапа образования национального русского языка (устного и письменного)», правда, не назвав этих «характерных признаков». Было бы разумно попытаться назвать эти признаки, обосновав тем самым и хронологические рамки Словаря. Хотя и сам Б. А. Ларин, как нам представляется, в конце концов проектировал хронологию Словаря только по одному основанию – период, достаточно хорошо обеспеченный «памятниками, содержащими обиходную лексику и фразеологию».

2. Сформулированные составителями основания отбора лексики для СОРЯ не слишком строги, а временами – откровенно расплывчаты. Что входит в содержание таких понятий, как «живая разговорная лексика», «народное, русское, обиходное», «общенародная обиходно-разговорная речь»?

3. Главная проблема, не до конца разрешенная авторским коллективом, – определение границ и содержания понятия «обиходный язык». Слишком усердное следование авторов Проекта за Б. А. Лариным заставляет определять обиходный язык через определенный набор памятников: «Словарь обиходного русского языка XVI–XVII вв., основанный только на памятниках делового письма, демократической литературы, фольклорных произведени-

ях, разговорниках, будет толковым историческим словарем этой группы памятников» (Проект..., с. 11), но эти памятники разнообразны по тематике лексико-фразеологических групп, по самому лексико-фразеологическому наполнению, по характеру речевых ситуаций, зафиксированных в текстах. В привлекаемых публикациях (это не только отдельные тексты, но и сборники различных текстов) есть деловые тексты общегосударственного политического звучания, конфессиональные нарративные источники и т. п. Но ведь создается словарь (собрание слов), а не список текстов. Может быть, целесообразнее определить 1) перечень тематических групп лексики, 2) перечень определенных ситуаций общения (домашний обиход, традиционные занятия посадского человека и сельского жителя и т. п.).

4. Похвально намерение авторов включать в Словарь только «наддиалектное» разговорное, но не объяснены принципы выбора «наддиалектного». Региональных словарей языка XVI–XVII вв. и лингвогеографических исследований этого времени мало, лингвистический ландшафт эпохи описан фрагментами и бессистемно, с использованием разных методик. Есть предположение, что применительно к этому времени «наддиалектного» окажется не так уж и много.

5. Есть проблема и определения «узко социального, специфически сословного». Например, в разговорниках фиксируются очень характерные ситуации бытового общения, но сугубо прикладная направленность этого жанра (для нужд иностранных купцов) определила однообразный круг этих ситуаций: еда и сон, купля и продажа. Как квалифицировать торговую терминологию в разговорниках: это общеразговорное или узкосословное?

6. Непонятно включение в круг источников официально-деловых памятников центральных канцелярий (судебные кодексы, Уложение 1649 г., царские грамоты и пр.). Если бы из этих текстов выбиралась лексика определенных тематических групп, то это было бы понятно, но поскольку тексты подвергались сплошному расписыванию, то все, что попадает в картотеку, автоматически включается в Словарь. Являются ли штампы письменной деловой речи (а они в XVI–XVII вв. многочисленны) фактами обиходного языка?

Так же сомнительно и использование материалов фольклорного характера (былины, исторические песни, пословицы): их временная отнесенность проблематична в силу устойчивости тра-

дий в языке фольклора, а художественно-поэтическая выразительность значительно превосходит экспрессивность средств обычного разговора.

7. Для Словаря обиходного языка, по-видимому, должен быть увеличен круг используемых источников: пока отобрано около 120 наименований. Условие полного расписывания текстов, вероятно, надо понимать как квалификацию любого лексического факта в этих текстах в качестве факта обиходного языка. Но такой подход делает понятие «обиходный язык» еще более расплывчатым.

8. Вызывает недоумение исключение из корпуса источников памятников псковского происхождения и слов, которые в карте-теке СОЛЯ и СЛРЯ XI–XVII вв. представлены одной и той же единственной цитатой. Это некорректно с точки зрения полноты характеристики словаря обиходного языка и неудобно для пользователей СОЛЯ.

9. Представляется неполным раздел Проекта с весьма обязывающим заголовком «5. Словник и проблема тождества слова» (Проект..., с. 11–13); ср. обстоятельную разработку тех же вопросов в [Инструкции для составления Словаря русского языка XI–XVII вв. М., 1988. С. 15–31].

10. Есть замечания по оформлению словарной статьи:

1) следует ли в историческом словаре давать заголовок словарной статьи в современной орфографии, предельно упрощать графику в цитатах и вводить дополнительную пунктуацию (И. И. Срезневский не одобрил бы таких вещей!)? Такая подача материала будет сильно дезориентировать читателя;

2) вряд ли стоит сокращать объем словарной статьи за счет ограничения объема грамматических характеристик: грамматические особенности слова можно раскрыть только в словаре;

3) желательно расширить рубрикацию стилистических помет, поскольку в названии Словаря акцентирован функционально-стилистический подход;

4) во всех случаях сомнительного толкования семантики хорошо бы использовать знак «?». Для следующих поколений историков это будет стимулом для новых изысканий;

5) было бы полезно реализовать хотя бы в ряде случаев идею Б. А. Ларина иллюстрировать слова с «предметной» семантикой рисунками или фотографиями исторических реалий. Ведь даже обычные бытовые предметы во времена Московской Руси были

иными, чем сейчас: ведра были только деревянными или лубяными (не было металлических или пластмассовых), ложки – преимущественно деревянными и т. п.

Обычно все споры по поводу концепции словаря затихают после его выхода: радуется сам факт появления нового лексикографического труда. Скоро в русской лексикографии появится исторический словарь принципиально нового типа, ориентированный на язык повседневного общения и раскрывающий функционально-стилистический спектр слова.

Поскольку языковая ситуация XIX в. стала достоянием истории, то и любой словарь языка этой эпохи становится словарем историческим. Книга «Словарь русского языка XIX в.: Проект» достаточно полно отражает концепцию задуманного словаря, принципы и правила его составления.

Оригинальная концепция исторического дифференциального словаря, ориентированного на отражение динамики лексико-семантических процессов в литературном языке XIX в., а точнее – только на лексику, претерпевшую изменения на протяжении данного столетия, привлекает и тщательной проработкой всех аспектов его подготовки, и грандиозностью самого замысла. Совершенно в духе времени, то есть направленности на антропоцентристскую парадигму современного языкознания, и с учетом значимости XIX в. как «золотого века» русской словесности предполагается, кроме лингвистических справок о слове, представить и сведения о его историко-культурном фоне.

Сразу укажем на две проблемы, возникающие уже на подготовительном этапе: 1) словарь задуман предыдущим поколением петербургских (ленинградских) лексикологов, но выполнять его будет новое, современное поколение: давление времени и обстоятельств может скорректировать и некоторые концептуальные идеи, и технические правила; во всяком случае, от таких изменений не стоит заранее отказываться; 2) дифференциальный словарь требует исследовательского подхода не только к каждой словарной статье, но и к каждой карточке-цитате, включаемой в картотеку Словаря, то есть расписывание текстов должны производить опытные, профессионально подготовленные, начитанные в текстах XIX в. (а также и XVIII в.) выборщики-составители картотеки. В этом смысле нынешний объем картотеки (100 000 карточек) в сравнении с двухмиллионной картотекой «Словаря русского языка XVIII века» смотрится несколько пессимистично, однако

у нынешних лексикографов есть новые технические возможности для ускорения работы по пополнению картотеки.

Проектируемый Словарь продолжает и значительно развивает лексикографические идеи, послужившие основой для «Словаря русского языка XVIII века». Конечно, и сами тексты XIX в. ввиду их жанрового и стилистического многообразия предоставляют лучшие возможности для лексикографов.

Намеченные хронологические границы Словаря не вызывают возражений, они убедительно обоснованы в трудах по исторической лексикологии XIX в. В. В. Виноградова, Ю. С. Сорокина, В. В. Веселитского, Е. П. Ходаковой, Е. С. Копорской и др. Обновление словарного состава активно происходило уже в первой половине политически активного XIX в., но во второй половине века актуализировались совершенно другие пласты словаря, другие жанры словесности, изменился состав участников публичного общения, обновился в сословном отношении круг авторитетных авторов. Авторы обсуждаемого проекта решили несколько отступить от строгих границ века в пользу предыдущей лексикографической практики: нижняя граница – 1803–1805 гг., верхняя – середина 90-х гг. XIX в., но все же справедливо решили создавать словарь языка одного века, а не полустолетия. «Словарь русского языка XIX века» призван заполнить лексикографическую нишу, возникшую между «Словарем русского языка XVIII века» и «Словарем современного русского литературного языка». Полагаем, что с помощью «Словаря русского языка XIX века» традиции словесной культуры, сложившиеся в XIX в. и регулярно воспроизводимые в современной речевой практике, будут лучше осознаваться нынешним поколением русских. В этом смысле культурно-образовательная роль Словаря неопенима.

Собственно лексические (лексемные) границы Словаря тоже указаны точно: это литературные кодифицированные элементы с включением лексики литературного просторечия и этнографической лексики, привлечших внимание образованного общества. Конечно, здесь будут трудности в проведении границы между литературным – нелитературным внутри просторечия, но применительно к XIX в. эта трудность значительно меньшая, чем по отношению к фактам XVIII в. Дело в том, что образованные люди в XIX в. уже лучше осознавали разницу между литературным и нелитературным, книжным и простонародным, таких подсказок и рассуждений в текстах XIX в. находим немало.

Избранный предмет описания в Словаре XIX в. – динамика лексико-семантической системы требует акцентированного внимания не только к новому или устаревшему слову, фразеологизму, но еще больше – к значению, к стилистической характеристике, к сфере употребления. Но авторы проекта идут еще дальше: они намереваются учесть не только нюансы семантики и употребления, но и хронологизировать изменения с точностью до десятилетия, а социальную стратификацию лексики выявить до уровня сословия, профессиональной корпорации или группы лиц, объединенных общим интересом. Замечательно, что в Словаре будет отражена также эволюция в грамматических формах, вариантах слов, ударении и т. д.

Скажем о некоторых деталях разработки в Словаре ряда групп лексики.

Сложная проблема иноязычных заимствований обсуждена в проекте всесторонне, однако усматривается некоторое противоречие в позиции, заявленной в п. 5.1.7 («В словник Словаря XIX в. не включаются иноязычные заимствования, не входящие в систему русского языка, не употребляемые в речевом обиходе и занимающие положение “экзотизмов”, служащих целям воссоздания национального колорита...» – с. 23) и в п. 5.1.4 («В Словаре найдут отражение иноязычные слова, употребляемые в текстах без перевода, но в русской транскрипции» – с. 22). Разница между словами в приведенных иллюстрациях к тому и другому пункту состоит только в том, что в соответствии с п. 5.1.7. такие слова комментируются автором, выделяются курсивом или кавычками. Но комментирование или техника выделения – настолько субъективные вещи в практике писателей XIX в., что вряд ли они могут быть основанием для решения лексикографической задачи. Ср. примеры: 5.1.4. *волюма*, *геданкены*, *гебетация*; 5.1.7. *бары*, *сага*, *ятка* и т. п.

Характеризуя книжно-славянскую лексику и происходящие в ней процессы, авторы проекта предусмотрели, кажется, все варианты ее употребления за пределами основной сферы, но ничего не упомянули о главной сфере употребления книжно-славянской лексики – церковно-проповедническом стиле XIX в., который активно функционировал и в письменной форме, и в устной проповеди-импровизации, поэтому «обмирщение» славянизмов в XIX в. часто начиналось уже в жанровых рамках церковно-проповеднического стиля, см., например, «Аскетические опыты» епископа Игнатия (Брянчанинова).

Учет терминологии в Словаре XIX в. позволит описать динамично развивающиеся системы административно-государственных и финансовых терминов, которые достаточно активно использовались в публицистике и художественных текстах эпохи, но, к сожалению, в проекте они не упомянуты. К списку популярных групп профессиональной и жаргонной лексики, кроме словаря картежников, мы бы добавили лексику бала, дуэли, псовой охоты. Чрезвычайно обогатилась в XIX в. система названий транспортных средств: конных – зимних и летних, механических.

Одна из особенностей национального периода в истории литературного языка состоит в появлении такого мощного фактора воздействия общества на язык как сознательное отношение общества, особенно его образованной части, к речевой практике и к языковым изменениям. Многочисленные оценки отдельных слов и особенностей словоупотребления представлены не только в мемуарах, как указано в проекте, но и в художественных текстах XIX в. Выявление и привлечение таких свидетельств с учетом их известной субъективности – очень перспективное дело. Включение в «семантическую» часть словарной статьи оценок норм словоупотребления, даваемых современниками, – чрезвычайно полезная новация, предусматриваемая проектом, и, как известно, обеспеченная добротным материалом.

В гл. 5 «Принципы и приемы семантического описания» автор Е. Н. Этерлей предлагает избрать в качестве объекта семантического описания «тип применения слова» (термин из проекта «Словаря русского языка XVIII века»), или «модель употребления», или «совокупность фактов функционирования слова», или «факты словоупотребления (прежде всего, социально закрепленные)», или «тип употребления слова, характер его функционирования в языке XIX в.» (с. 84–85), или «употребление (речевое применение слова)» (с. 86), или «специфические употребления слова, не влекущие таких изменений семантики, которые в лексикографическом аспекте предопределяют необходимость толкования, то есть случаи “неявных семантических изменений”, а также некоторые применения, не сопровождаемые какими бы то ни было семантическими сдвигами» (с. 87). Множественность предлагаемых терминов при отсутствии дефиниций усложняет понимание сути дела, тем более что автор и значение понимает как «общественно принятое для описываемого хронологического периода употребление» (с. 86). Однако признаем несомненную по-

лезность фиксирования в словаре перечисленных в п. 2.1., п. 2.4., п. 3 главы 5 особенностей употребления слова в языке XIX в., хотя вряд ли каждую из этих особенностей можно именовать типом употребления. Таким образом, идея типа (модели) употребления так и остается непроясненной в проекте Словаря. По содержанию недостаточно согласованы между собою раздел 1 главы 5 «Объект описания. Организация семантической структуры», который касается особенностей употребления, и глава 9 «Характеристика речевой употребительности слова и ее изменений».

Предлагаемая схема семантического описания, основанная на логико-хронологическом принципе и проиллюстрированная словами *декорация, личность, деятель* (с. 100–102), вполне приемлема. Считаем также справедливым в словаре, ориентированном на историко-культурную перспективу, дополнять толкование слова описанием обозначаемых предметов и понятий. Кроме того, если иметь в виду, что реалии бытового назначения, сохраняя название, существенно меняются даже на протяжении одного века, было бы неплохо сопровождать словарные статьи изображениями реалий или дать в словаре специальные вклейки с изображением реалий. В свое время Б. А. Ларин даже в проекте древнерусского словаря предлагал использовать элементы идеографического словаря, т. е. дать рисунки или фотографии предметов материальной культуры прошлого.

Скажем еще об одной идее, касающейся иллюстрирования значения слова путем демонстрации в Словаре типичных или специфических для языка XIX в. словосочетаний. Поскольку речь идет о свободных неустойчивых словосочетаниях, то достижение хотя бы приблизительной полноты показа этих словосочетаний весьма сомнительно, так как для выбора типичных или специфических словосочетаний нужно проводить специальное исследование на основе обширной и разнообразной коллекции словоупотреблений. Конечно, в любом проекте есть известная доля идеализации, романтизма, фантазии, но основываться проект должен на трезвом расчете.

Эти «типичные или специфические словосочетания» должны быть представлены в каком-то порядке, объясняющем их сравнительную значимость в речевой практике XIX в., однако авторы говорят о некоем «естественном, прямом порядке» (с. 122), не поясняя его сути.

Чрезвычайно ответственную роль должен играть в Словаре XIX в. историко-культурный комментарий (об этом – глава 7

проекта). Авторами продуманы все этапы подготовки комментария, но пока не решен вопрос выбора тематических групп для этого комментария. Не согласимся с оптимистическим утверждением С. С. Волкова, что для такого выбора уже имеется достаточная база в виде словарей-комментариев к художественным текстам и историко-лексикографических материалов, созданных для учителей и школьников. Во-первых, комментарии к художественным текстам различны по уровню исполнения, во-вторых, далеко не все образцовые тексты XIX в. прокомментированы, в-третьих, к текстам нехудожественным комментариев вообще нет, но нельзя же ограничивать сферу функционирования культурно-коннотированной лексики только изящной словесностью. Следует посмотреть и журналистику середины и второй половины XIX в., и государственное делопроизводство, и популярные руководства по домашнему хозяйству, ремеслам.

Представляется несколько архаичным предлагаемое в проекте понимание литературного просторечия как одного из стилей литературного языка (с. 166), тем более что автор вообще-то имеет в виду и не стиль, а разряд литературно-просторечной лексики.

Нуждается в расширении список основных функционально-стилистических помет (с. 179): не учтены, например, портняжное дело, словарь картежников, бальная лексика, язык транспортников.

Проект Словаря XIX в. предусматривает сложную архитектуру словарной статьи, каждый элемент которой предполагает не просто фиксирование очевидного, но и значительную исследовательскую работу. Но словарь XIX в. готовится в XXI в., в новое время, когда словари по всей видимости будут делать при жизни одного поколения, даже если это словарь русского языка XIX в., так результативно заявившего себя в многовековой русской истории.

2. ПРОБЛЕМА ИЛЛЮСТРАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ

Рассмотрим более подробно одну из проблем исторического словаря – это проблему иллюстрирования.

Задачи иллюстрации как элемента словарной статьи в историческом словаре имеют особую значимость, что предполагает

особую глубину проработки данного параметра (лексикографируемого параметра – по терминологии Ю. Н. Караулова, ср. полное определение термина: «Под параметром понимается некоторый квант информации о языковой структуре, который в экстремальном случае может представлять для пользователя самостоятельный интерес, но, как правило, выступает в сочетании с другими квантами (параметрами) и находит специальное выражение в словарях; иными словами – это особое словарное представление словарных черт языка»¹) Все групповые отношения, в которые вступает слово (частеречные, лексико-семантические, собственно грамматические, словообразовательные – для производных слов, деривационные, синтаксические связи, семантические связи, стилистические, функциональные – сфера употребления, хронологические и локальные, квалификационные и оценочные, орфоэпические, акцентологические, орфографические², должны быть в той или иной мере подтверждены иллюстрацией (оправдательной цитатой).

Если для читателя словаря современного языка есть три ориентира: 1) иллюстративный материал, 2) комментарий автора словарной статьи как эксперта и как компетентного носителя языка, 3) собственный речевой опыт и свое языковое сознание как носителя языка, то для читателя исторического словаря единственным и окончательным авторитетом является цитата, причем цитата семантически содержательная, демонстрирующая семантический, грамматический и фонетический потенциал слова.

Для исторического словаря особо важно описание семантики слова, не только полное и точное, но и правильное в этнокультурном плане. Толкование значения слова, сформированное лексикографом на основе многих контекстов, должно быть подкреплено наиболее выразительными цитатами.

Посмотрим, в какой мере отвечает требованиям пользователя некоторые из современных лексикографических проектов.

Проблема полноты иллюстративных данных идеальным образом решена в «Этимологическом словаре славянских языков: Праславянский лексический фонд»: «в нем исчерпывающе использованы все доступные исторические, диалектные словарные материалы, опубликованные и архивные, а также данные некоторых отечественных, зарубежных картотек, по возможности учтена вся доступная этимологическая литература, дан подробный словообразовательный анализ каждого этимологизируемого слова»³. Впрочем, в свое время Л. В. Щерба сформулировал следующее прак-

тическое требование к составителям словарей: «не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше разнообразных примеров»; в исторических словарях «исчерпывающее обилие цитат является единственным выходом из положения, нет надобности приводить однообразные цитаты; но исчерпать их разнообразие совершенно необходимо»⁴.

По обилию иллюстративного материала близок к требованиям Л. В. Щербы «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков»⁵, о котором мы уже говорили выше. Первое, что объявляют составители, – информация о числе зафиксированных в картотеке употреблений слова⁶, это дает представление об относительной употребительности слова в языке эпохи, его общеизвестности или закреплённости за определенным кругом текстов. Если цитата не приводится, авторы указывают источники неопубликованных цитат. Следующее устремление авторов – пояснить и дополнить иллюстративными примерами все семантические рубрики словарной статьи. «На каждое значение, оттенок, устойчивое сочетание приводится не менее 2–3 цитат в зависимости от наличия данных в картотеке»⁷. В паспорте цитаты имеются указания на сокращенное обозначение источника, страницы и года его написания. Вспомним, что полномасштабные требования к цитированию реализуются в «Словаре русского языка XVIII века»⁸ и декларируются в проекте «Словаря русского языка XIX века»⁹.

Обе особенности, отмеченные в «Словаре обиходного русского языка...» в лучшую сторону характеризуют новый издательский проект по сравнению со «Словарем русского языка XI–XVII вв.», где учитывается начальная фиксация слова в письменных источниках и поздний, наиболее содержательный контекст его употребления. Напомню объяснение такого подхода самими инициаторами словарного проекта: «Строго ограниченный объем словаря не дает возможности широко иллюстрировать значения толкуемых слов и фразеологических сочетаний. В Словаре дается минимальное количество иллюстраций. Каждое значение слова, как правило, иллюстрируется двумя цитатами, наиболее четко раскрывающими данное значение. Приводимые цитаты должны дать представление о хронологических рамках употребления слова: первая цитата должна быть по возможности ранней, вторая – поздней»¹⁰. В последующих томах составители увеличили количество цитат, но незначительно.

Далее будем оперировать данными анализа трех исторических словарей: «Словаря русского языка XI–XVII вв. Вып. 26» (М.,

2002), «Словаря промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв. Вып. 2»¹¹, «Словаря обиходного русского языка... Вып. 1» (СПб., 2004).

Семантическая недостаточность, «пустота» контекста как следствие отсутствия иных цитат в картотеке – самое уязвимое место исторических словарей.

Рассмотрим подобные примеры из СлРЯ XI–XVII вв.

Снуръ, м. 2. Фитиль для поджигания пороха при стрельбе. Зелья пищального купили на 11 алтнъ з денгою. снур да порошницу. да жагры. да свинцу на 5 алтнъ з денгою. Кн. прих.-расх. Кир. м. № 3, 10.1581 г.¹²

Из примера совершенно не явствует, что *снур* – это 1) фитиль 2) для поджигания пороха 3) при стрельбе, хотя, будучи упомянутым в одном ряду с «зельем пищальным», «порошницей», он может иметь какое-то отношение к огнестрельному оружию. Кстати, слово *жагра* в вып. 5 СлРЯ XI–XVII вв. (с. 69) иллюстрируется тремя столь же невыразительными цитатами, из чего сделан вывод: *жагра* «запальник (трут, фитиль на палке для запала пороха и запальное отверстие в казенной части мушкета, пищали)». Очевидно, что авторы словарных статей толкование семантики взяли из другого источника, может быть, более позднего времени, что нередко случается при подготовке исторических словарей. Было бы полезно для читателей словаря, если бы этот источник был указан. Кстати, в том же вып. 26 СлРЯ XI–XVII вв. примерно так и поступают авторы, толкуя слова *снять* (с. 7) и *снятие* (с. 9) как кальки к греческим параллелям и ориентируясь именно на семантику соответствующих греческих лексем.

Достаточно много материала для критики содержит «Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.» (СПСР). Ограничимся разбором примеров из выпуска 2.

Калачъ (колачь). м. Пекар. Белый круглый хлебец вообще, а также пшеничный хлебец, выпеченный в форме замка с дужкой: дали ... поваром и водолеем колачей на алтынъ. Кн. расх. Тот. пр. 1598 – ВХК, 229. Прокофью дано от караулу того пива на поварне и за колач, заквашивал квас и за свечи всего 8 денег. (АХУ-П. 1035. 1683 г.) [КДРС, с. 19].

Из данных цитат (другие не приводятся) не очевидно даже, что калач – это хлеб-хлебец, что он белый и что он имеет круглую или полукруглую форму.

Камкасея, ж. Порт. *Узорчатая шелковая ткань*. ... товару явил вологоцкой покупки... конец камкасеи. (Кн. там. УВ 1676–1677) [ТКМГ-III, с. 48] (с. 25).

Единственная цитата позволяет только утверждать, что предмет, который выступает в качестве товара, имеет какую-то протяженность, измеряется концами. Все остальное: что это шелковая ткань, имеющая узоры – или предположение автора словарной статьи (но знак вопроса отсутствует!), или взято автором из источника, не имеющего отношения к данному примеру. В этом случае хорошо бы знать, какой же источник использовал автор. Кроме того, в СПСР рассмотрено и слово *камка* (9 цитат), но автор никак не связывает эти слова и не пытается соотнести их значения.

Точно также «пустыми», семантически малосодержательными цитатами проиллюстрированы слова *канги*, *канитель*, *копыль*. Авторы нигде не указывают, на основании каких источников приписывают словам те или иные значения.

Слово *киотъ* толкуется как «остекленная рама или шкафчик для иконы» (с. 41), но не приводится ни одного примера, где бы у киота упоминались стекла. В более позднее время киоты в виде шкафчиков, действительно, стеклили [МАС-II, с. 49], но нет данных, что так было в XVII в., когда стекольное производство только еще заводилось.

Клепик – разновидность ножа характеризуется как нож 1) с широким 2) коротким лезвием, 3) загнутым на конце (с. 49–50), однако ни в одном из примеров (всего 8) не зафиксированы отмеченные признаки реалии.

Коломенка – тип лодки, в словаре значение слова толкуется как «речное сплавное грузовое судно, часто с двускатной крышей» (с. 82). Между тем в примерах нет и намек на такие качества реалии, ср.: съ коломенки – по полуполтине, съ кладные лотки – по гривне; делают струги, коломенки, пауски. Судя по данной словарной статье, значение приписывается слову по данным не названных источников, а иллюстрации только фиксируют графический облик слова, его грамматические свойства и потенцию к сочетаемости. Кроме того, укажем на пропущенное авторами составное наименование *кладная лодка* (оно может быть семантически соотнесено с зафиксированным в словаре сочетанием *дощаникъ кладовой торговый* (с. 46).

Неточно определено значение проиллюстрированного одним примером слова *кубокъ* (с. 137). В XV–XVII вв. кубок уже не

столько 'сосуд для питья вина', сколько 'драгоценный предмет, форма жалованья, украшение интерьера' – это если давать «функциональное» определение семантики. По семным свойствам, отличающим это слово от других названий столовой посуды для питья, – это 'металлический или стеклянный узкий сосуд для питья, часто на высокой ножке, с крышкой'. Кстати, у этого слова были деминутивы *кубик, кубчик, кубочек, кубец*, но ни один из них не учтен в СПСР. См. сюжет о слове *кубокъ* в нашей работе [Русская бытовая лексика XVI–XVII вв. в динамическом и функциональном аспектах. Вологда, 1985. С. 70–72].

Широкоупотребительное слово *кувшинъ* (*кушинъ*) проиллюстрировано лишь примером с сочетанием *кувшинъ укропной* и четырьмя примерами, где данное слово имеет только метрологическое значение (с. 137). Между тем слово имело фонетические варианты, каждый из которых стоило бы подтвердить цитатой: *кувшин, кушин, кушин*. Были и производные: *кувшинец, кувшинчик*. Значение слова в СПСР толкуется с учетом его внешних особенностей ('высокий, суживающийся кверху сосуд с ручкой и носиком'), хотя здесь целесообразно учесть и функциональное назначение ('сосуд для хранения жидких и сыпучих веществ, для подачи напитков на стол').

Не всегда указаны объемы мер у «метрологических» слов. Вряд ли можно признать достаточным такое толкование значения слова: *Куница*, ж. 2. Метрол. *Вятская мера сыпучих тел*. (с. 143). Далее следуют примеры типа «хлеба 3 *куницы* ячмени, *куницу* овса», «полторы *куницы* орехов», из которых тоже нельзя установить, с каким объемом соотносится *вятская куница*.

Неудовлетворительно обстоит дело в этом словаре и с подачей составных наименований. Например, *карбасъ о ... набояхъ* «судно с определенным количеством набоев» проиллюстрировано двумя примерами (сшил *карбас* большой *о* пяти *набоях*; *карбасъ о* семи *набоях*, а в нем девят унругъ), из которых технологические особенности карбасов с набоями так и не стали очевидны. В то же время в словаре не разъяснено и слово *набой* (нет соответствующей словарной статьи).

Нет толкования у наименования *коверъ браный* (с. 59), цитата (*два ковра суконные браные*) и не позволяет это сделать. В то же время нет словарных статей *брати, браный*, а перенесенная из СлРЯ XI–XVII вв. статья *брань* (вып. 1, с. 54) не связана авторами с фразеологией слова *коверъ*.

Выражение *ковшъ прямизна* (с. 60) охарактеризован авторами как название, данное по форме (25 *ковшевъ прямизны*; 50 *ковшевъ прямизны*. 200 *ложекъ прямизны*). Иллюстрации, действительно, не содержат разъяснения такого качества ковшей. Следовало сопоставить такие наименования ковшей: ковш *прямизна* – из заготовки с прямым расположением волокон древесины (из такой древесины получались самые нестойкие ковши и ложки); ковш *репчатый* – из заготовки с витым расположением древесины (более прочная посуда); ковш *каповый* – из капа (нароста на стволе дерева), наиболее прочного древесного материала. Таким образом, *ковшъ прямизна* – это характеристика ковша по качеству древесины, а не по форме изделия. Соответствующие контексты приведены нами в работе [Русская бытовая лексика XVI–XVII вв. в динамическом и функциональном аспектах. Вологда, 1985].

Не соотнесены друг с другом составные наименования *ковшъ долгостеблей* и *ковшъ долгоцвейный (долгоцвний)* (см. стр. 61). В приведенных цитатах значения слов *долгостеблей* и *долгоцвейный* не разъяснены. Авторы не предполагают пока и отдельных статей «*стебель*» и «*цевье*», а между тем одно из значений этих слов – ‘ручка ковша или ложки’. Кроме того, *цевье* – один из элементов целого ряда инструментов и орудий средневекового ремесленника.

В статье «*Кожа*» (с. 62–67) не рассмотрены как составные наименования следующие сочетания: *кожа малая*, *кожа большая*, *кожа зборная мирская*, хотя примеры с этими сочетаниями есть.

На основании единственной цитаты (восемь *котловъ седуновъ*) составители не смогли охарактеризовать значение словосочетания *котель седунъ*. Между тем название *седунъ* ‘котел для производства крепких напитков’ связано с технологией винокурения (от глагола *сидеть* ‘курить, добывать перегонкою’), ср. пример: «на твоей великого государя винокурной поварне ... построил вновь винокурных судов котел, семь *седунов*, два куба» (1669 г.) [ДАИ-5, с. 423]¹³.

Наименование *ловитва рыбная* толкуется как ‘рыбная ловля’ (с. 168). хотя цитата определенно подсказывает, что это «рыболовецкие угожья»: «На их земле пришли места соловарные и *рыбные ловитвы*, и ему б на тех местах колодезя копати, и трубы пущати, и варницы ставити. и соль варити пытати, и рыба ловити». (Цар. жал. гр., 1543) [АСМ, с. 61].

Словарь промысловой лексики должен, на наш взгляд, давать более или менее ясное представление о технологиях, производственных процессах. Между тем, фиксируя составные наименования, авторы в большинстве случаев воздерживаются от описания семантики составных названий. См., например, в статье «Крашенина» (с. 116–117) приведены без определения значения наименования *крашенина лощеная*, *крашенина катаная*, *крашенина некатаная*. Семантически богатые наименования технологий изготовления покрытий на жилые и хозяйственные строения также оставлены без всяких разъяснений, если не считать замечания «крыть, укладывая строительный материал особым образом» (речь идет о наименованиях *крыти въ два теса*, *крыти въ косякъ*, *крыти въполдержъ* (лучше бы: *въ полдержъ*. – Г. С.), *крыти отъ плеча носкомъ*, *крыти тесомъ въ три состава* (с. 131–132).

При прочтении словника 2 выпуска СПСР обнаруживаем большое число пропусков, что ставит под сомнение надежду, что термины хотя бы одного промысла описаны в словаре исчерпывающим образом. Неполнота картотеки – главная проблема указанного словаря. Назовем некоторые из слов и выражений, отсутствующих в словаре: *кабак* ‘комплекс строений и приспособлений для винной торговли’, *капустник* ‘огород для выращивания капусты’, *квасница* – *квасня* ‘помещение для изготовления и распития кваса’, *кладбище* ‘место в сушиле для складывания чего-либо’, *коникъ* ‘тип мебели, элемент интерьера избы’, *конура* ‘домик для собаки’, *латка* ‘элемент мельничного механизма’, *летовище* ‘изба на выгоне для хранения молочной посуды и для ночлега пастухов и доярок’, *лощить* ‘гладить одежду особым образом’, *лубеникъ* ‘тип постройки’, *изба мастерская* ‘производственная постройка’, *мельникъ* ‘тип хозяйственной постройки’, *мельница ручная* ‘разновидность мельницы’, *мовница* – *мовния* – *мовня* ‘баня’, *моршни ворваньи* ‘тип обуви’, *мукосейня* ‘тип хозяйственной постройки’, *мыленка* ‘баня’, *набойница* ‘тип лодки’, *овин солодожницкий* ‘помещения для приготовления солода’ и т. д. Заметим, что количество таких пропусков в первом выпуске еще больше.

Обратимся к выпуску 1 «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков». О достоинствах этого словаря (богатой коллекции примеров, тщательной проработке семантической части словарной статьи) сказано выше.

Однако и здесь есть случаи приписывания слову семантики не на основе словарных иллюстраций, а с помощью источников, которые не названы для читателя. Это касается, например, слов *аба* 'грубое сукно' (деветнатцот штук *обы*; адиннатцать штукъ *абы*), *абаса* «персидская серебряная монета (по имени шаха Аббаса), равная 6 алтынам и 4 деньгам» (около 20 копеек) (насыпано деньги *обасы* тысячъ по пяти и по шти и болши), *абаш* – *абаша* 'священнослужитель у мусульман' (тайши и *абашу*; калмыцкие тайши), *аблаут* 'должностное лицо у некоторых местных народов Сибири' (*аблавут* ваш), *агарикъ* 'древесный гриб, употребляемый как лечебное средство' (*агарикъ* купять фунтъ). Сюда же относятся слова *адъютант*, *азнау*, *азям*, *аладжа*, *алам*, *амна*, *анамешные*, *арба*, *арменская икра* и т. п. Такие случаи есть почти на каждой странице словаря.

При единичных фиксациях слова встречаем произвольные толкования значения. Например, *абым*, союз. *То же, что абы*. (с. 35). Цитата следующая: Ксендзь Воевоцкий принес до мене *абым* въ него купилъ мунстранцюю. *Сл. Смол., 22. 1668 г.* Судя по контексту, *абым* – какая-то вещь, предмет, с помощью которого можно купить «мунстранцюю».

Андомцы объясняется как «жители города *Андом*» (с. 51). Цитата не дает оснований для идентификации населенного пункта как города, да и город такой, кажется, не замечен в XVI в.

Как можно судить по цитатному материалу, авторы анализируемого словаря очень дорожат примерами, в которых приводится толкование слова, дается синоним, описывается внешний вид предмета или объясняется его функция, назначение. Такую практику следует только приветствовать. Например: «Агварденту, по-русски двойного вина, не возили»; «Академии, то есть книжные училища»; «Алекъ, тожъ сургучъ слыветъ».

Отмечаются случаи, когда не весь цитатный материал используется для толкования семантики слова. Например, *алтабас* поясняется как 'персидская парчовая ткань, шитая волоченым золотом'. Действительно, приведенные примеры подтверждают это значение. Но есть и такой пример в словарной статье: «дача его въ 103 году ризы *алтабасъ* серебрянь» (с. 46). Значит, *алтабасы* шили и серебром.

Непоследовательно выделяется в словарной статье фразеология даже при наличии соответствующего цитатного материала. Так,

в иллюстрациях к слову *амбар* встречаем составные названия *засе-валной анбар*, *крутильной анбар*, на которые не обратили внимание составители. В статье *Аршинный* не выделен фразеологизм *аршин-ный счет*, хотя выражение есть в иллюстрациях данной статьи.

Не учитывается в полной мере жанровая принадлежность текстов и речевой этикет эпохи. Имеются в виду особые средства уничижительности, когда речь идет о субъекте речи (действия) и обо всем, что имеет к нему отношение. Составители СОРЯ часто используют помету *пренебр.* даже там, где предпочтительнее помета *уничиж.*, см. статью *Амбаришко* (с. 48–49).

Вероятно, из-за нехватки цитатного материала обеднено корневое гнездо слов, обозначающих сосуды для ароматических жидкостей, в СОРЯ учтено только *ароматник* (с. 58). Между тем были и *ароматница* (с 1611 г.), *ароматик* (с 1689 г.), *ароматичек* (с 1655 г., не учтено в СлРЯ XI–XVII вв.). Кроме того, у слова *ароматник* не учтено значение «скрытое углубление в предмете для хранения ароматических веществ», см. например: «в тех ларцах в кровлях сделать тайно ароматники» (Москва, 1677 г.) [Заб. Дом. быт-1, с. 472]. Приведенный в СОРЯ единственный пример к слову взят из сатирической росписи приданого XVII в. и не способствует пониманию значения: *ароматник с клопами да табакерка з блохами*. Заметим, что, если стремиться учитывать сферу использования, то хорошо бы указывать тип (жанр), разновидность памятника.

Как показывают наши наблюдения, главный вопрос, вызывающий затруднения у составителей и сомнения у читателей исторических словарей, – вопрос о соотношении толкования значения слова и иллюстрации в словарной статье. Иногда значение приписывается слову по данным неназванных источников, а иллюстрации только фиксируют графический облик слова, его грамматические свойства и потенцию к сочетаемости. Очевидно, что авторы словарных статей толкование семантики берут из другого источника, может быть, более позднего времени, что нередко случается при подготовке исторических словарей. Было бы разумно (полезно для читателей словаря) указывать этот источник, для чего в словарной статье после описания семантики (если она дана предположительно, не на основании цитаты) использовать специальный знак – отсылку или просто ставить вопросительный знак, а словарь сопроводить списком справочной и прочей литературы, использованной для определения значений слов.

Кстати, составители СЛРЯ XI–XVII вв. и СОРЯ иногда так и поступают, добросовестно приводя этимологии заимствованных слов и (в случае недостаточной содержательности иллюстраций) ориентируясь именно на семантику соответствующих иноязычных лексем.

Лексикограф не только имеет право, но и обязан привлекать другие источники для идентификации слова и обозначаемой реалии, но и читатель имеет право знать (особенно если толкование значения выходит за содержательные границы иллюстрации), на чем основываются семантические рассуждения составителя словаря. Скажем, слово *алебарда* объясняется как ‘оружие в виде насаженного на древко фигурного топорика’ (СОРЯ, с. 43), хотя ни в одной из двух цитат, помещенных в словарной статье, нет и намек на описание алебарды. Понятно, что с помощью исторических исследований, описаний музейных коллекций составить представление об алебарде несложно. Важно лишь одно, чтобы это описание алебарды относилось именно к той эпохе, языку которой посвящен словарь. Иногда даже в «серьезных» авторитетных исторических словарях видишь заимствования из словарей Бурнашова, Даля, Левшина и других лексикографов более позднего времени. Здесь тем более ценна откровенность составителя исторического словаря.

За столетия меняются материалы, технологии, обычаи и обыряды, взгляды людей. Между тем и самый добросовестный лексикограф остается человеком своего времени, привносит в словарную статью свой языковой опыт, невольно осовременивает слово или выражение. Если семантика (или часть лексического значения) не «вытекает» из цитаты, то следовало бы все дополнения к толкованию слова помещать в скобки, одновременно продумав, как обеспечить ссылку на дополнительную справочную литературу или иные источники.

Исторические словари – особый тип словаря, вероятно, они должны в большей мере учитывать интересы читателя, а не просто приноравливаться к возможностям составителя. Во всяком случае исторический словарь не может абсолютно копировать модель словаря современного языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. – М., 1981. – С. 52.

² Шведова Н. Ю. Парадоксы словарной статьи // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. – М., 1988. – С. 7–8.

³ Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. – М., 2005. – Вып. 31.

⁴ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1972.

⁵ Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков. – СПб., 2004. – Вып. 1.

⁶ Там же. С. 10.

⁷ Там же. С. 15.

⁸ Словарь русского языка XVIII века: Правила пользования словарем. Указатель источников. – Л., 1984. – С. 40.

⁹ Словарь русского языка XIX века: Проект. – СПб., 2002. – С. 180–188.

¹⁰ Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1975. – Вып. 1.

¹¹ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

¹² Шведова Н. Ю. Парадоксы словарной статьи... С. 7.

¹³ Очерк об этом слове см. в работе: Судаков Г. В. Названия предметов домашней утвари в русском языке XVI–XVII вв. // Эволюция лексической системы севернорусских говоров. – Вологда. 1984. – С. 55.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преднациональный период – чрезвычайно важное время в истории развития словарного состава русского языка. Вслед за Б. А. Лариным считаем, что хронологические рамки этого периода: XVI–XVII вв. В это время закладываются основы национального словаря, происходит отбор в общерусскую лексическую сокровищницу семантически выразительных средств из огромного числа книжных слов, локальных лексем и элементов повседневной речи. Функциональный аспект в историко-лексикологических исследованиях позволяет не только установить количественные изменения отдельных лексических групп, источники и средства их пополнения, но и определить характер и направление лексико-семантических и стилистических изменений.

Укажем наиболее существенные изменения в составе словаря языка Московской Руси. Так, количественное увеличение предметно-бытового словаря в языке Московской Руси – реальное явление истории языка, даже если делать скидку на разный объем и неодинаковые информативные качества текстов, написанных до XV в., с одной стороны, и источников XVI–XVII вв., с другой. Сравнительный анализ эволюции лексики отдельно в течение каждого из этих двух столетий подтверждает тенденцию количественного увеличения словаря еще более убедительно. Так, из 90 с лишним названий обуви лишь 14 отмечены в письменных источниках до XVI в., 22 – впервые фиксируются в XVI в., а остальные – в XVII в. Среди 45 названий верхней одежды, общей для лиц обоего пола, насчитывалось 10 лексем, известных до XVI в., 14 фиксируются впервые в текстах XVI в., а 21 – в источниках XVII в. В текстах XVI в. отмечено 10 новых наименований головных уборов, а в XVII в. – более 30. В изучаемый

период появляются целые группы новых названий, например, передников, карманов, посуды для специй, небольших бондарных сосудов и др. Значительно увеличиваются некоторые из ранее существовавших в языке лексических, объединений. К тому же преобладающее число уменьшительных образований от анализируемых слов отмечено в актах XVI–XVII вв.

Однако тенденцию к увеличению своего числа испытали лишь видовые названия. Что же касается родовых слов, то наблюдается даже некоторое их сокращение за счет утраты архаичных лексем, перехода в пассивный словарь книжных обозначений, уменьшения количества стилистически маркированных слов за счет универсализации стилистически нейтральных наименований. Новые родовые обозначения появляются лишь в тех группах, где они ранее отсутствовали, так в конце XVIII в. появляется название *головной убор*, в XVII в. появляется слово *посуда* и т. п. Названия древнего происхождения, возникшие в праславянскую эпоху, чаще выполняют роль родовых наименований, они более устойчивы, имеют большое число производных, хорошо дифференцированы в жанрово-стилевом отношении. Инновации старорусского периода – это в основном видовые слова, они имеют прозрачную внутреннюю форму и образованы с помощью продуктивных словообразовательных моделей.

Значительное число выявленных по письменным памятникам названий одежды и обуви, утвари и посуды образованы в праславянский период и позднее, имеют исконное происхождение. Так, среди названий сарафанов, известных по памятникам XVI–XVII вв., к заимствованным относились слова *сарафан* и *саян*, не выяснено до конца происхождение лексем *костычь*, *костолан*, *шушпан*, исконное происхождение имеют названия разновидностей сарафанов: *кумачник*, *крашенинник*, *синяк*, *верхник*, *верхница*, *расстегай*. Среди названий «питейной» посуды 23 образованы от корней славянского или русского происхождения, 23 – иноязычные заимствования (включая производные, образованные от иноязычных корней с помощью русских словообразовательных средств), 6 лексем имеют неясное происхождение. Исконные лексемы возникли на основе характерных мотивирующих признаков: названия одежды – по обозначению части тела (*головодец* ‘женский головной убор’), материалу (*сукник* ‘выходное платье из сукна’), форме и покрою одежды (*столбун* ‘шапка с высоким верхом’), по детали и украшению (*треух* ‘тип головного убора с тремя лопастями’), по названию ку-

ска материи и т. д.; названия посуды – по форме или детали, по материалу и цвету (*склянка* ‘сосуд из стекла’, *зеленка* ‘посуда зеленого цвета’), по действию, производимому с помощью предмета, по характеру использования предмета (*наливка* ‘ковш для разлива напитков’), по содержимому (*селедовка* ‘бочка для хранения и перевозки сельдей’), по положению и способу хранения или перевозки (*лежка* ‘тип бочки’), по способу изготовления (*лубка* ‘вместилище для утвари, сплетенное из луба’), по названию места изготовления (*осташевка* ‘тип бочки’).

В ряде случаев наблюдается закреплённость номинативных признаков и словообразовательных средств за определенной группой названий, например, общие названия одежды сформировались главным образом за счет суффиксального способа от глагольных основ (*покров, одежда*); названия, образованные по материалу или цвету ткани, обозначают чаще всего несколько типов одежды, имеющих один общий признак, ср.: *сукня* 1) ‘суконная свитка’, 2) ‘суконный кафтан’, 3) ‘шуба, крытая сукном’; названия футляров образованы от глаголов, указывающих на укрытие чего-либо (*влагалище*), от существительных, обозначающих укрываемые предметы (*игольник*); названия вместилищ из кожи и ткани с собирательным значением образованы с помощью суффиксов – *-j-* (*веретье, рогозье*) или *-иц-* (*веретище*); модель на *-ник/-ниц-* свойственна названиям сосудов для умывания и вместилищ для косметических средств (*рукомойник, белильница*); среди названий сосудов для специй преобладает номинация по содержимому и господствуют отыменные суффиксальные типы словообразования на *-ик-*, *-ник/-ниц-*, *-енк/-онк-*; модель о суффиксом *-иц-* закреплена за названиями вязаных и плетеных изделий, то есть рукавиц и рогож (*дубленица* ‘рукавица, вязаная из шерсти и обшитая кожей’; *лапотница* ‘тип рогожи, плетеной наподобие лаптя’). В именовании разных типов предметов, имеющих какой-либо общий признак, иногда использовались одни и те же мотивировочные признаки, например, по материалу, но отношению к другому предмету, что порождало омонимию наименований, ср. *верхница* и *исподка* как названия рубашек и как названия рукавиц.

Источником иноязычных заимствований в древнерусский период служил главным образом греческий язык византийского типа, но часть греческих заимствований в XVI–XVII вв. уже имела архаично-книжный характер. В язык Московской Руси, продолжая обозначившуюся тенденцию, вливаются в основном тюркские

названия. В XVI в. начинают появляться западноевропейские слова, в основном через польское посредство. Со второй половины XVII в. наблюдается приток прямых заимствований из немецкого, итальянского и других западноевропейских языков (*юбка* и др.). Заимствования из тюркских, тунгусо-маньчжурских языков в соседние русские говоры были, по-видимому, значительными, так как связи соседних народов носили не случайный, а сознательный и возрастающий характер. Известно, что для общения с аборигенами русские служилые люди и купцы учили местные языки. Слова, усваиваемые в результате непосредственных контактов русских с населением соседних территорий, часто обозначали предметы, характерные для быта всех сословий или только простого народа. Наоборот, названия предметов, привозимых из-за рубежа послами или купцами, не получали сразу широкого распространения, поскольку реалии усваивались в первую очередь в дворянском быту.

Обычный путь включения в язык слова и его производных восстанавливается в следующем виде: после непродолжительного одиночного функционирования у слова возникает деминутив, имеющий ту же стилистическую окраску, но отличающийся оттенком значений. Кстати, в случае иноязычного заимствования при значительной близости языков, совпадения в них способов деривации и словообразовательных моделей возможно было одновременное заимствование в русский язык основного слова и деминутива, так перешли в русский язык из польского *фляга* (с 1547 г.) и *фляжка* (с 1507 г.). На следующем этапе происходит десемантизация деминутива с утратой оттенка уменьшительности и приобретением способности обозначать модифицированный вариант или новый тип реалии, при этом начальная форма может перейти в разряд архаично-книжных слов, утратить в значительной степени конкретное значение и приблизиться по характеру семантики к общему именованию. Одновременно происходит развитие вторичного деминутива по соответствующей модели, ср. историю слов *чаша* – *чашка* – *чашечка*, *чара* – *чарочка* и под. Нередким было и такое развитие процесса, как утрата первичного деминутива и увеличение престижности вторичного деминутива. Иногда основное слово имело локальное распространение, зато его производные с уменьшительным значением склонны к общерусскому употреблению. Так, слово *ларь* имелось лишь на севернорусской территории, а *ларчик* ‘небольшое по размеруместилище для ценностей’ имел

общерусскую известность, последнее обстоятельство могло сыграть известную роль в приобретении общерусского характера словом *ларь*. Таким образом, деминутивы вели более или менее самостоятельную жизнь в языке, не всегда зависимую от характера функционирования основного слова.

Особая развитость уменьшительных образований в старорусской письменности (*волосничшко* 'женский головной убор', *каптурик* 'головной убор, тип шапки', *лохонишко* 'одежда, чаще рабочая', *маличишка* 'тип меховой одежды у северных народов', *ногавичишка* 'тип чулок' и др.) – это не просто реализация потенциальных возможностей русского словообразования, но прежде всего характерная особенность устного и письменного общения людей в Московской Руси, специфика старорусского речевого этикета, для которого было свойственно варьирование языковых средств в зависимости от отношения содержания речи к ее адресату или адресанту. Данное обстоятельство требует различать два варианта описания предметов и событий с использованием деминутивов: 1) ситуативно-объективное описание, когда содержание речи отнесено к адресату: описание совпадает с объективной характеристикой предметов и явлений; 2) ситуативно-субъективное описание, когда содержание речи отнесено к адресанту: оно предполагает характеристику всех предметов и явлений, имеющих отношение к субъекту речи, как и его самого, в уменьшительно-уничижительном и уменьшительно-пренебрежительном плане, то есть одна и та же реалья, не меняясь в своих признаках, могла получать характеристику, далекую от объективной оценки свойств предмета. Привносимые в таких случаях в семантику слова дополнительные оттенки имеют повторяющийся, этикетный характер.

На развитие бытовой и производственной лексики серьезное внимание оказывали социально-культурные, экономические и технические условия той поры. Давали себя знать неодинаковые темпы изменения вкусов в отношении к разным группам одежды. Известная подвижность семантики наименований женской верхней одежды объясняется более быстрой изменчивостью женской одежды по сравнению с другими разновидностями платья. Результативность лексико-семантических процессов корректировалась также факторами культурно-исторического характера, например, в преднациональный период активно развиваются названия длиннополрой верхней одежды, но поскольку наступало время короткой одежды, то указанные названия постепенно сокращаются в употреблении, пере-

ходя в разряд диалектных или просторечных обозначений крестьянской одежды: *кафтан*, *зипун*, *однорядка* др. Названия короткополой одежды быстро пополняются, идет процесс отбора наиболее подходящих средств именования, который заканчивается победой иноязычного слова *куртка* для одежды с рукавами и исконной лексики *безрукавка* для одежды без рукавов.

Постоянное стремление говорящих к разнообразию, создание новых выразительных средств не знает количественного ограничения, особенно если используемый язык функционирует на значительной территории и не имеет систематической кодификации. У отдельных слов активно развиваются фонетико-словообразовательные варианты: *варги* – *варенги* ‘шерстяные рукавицы’, *боченечек* – *боченик* ‘бочонок’, *кушинец* – *кушинок* ‘кувшинчик’, *мушурма* – *мушурема* ‘тип посуды’. Вариативность фонетического облика, являющаяся результатом действия звуковых процессов живой речи, а также обусловленная влиянием близких в звуковом и смысловом отношении лексем, игрой народной этимологии, характерна в первую очередь для заимствованных слов, по-разному осваиваемых на разных территориях (*кумган* – *кунган* – *кубан* и пр.), но не лишены вариативности и некоторые исконные элементы (*братина* – *братена* и т. п.; см. подобные примеры в «Словаре русского языка XI–XVII вв.»). Часть вариантов имеет отчетливо выраженный территориальный характер: *пестерь* – севернорусское, *пещерь* – средне- и южнорусское, *рукомой* – северное и среднерусское, *рукомойка* – северо-восточное. Обращает на себя внимание наличие пар мужского и женского рода, которые различались в семантическом или стилистическом отношении: *ароматник* ‘скрытое углубление в предмете для хранения ароматических веществ’ – *ароматница* ‘сосуд для ароматических веществ’, *умывальник* – общеупотребительное, *умывальница* – церковно-книжное.

Семантическое развитие исследуемой лексики осуществлялось по следующим основным направлениям: специализация наименований, преодоление семантической перегрузки слов; отбор средств, сочетающих семантическую определенность с широкой сферой употребления и территориальной неограниченностью; расширение в употреблении слов, денотат которых получил общественное признание, и архаизация слов, утративших денотативную опору; семантическая и жанрово-стилевая дифференциация лексем. Между этими процессами была очевидная взаимосвязь, так, специализация значения сокращала функциональные возможности слова,

сферу его употребления, и наоборот. Процессы семантического характера наиболее активно протекали у слов, хорошо освоенных языком, слова единичного употребления чаще остаются моносемантическими, входят в экзотическую или узкорегиональную этнографическую лексику. Кроме того, каждая тенденция лексико-семантического развития имела свою антитенденцию, действующую с неравной силой, что обеспечивало непрерывность развития разных участков лексики, например тенденция к специализации, семантической определенности наименований сталкивалась с метафорическим способом номинации, благодаря чему создавался избыток лексических средств, ср. *ковш* и видовые названия ковшей *наливка*, *питушка* и т. д.

Конкретное протекание процессов определялось составом лексико-семантической группы, от этого зависел семантический и стилистический статус слова, активность и продолжительность его функционирования в языке. Например, в группе названий кухонной посуды после выхода из общерусского употребления лексемы *веко* изменились семантические отношения между словами *сковорода* и *противень*: старорусское разграничение по объему (от большего к меньшему) *противень* – *веко* – *сковорода* заменилось разграничением по объему и форме: *противень* ‘большая четырехугольная емкость для приготовления пищи’ – *сковорода* ‘небольшая круглая емкость для приготовления пищи’. В старорусский период произошло перераспределение значения слов *влагалище*, *нагалище*, *лагалище*, являвшихся названиями футляров. Первое из них имело слишком широкий, неконкретный смысл ‘вместилище вообще’, а также ‘вместилище для укрытия любого предмета’, поэтому появились *лагалище* и *нагалище* с более определенным значением ‘футляр, вместилище для хранения предметов’. В национальный период немецкое заимствование *футляр* вытеснило все три исконных слова.

Чем цельнее, стройнее семантическая организация лексико-семантической группы, тем больше у нее шансов для длительного существования. Например, группа старорусских названий денежных мешочков имела родо-видовую иерархию, синонимические связи, дифференцированные значения, четкие словообразовательные связи между составными и однословными наименованиями. Многие слова этой группы были усвоены языком национального периода. В группу входили слова *мошна*, *калита*, *зепь*, *карман*, *хамьян*, *чпаг*.

Определенное влияние на степень семантической связанности лексем оказывал генетический фактор. В названиях мужской верхней одежды, где были элементы разного происхождения (*азям* – татарское, *жупан* – из французского через западнославянское посредство, *бешмет* – татарское, *халат* – турецкое, *камзол* – из итальянского через немецкое посредство и т. д.), отсутствовали семантические связи, охватывающие все слова этой группы. Зато названия рукавиц, передников, футляров и др., возникшие в основном на русской почве, отличались значительной семантической организованностью.

В семантической организации лексических групп решающую роль играли противопоставления, основанные на этнографических качествах реалий. Семантические отношения названий верхней женской одежды определяются противопоставлением слов *телогрея* ‘теплая одежда’ и *летник* ‘холодная комнатная одежда’, к которым, как к двум полюсам, тяготели остальные лексемы. В свою очередь названия общей верхней одежды делились на две группы по признаку «длина одежды»: названия длиннополой одежды и названия короткой одежды.

Интересно соотношение родовых и видовых наименований в составе лексики. Отмечается значительная развитость синонимии в кругу родовых обозначений по сравнению с конкретными названиями, что обусловлено обобщенностью, размытостью семантики родовых названий и что определяет контекстную обусловленность их значений. Наблюдается специфика в способах пополнения родовых наименований в зависимости от жанрово-стилевой сферы употребления: в деловой письменности были распространены составные наименования позднего происхождения (питейная посуда, распивочные суды), в книжной речи чаще используются слова, утратившие денотативную опору в предмете и выражающие в условно-обобщенном виде идею ‘посуда’ или ‘одежда’ (*сосуд*, *чаша* и др.). Иногда на первом этапе формирования однословного родового наименования оно функционирует как собирательное существительное (*посудье* – с XVI в.), но затем отпадает необходимость в специальном форманте, подчеркивающем идею обобщенности, множественности, и слово в обычном виде начинает выражать родовое значение.

Родовые и видовые обозначения в старорусском языке не разделены резкой границей. Промежуточное положение занимают слова, возникшие в результате номинации по материалу (*сукня*,

скляница и пр.), они часто не обозначают конкретной разновидности платья или посуды и могут относиться к одежде и вместилищам любой формы и любого назначения, но выполненным из одного материала. Видовые названия по степени конкретности семантики могут быть распределены на две группы: 1) названия реалий, имевших основные эталонные признаки данного типа: *ковш*, *кувшин*; 2) названия разновидностей определенного типа реалий, например, ковшей: *выносник*, *наливок*, *питушка*, *кленовик*. Названия (1) являются родовыми по отношению к названиям (2), Названия (1) возникли в основном в праславянскую или древнерусскую эпоху, наименования (2) – позднего, старорусского происхождения.

С точки зрения жанрово-стилевых качеств анализируемая лексика была достаточно дифференцирована, чему способствовали неодинаковые жанрово-стилевые свойства письменных памятников той поры. Заметно различались между собой с этой стороны родовые и видовые названия. Дело не только в том, что первые преобладали в текстах архаично-книжной ориентации, преимущественно религиозного или исторического содержания, а вторые – в деловой письменности и близких к ней художественных и повествовательных текстах светского содержания. Конкретные наименования сравнительно редко используются в художественных текстах, причем даже здесь они не выстраиваются в синонимические цепи, как это характерно для родовых названий.

Жанрово-стилевая дифференциация проявляется как внутри корневых гнезд (между однокоренными словами), так и внутри лексико-семантических групп, здесь различаются архаично-книжные высокие слова (*окрин*, *коноб*, *кратир*, *фиал* и др.), общестилевые лексемы (*кувшин*, *ковш*), просторечно-бытовые слова и диалектизмы (*посуда*, *щепье* ‘деревянная посуда’), экзотизмы иноязычного происхождения (*пиала*, *матарчак*). Родовое значение в архаично-книжных словах преобладает над видовым. Семантическая неопределенность влияет на богатство синонимических рядов к этим словам, которые представлены в контекстах определенных стилистических качеств. Стилиевые качества слов тоже зависели от экстралингвистических обстоятельств. Так, архаично-книжные элементы отмечаются среди названий столовой посуды, но их мало в наименованиях русской погребной посуды из дерева. Некоторые названия умывальных сосудов имели отчетливо выраженный архаично-книжный характер, что связано с христианским

культовым обычаем омовения рук, способствовавшим частому употреблению в библейской и богослужебной литературе слов *умывальница, рукомыя, рукомойница, глек, лекань*.

Наблюдается закреплённость отдельных слов за тем или иным типом контекста. Выбор слов из синонимического ряда зависел от общего словесно-семантического и стилистического фона контекста. Отдельные значения полисемантических слов также закрепляются за определённым типом контекста, поэтому в совокупности лексических значений старорусского слова можно выделить контекстуально связанное значение, проявляющееся в контекстах определённого содержания и известных стилистических качеств, ср. *риза* 'одежда вообще' в художественных и религиозно-описательных сочинениях и *риза* 'облачение священника' в других контекстах, например, деловых.

Интенсивные процессы стихийного отбора лексических средств из числа имеющихся и появляющихся вновь ведут к формированию большого по объёму пласта пассивной лексики, в частности по отношению к устной и деловой речи, здесь большое место занимают архаизмы книжно-письменного языка и малоупотребительная экзотическая лексика, обозначавшая реалии иноземного быта.

Следует указать на стилистические особенности уменьшительных образований, которые в отличие от исходных общеупотребительных или книжных лексем имеют сниженный, разговорный характер и употребляются преимущественно в деловой письменности, например, *сапог* – общеупотребительное, *сапоженец, сапожонок* – элемент деловых текстов.

В заключение отметим, что поскольку жанрово-стилевая дифференциация, представленная иногда в виде синонимичных соответствий, развита в основном в кругу общих названий, а подобные названия предпочитались в книжно-церковных и художественных текстах, то именно здесь синонимичность была развита в большей степени, чем, например, в деловой письменности. Уже в XVII в. литературно-художественные тексты начинают все чаще выступать в качестве лаборатории семантико-стилистических проб и экспериментов, но в основном это касается общих наименований. В деловой речи происходил отбор лексем из разговорного фонда конкретных названий. Именно деловой речи принадлежала первенствующая роль в формировании повседневного русского словаря.



ИСТОЧНИКИ

А. гр. распр. – Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России. – Киев, 1860–1863.

А. кунгур. – Кунгурские акты XVII века. – СПб., 1888.

А. междуцар. – Акты времен междуцарствия // ЧОИДР. – 1915. – Кн. 4. – Отд. 1. – С. 1–100.

А. Можайск. – Можайские акты, 1506–1775 гг. – СПб., 1892.

А. Морозова – Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова. – Ч. 1–2. – М.; Л., 1940–1945.

А. Моск. – Акты времени междуцарствия. Смутное время Московского государства. – ЧОИДР. – 1915. – Кн. 4. – Отд. I. – С. 1–200.

А. Подмоск. – Смутное время Московского государства. – Вып. 5 (ЧОИДР. – 1911. – Кн. 4).

А. посад. – Павлов-Сильванский Н. П. Акты о посадских людях-закладчиках. – СПб., 1909.

А. сб. Лих. – Лихачев И. П. Сб. актов, собр. в архивах и библиотеках – СПб., 1895. – Т. I–II.

А. Сп. м. – Вахромеев И. А. Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. – М., 1896. – Вып. 1–3.

А. феод. земл. – Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова монастыря (1506 – 1613 гг.). – Л., 1983.

АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI вв. – М., 1951–1961. – Ч. I–III.

А. тяг. – Дьяконов М. Акты, относящиеся к истории тяглого населения в Московском государстве. – Юрьев, 1895. – Вып. 1.

ААЭ – Акты, собр. в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. – СПб., 1836. – Т. I–IV.

АИ – Акты исторические, собр. и изд. Археографического комиссиею. СПб., 1841 – 1842. – Т. I–V.

АЮ – Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. – СПб., 1838.

Алексеев. Церк. сл. – Алексеев П. А. Церковный словарь, или истолкование речений славенских древних, также иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах. – М., 1773.

Алф.⁽¹⁾ – Книга глаголемая гречески алфавит. Рукоп. БАН. Арх. д. № 446.

АМГ I–III – Акты Московского государства. Разрядный приказ. Московский стол. – СПб., 1890–1901. – Т. I–III.

Анпилогов – Анпилогов Г. Н. Новые документы о России конца XVI – начала XVII века. – М., 1967.

АРГ – Акты Русского государства. 1505–1526 гг. – М., 1975.

Арс. Сух. Проскинитарий – Проскинитарий Арсения Суханова // Правосл. палест. сб. – СПб., 1889. – Вып. 21. – Т. VII. – Вып. 3. – Прил. II. – С. 3–300.

Арх. Он. – Архив Онежского Крестного монастыря. – ЦГАДА. – Ф. 1195. – Оп. 1–3.

Арх. сл. – Архангельский областной словарь. – М., 1980–1983. – Вып. 1–3.

АС – Архив П. М. Строева. – СПб., 1915. – Т. 1; Пг., 1917. – Т. 2 (РИБ, т. 32, 35).

АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI вв. – М., 1964. – Т. 3.

Аф. Ник. – Хождение за три моря Афанасия Никитина. 1466–1472 гг. – М., 1958.

АХУ – Акты Холмогорской и Устюжской епархий. – СПб., 1890, 1894, 1908. – Ч. I–III. (РИБ, т. 12, 14, 25).

АЮБ – Акты, относящиеся до юридического быта древней России. – СПб., 1857–1884. – Т. I–III.

АЮЗР – Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собр. и изд. Археографического комиссиею. – СПб., 1863–1865. – Т. 1–2.

Багaley – Багaley Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. – Харьков, 1890. – Т. 2.

Беляева – Беляева О. П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области. – Пермь, 1973.

Бер. – Лексикон словенороський Памви Беринди. – Киев, 1961.

Богосл. – Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. // ЧОИДР. – 1910. – Кн. 1.

Бурнашев – Бурнашев В. II. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного. – СПб., 1843–1844 – Т. 1–2.

Былины – Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков. – М.; Л., 1960.

Васнецов – Васнецов Н. М. Материалы для объяснительного словаря вятского говора. – Вятка, 1907.

Вейсман – Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка. – СПб., 1731.

Вел. Зерцало – Державина О. А. «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. – М., 1965.

Вен. сл. – Das wiener deutsch-russische Wörterbuch. – Berlin, 1983.

Веселовский – Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. – М., 1974.

Вивл. – Древняя российская вивлиофика. – Изд. 2. – М., 1790. – Ч. XII–XIII.

Влад. губ. вед. – Владимирские губернские ведомости.

ВМЧ – Великие Минеи-Четни, собр. всерос. митрополитом. Макарием, – М.; СПб., 1868–1917.

ВОИДР – Временник общества истории и древностей российских.

Воин. повести – Воинские повести Древней Руси. – М.; Л., 1949.

ВОКМ – Вологодский областной краеведческий музей.

Вол. – Перм. лет. – Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. – М.; Л., 1959. – Т. 26.

Ворон. а. – Воронежские акты. – Воронеж, 1851. – Кн. 1.

Воссоед. Укр. с Рос. I–III – Воссоединение Украины с Россией. – М., 1953. Т. I–III.

Востоков – Востоков А. Х. Словарь церковнославянского языка. – СПб., 1858–1861. – Т. 1–2.

Вотч. хоз. книги; ВХК XVI в. – Вотчинные хозяйственные книги XVI в. Приходные, расходные и окладные книги Спасо-Прилуцкого мон. 1574–1600 гг. – М.; Л., 1979. – 1–11.

ВПДР – Воинские повести Древней Руси. – М.; Л., 1951.

Вр. Тимофеева – Временник Ивана Тимофеева. – М.; Л., 1951.

ВХК – Вотчинные хозяйственные книги XVI в. Приходные и расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря. 70–80-е гг. – М.; Л., 1980.

Выходы цар. – Выходы государей царей и вел. князей Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Феодора Алексиевича, всея Руси самодержцев. – М., 1844.

ГААО – Государственный архив Архангельской области.

ГАВО – Государственный архив Вологодской области.

ГАВорО – Государственный архив Воронежской области.

ГАЛО – Гос. архив Ленинградской области.

Гальковский–Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. – М., 1913. – Т. 2.

Геров – Геровъ Н. Рѣчникъ на бѣлгарскія языкъ съ тълкуванне речи ты на бѣлгарскы и на русскы. – София, 1975–1978. – Ч. I–VI.

ГКЭ – Шумаков С. Обзор грамот Коллегии экономии. – М., 1900–1917. – I–IV.

Гр. Дв. I–II – Грамоты Двинского у. // Сб. грамот Коллегии Экономии. – Пг., 1922–1929 – Т. I–II.

Греков – Греков Б. Д. Монастырское хозяйство XVI–XVII вв. – М., 1924.

Гринченко – Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка. – Киев, 1907–1909. – Т. I–IV.

Гр-ки – Грамотки XVII – начала XVIII века. – М., 1969.

Дворц. разряды – Дворцовые разряды... – СПб., 1850–1855. – Т. I–IV.

Д. Иос. Колом. – Титов А. А. Иосиф – архиепископ Коломенский (дело о нем 1675–1676 гг.) // ЧОИДР. – 1911. – Кн. 3.

Д. патр. Никона – Дело о патриархе Никоне. – СПб., 1897.

Д. холоп. – Яковлев А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. – М.; Л., 1943. – Т. 1.

Д. Шакл. I–IV – Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках (1689–1725 гг.). – СПб., 1884–1893. – Т. I–IV.

ДАИ – Доп. к АИ, собр. и изд. Археографической комиссией. – СПб., 1846–1875. – Т. 1–12.

Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978–1980. – Т. I–IV.

Двор цесаря тур. – Двор цесаря турецкого. – СПб., 1883.

Дм. К.; Дом. К – Домострой по Коншинскому списку и подобным // ЧОИДР. – 1908. – Кн. 2. – Отд. 1. – С. 1–70.

Дм. Свад.; Дом. Свад. – Чины на свадьбе. Домострой по Коншинскому списку ОИДР // ЧОИДР. – 1881. – Кн. 2. – С. 166–202.

Дн. Толстого – Путешествие стольника П. А. Толстого. 1697–1699.

Док. Моск. театра – Московский театр при царях Алексее и Петре. – ЧОИДР. – 1914. – Кн. 2. – Отд. 1. – С. 1–192.

Документ. сказ. о даре – Гухман С. Н. «Документальное» сказание о даре шаха Аббаса России // ТОДРЛ. – Л., 1974. – Т. 28.

Дом. – Домострой по сп. ОИДР. – ЧОИДР. – 1881. – Кн. 2. – С. 1–165.

Домострой. Заб. – ВОИДР. – 1850. – Кн. 6.

Дон. д. – Донские дела. – СПб., 1898. – Пг., 1917. – Кн. 1–5. (РИБ, т. 18, 24, 26, 29, 34).

ДТП – Дела Тайного приказа. – СПб., 1907. – Л., 1926. – Кн. I–IV (РИБ, т. 21–23, 38).

Ефименко – Ефименко П. С. Приданое по обычному праву крестьян Архангельской губернии. – СПб., 1872.

Ж. Дан. Пер. – Житие преп. Даниила, переяславского чудотворца. – М., 1908.

Ж. пр. Авв. – Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. – М., 1960.

Жит. Серапиона – Моисеева Г. Н. Житие новгородского архиепископа Серапиона // ТОДРЛ. – М.; Л., 1965. – Т. 21.

Заб. Дом быт – Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. – М., 1895–1915. – Ч. 1–2.

Заб. Ик. – Забелин И. Е. Материалы для истории русской иконописи. (ВОИДР. – 1850. – Кн. 7. – С. 1–128).

Заб. Мат.; Мат. Москвы – Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. – М., 1884–1891. – Ч. I–II.

Зиз. – Лексис сиречь речения, въкратце събранны и из словенскаго языка на простый русский диялект истолкованы (Лаврентий Зизаний, 1596 г.) // Сказания русского народа, собр. И. Сахаровым. – СПб., 1849. – Т. 2. – Кн. 5–8. – С. 121–131.

Изб. 1076 г. – Изборник 1076 г. – М., 1965.

Изборник – «Изборник» (Сб. произведений литературы Древней Руси). – М., 1969.

Иос. Вол. Посл. – Послания Иосифа Волоцкого. – М.; Л., 1959.

Ипат. лет. – Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М., 1962. – Т. 2.

Иркут. сл. – Иркутский областной словарь. – Иркутск, 1973–1979. – Вып. 1–3.

Кабард.-рус. д. – Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. – М., 1957. – Т. 1.

Каз. ист. – Казанская история. – М.; Л., 1954.

Каз. лет. – История о Казанском царстве / Казанский летописец // ПСРЛ. – СПб., 1903. – Т. 19.

Карт. ДРС; КДРС – Картотека «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (Москва, Институт русского языка РАН).

КВОС – Картотека Вологодского областного словаря (Вологда, педуниверситет).

КМР – Крепостная мануфактура в России. – Л., 1930–1932. – Ч. 1–3.

Кн. вкладн. Ант.-Сийск. м. – Изюмов А. Ф. Вкладные книги Антониново-Сийского монастыря 1576–1694 гг. // ЧОИДР. – 1917. – Кн. 2. – Отд. 1. – С. 1–79.

Кн. Ивер. м. – Приходо-расходная книга Иверского Валдайского мон. 1665–1666 гг. – Рукоп. ЛОИИ. – Ф. 181. – Он. 2. – № 20.

Кн. моск. там. – Сакович С. П. Из истории торговли и промышленности России конца XVII в. – М., 1956. – [Тр. ГИМ. Вып. 30. Книга записная мелочных товаров Московской большой таможни 1694 г.].

Кн. п. Казани – Материалы по истории Татарской АССР. Писцовые книги г. Казани 1565–1568 гг. и 1646 г. – Л., 1932.

Кн. п. Моск. – Писцовые книги Московского государства. – М., 1875. – Т. 2.

Кн. пер. Водск. пят. III. – Переписная окладная книга по Новугороду Вотьской пятины, продолж. // ВОИДР. – 1852. – Кн. 12.

Кн. пер. казны Ник. – Переписная книга домоводной казны патриарха Никона. – ОИДР. – 1852. – Кн. 15.

Кн. Поганкина – Книги псковитянина посадского торгового человека Сергея Иванова сына Поганкина. – Псков, 1870.

Кн. пр.-расх. Бог. м. – Приходо-расходные книги Богословского мон. // Тр. Рязан. уч. арх. комиссии за 1903 г. – Т. 18. – Вып. 1–2; за 1904 г. – Т. 19. – Вып. 1.

Кн. пр.-расх. Волоколам. м. – Тихомиров М. Н., Флоря Б. Н. Приходо-расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 1606–1607 гг. // Археографический ежегодник за 1966 год. – М., 1968.

Кн. пр.-расх. Синб. приказн. избы – Зерцалов А. Н. Материалы для истории Синбирска и его уезда (Приходо-расходная кн. Синбирской приказной избы) 1665–1667 гг. – Симбирск, 1896.

Кн. прих.-расх. Ант. м. – Книги приходо-расходные Антониева Сийского мон. 1646 г. – Рукоп. ЛОИИ. – Ф. 5. – Оп. 2. – Д. 3.

Кн. расх. Болд. м. – Болдин-Дорогобужский монастырь. Книги расходные. – Л., 1924 (РИБ. Т. 37).

Кн. расх. Ипат. м. – Отрывок из расходных книг Костромского Ипатьевского монастыря, ок. 1553 г. // Сб. Археолог. ин-та. – СПб., 1898. – Кн. 6. – Отд. 2. – С. 127–137.

Кн. расх. Никона – Расходная книга митроп. новгородского Никона во время его поездки в Москву и в Соловецкий монастырь в 1652 г. // ВОИДР. – 1852. – Кн. XIII. – Разд. II. – С. 1–62.

Кн. расх. Помест. пр. – Соколова А. А., фон Мекк А. К. Расходные книги и столпы Поместного приказа. – М., 1910. – Кн. 1.

Кн. расх. Свир. м. – Книга расходная Александрo-Свирского мон. 1615 г. – Рукоп. ЛОИИ. – Ф. 3. – Оп. 2. – Д. 6.

Кн. там. Тур. острога – Книга таможенная Туринского острога 1626 года. – Рукопись ЛОИИ. – К. 115. – № 286.

Кн. ям. – Гурлянд И. Я. Новгородские ямские книги 1586–1631 гг. // Временник Демидовского юрид. лица. – Ярославль, 1901. – Кн. 82, 83.

Кол. Зинченко – Коллекция Зинченко XVI–XVII вв. – ЛОИИ. – К. 56.

Колон. Якут. – Колониальная политика Московского государства в Якутии XVII в.: сб. архивных документов. – Л., 1936.

Короча – Котков С. И., Ларионова А. П. Материалы Корочанской приказной избы // История русского языка. Исследования и тексты. – М., 1982. – С. 376–384.

Космография – Книга глаголемая Козмография сиречь описание сего света земель. – СПб., 1878–1881.

Котков. Моск. речь – Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. – М., 1974.

Котков. Очерки – Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII веков. – М., 1970.

Крым. д.-II – Памятники дипломатических сношений Московского гос-ва с Крымом, нагаями и Турцией. – Т. 2 // Сб. РИО. – СПб., 1895. – Т. 95.

Кулик. – Куликовский Г. Словарь областного олонекского наречия в его бытовом и этнографическом применении. – СПб., 1898.

КЭСРЯ – Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. – М., 1961.

КЯОС – Мельниченко Г. П. Краткий ярославский областной словарь. – Ярославль, 1961.

Лекс. Вейсмана – Немецко-латинский и русский лексикон Э. Вейсмана. – СПб., 1731.

Лекс. тряз. – Лексикон трязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг собранное, Федора Поликарпова. – М., 1704.

Лет. рус. лит-ры – Летописи русской литературы и древности. – М., 1861.

ЛЗАК– Летопись занятий Археографической комиссии.

Лит. сб. Пролог – Литературный сборник XVII в. Пролог. – М., 1978.

Лих. сб. – Лихачев Н. П. Сборник актов, собр. в архивах и библиотеках. – Вып. I–II. – СПб., 1895.

Лож. и отреч. кн. – Ложные и отреченные книги русской старины, собр. А. Н. Пыпиным // Пам. стар., русск. лит-ры. – СПб., 1862. – Вып. III.

ЛОИИ – Ленинградское отделение Института истории АН СССР.

МАС⁽²⁾ – Словарь русского языка в четырех томах. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981–1984. Т. 1–4.

Мат. Ворон. – Материалы для истории Воронежской и соседних губерний, 1884, Вып. 6.; т. 2. 1891.

Мат. ист. и юрид. – Материалы исторические и юридические района б. приказа Казанского дворца. – Симбирск, 1884. – Т. 3.

Мат. Костромы – Скворцов Л. П. Материалы для истории г. Костромы. – Кострома, 1913. – Ч. 1.

Мат. медиц. – Материалы для истории медицины в России. – СПб., 1881–1885. – Вып. 1–4.

Мат. Москвы – Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии, статистики г. Москвы. – М., 1884–1891. – Ч. I–II.

Мат. рус.-груз. – Материалы по истории русско-грузинских отношений (80–90-е годы XVII в.). – Тбилиси, 1974–1979. – Ч. 1–2.

Мат. Узбек. – Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI–XVII вв. – М., 1933. – Вып. 3. – Ч. 1.

Махек – Machek V. Etymologicky slovník jazyka českého a slovenského. – Praha, 1957.

МДБП – Московская деловая и бытовая письменность XVII века. – М., 1968.

Мельниченко – Мельниченко Г. Г. Краткий ярославский обл. словарь. – Ярославль, 1961.

Моск. речь – Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. – М., 1974.

Моск. театр – Московский театр при царях Алексее и Петре. – ЧОИДР. – 1914. – Кн. 2.

Н. Новгород в XVII в. – Анпилов Г. Н. Нижегородские документы XVI в. (1588–1600 гг.). – М., 1977.

Назиратель – Назиратель. – М., 1973.

Ник. лет. IX–XIV – Летописный сб., именуемый Патриаршею или Никоновской летописью // ПСРЛ. – СПб., 1862–1906. – Т. IX–XIV.

Ник. – Никольский А. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство во второй четверти XVII в. – СПб., 1897. – Т. 1. – Вып. I; 1910. – Т. 2. – Вып. 1–2.

Новая повесть – Дробленкова Н. Ф. Новая повесть о преславном Российском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. – М.; Л., 1960.

Новг. гр. 2, 3, 6 – Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1952 г. – М., 1954; Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1953–1954 гг. – М., 1958; Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1958–1961 гг. – М., 1963.

Новг. гр. – Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1962–1976 гг. – М., 1978.

Новг. I лет. – Новгородская летопись... СПб., 1888.

Новг. IV лет. – ПСРЛ. – Т. IV. – Ч. 1. – Вып. 1–3. – Пг. – Л., 1925–1929.

Новг. сл. – Новгородский словарь XIII века. (По сп. Московской синодальной кормчей 1282 г.) // Сказания русского народа, собр. И. Сахаровым. – СПб., 1849. – Т. 2. – С. 120–121.

Номенклятор голланд. – Номенклятор (лексикон на латинском, русском и голландском языках). Амстердам, 1700.

Номенклятор немецк. – Номенклятор (лексикон на латинском, русском и немецком языках). – Амстердам, 1700.

Носович – Носович И. И. Словарь белорусского языка. – Минск, 1983.

ОБС – Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древлехранилище. – Вологда, 1899–1917. – Вып. I–XIII.

Олонецк. сб. – Олонецкий сборник. – Петрозаводск, 1901. – Вып. 3.

Опис. аптек. – Опись аптекарскому и иным дворам и Московского и иных городов уездов волостям и селам и заводам, которые ведомы были приказу тайных дел в 1677 г. // Зап. отд. русской и слав. археологии имп. Русского археологического об-ва. – 1861. – Т. 2. – С. 44–125.

Оп. дворцовых приказов – Викторов А. В. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. – М., 1877–1883. – Вып. 1–2.

Оп. им. кн. Мстисл. – Опись имущества старицы княжны Ирины Ив. Мстиславской // ЧОИДР. – 1915. – Кн. 3.: Смесь. – С. 1–6.

Оп. им. Тат. – Опись ... имения... М. Татищева // ВОИДР. – 1850. – Кн. 8: Смесь. – С. 1–40.

Оп. им. арх. – Опись имущества вологодского архиерейского дома в половине XVII в. // Изв. Археолог, об-ва. – СПб., 1865. – Т. 5. – Вып. 2. – С. 96–114.

Оп. им. Матв. – Опись имущества боярина А. С. Матвеева // ЧОИДР. – 1900. – Кн. 2: Смесь. – С. 9–21.

Оп. Краснохолм. м. – Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского Антониева монастыря // Древности. – 1880. – Т. 8. – С. 1–95.

Оп. посол. пр. – Опись архива Посольского приказа 1626 г. – М., 1977. – Ч. 1–2.

Опис. Шуи – Борисов В. А. Старинные акты, служащие дополнением к описанию г. Шуи. – М., 1851.

- Опыт – Опыт областного великорусского словаря. – СПб., 1852.
- Отр. пословиц – Дмитриева Л. А. Отрывок сборника пословиц XVII в. // Рукописное наследие Древней Руси. – Л., 1972.
- Палея толк. – Толковая Палея 1477 г. – СПб., 1892.
- Пам. Влад. – Памятники деловой письменности XVII в. Владимирский край. – М., 1984.
- Пам. моск.-перс. – Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. – СПб., 1890. – Т. 1.
- Пам. об. Смол. – Памятники обороны Смоленска 1606–1611 гг. – М., 1912.
- Пам. отр. лит. – Памятники отреченной русской литературы. – СПб., 1863. – Т. 1–2.
- Пам. Ряз. – Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край. – М., 1978.
- Пам. СРЛ – Памятники старинной русской литературы. – СПб., 1860. – Вып. 1.
- Пам. церк.-учит. – Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. – СПб., 1896. – Вып. 2.
- Пар. сл. – Парижский словарь москвитов 1586 г. – Рига, 1948.
- Патерик Син. – Синайский патерик. – М., 1967.
- ПДС – Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. – СПб., 1856–1867. – Т. 1–8.
- Перс. д. – Памятники дипломат. и торговых сношений Московской Руси с Персией. – СПб., 1890–1898. – Т. 1–3.
- Песни Кваши. – Сперанский М. Н. Из материалов для истории устной поэзии. // Изв. АН СССР, отд. обществ. наук. – 1932. – № 10. – С. 913–934.
- Письмо неизвестного – Сарафанова Н. С. Письмо неизвестного лица из заточения 1685 г. // ТОДРЛ. – М.; Л., 1960. – Т. 16.
- ПЛДР IV–V – Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. – М., 1981; Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. – М., 1982.
- Пов. како отомсти – Буранов В. И. и др. «Повесть како отомсти» – памятник ранней публицистики Смутного времени // ТОДРЛ. – Л., 1974. – Т. 28.
- Пов. о Морозовой – Повесть о боярыне Морозовой. – Л., 1977.

Пов. о Щиле – Еремин И. П. Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле. (Исследования и тексты) // Тр. комиссии по древнерусской литературе. – Л., 1932. – Т. I.

Пов. о явлении – Волкова Т. Ф. Вновь найденная повесть XVII в. о мезенской иконе Троицы // Рукописное наследие Древней Руси (по материалам Пушкинского Дома). – Л., 1972.

Пов. об Иулиании – Тагунова В. И. Муромские списки «Повести об Иулиании Лазаревской» // ТОДРЛ. – М.; Л., 1961. – Т. 17.

Пов. об Улиянии – Скрипиль М. О. Повесть об Улиянии Осорьбиной (комментарий и тексты) // ТОДРЛ. – М.; Л., 1948. – Т. 6.

Пов. XVII в. – Русская повесть XVII века / сост. М. О. Скрипиль. – М., 1954.

Подвыс. – Подвысоцкий А. Словарь обл. архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. – СПб., 1885.

Подлинник ик. – Подлинник иконописный. – М., 1903.

Поликарп. – Лексиконъ трехъязычный, сиречь речений славенских, еллино-греческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг собранное... Федора Поликарпова. – М., 1704.

Полоцкий – Полоцкий Симеон. Избранные сочинения. – М.; Л., 1963.

Польск. д. – Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. – СПб., 1892–1912. – Т. 1–4

Пос. Жир.-Засекина – Посольство Жирового-Засекина (1598 г.) // Труды Восточного отделения Русского археологического об-ва. – СПб., 1892. – Т. 21. – С. 1 – 143.

Посольство Толочанова – Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию (1650–1652). – Тифлис, 1926.

Пр.-расх. кн. Синбирск. приказной избы – Зерцалов А. Н. Материалы для истории Синбирска и его уезда. – Симбирск, 1896.

Пролог – Литературный сборник XVII в. Пролог. – М., 1978.

Проскинитарий – Проскинитарий Арсения Суханова (1649–1653 гг.) // Правосл. палест. сб. – СПб., 1889. – Т. 4. – Вып. 3. – Прил. 2.

Протопопов – Протопопов А. Сб. слов, выбранных из архивов яренских столбцов XVI–XVII вв. // Изв. ОРЯС. – 1852. – Т. 1. – С. 120–144; 1853. – Т. 2. – С. 198–208, 252–272.

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. – СПб. 1830. – т. 1–3.

Псков. суд. гр. – Псковская судная грамота. – СПб., 1914.

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.

Пустоз. сб. – Пустозерский сборник. Автографы соч. Аввакума и Епифания. – Л., 1975.

Радлов – Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1893–1911. – Т. 1–10.

Разг. Т. Фенне – Tonies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian Pskov 1607. – Copenhagen, 1970. – V. 2.

Разгром Разин. – Разгром Разинщины. – Л., 1934

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека.

РДС – Русская демократическая сатира XVII в. – М.; Л., 1954.

Речь жид. – Речь жишовьского языка // Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. – Л., 1963. – С. 398–399, 418–421.

Речь тонк. греч. – Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого. Русско-греческие разговоры конца XV – начала XVI вв. – М., 1896.

РИБ – Русская историческая библиотека.

Рим. д. – Римские деяния. – СПб., 1877–1878. – Вып. 1–2.

Росн. цен – Списки с товарных ценовых росписей и перечневая выписка по г. Енисейску XVII в. (1649 и 1687 гг.) // ЧОИДР. – 1900. – Кн. 2.

Рук. лекс. – Рукописный лексикон первой половины XVIII в. – Л., 1964.

Рус. силлаб. поэзия – Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. – Л., 1970.

Рус. архив. – 1888. – Кн. 1–2.

Рус. пов. XVII в. – Русская повесть XVII века. – М.; Л., 1954.

Рус. яз. Источники – Русский язык. Источники для его изучения. – М., 1971.

Рус.-кавк. – Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом – М., 1889. – Вып. 1 (1578–1613).

Рус-бел. связи – Русско-белорусские связи во второй половине XVII в.: сб. документов. – Минск, 1972.

Рус-бел. связи – Русско-белорусские связи: сб. документов (1570–1667 гг.). – Минск, 1963.

Рус-монг. – Русско-монг. отношения. 1607–1636. – М., 1959; Русско-монг. отношения. 1636–1654. – М., 1974.

Рус-швед. отн. – Русско-шведские экономические отношения в XVII в.: Сб. документов. – М.; Л., 1960.

Савватий – Шептаев Л. С. Стихи справщика Савватия // ТОДРЛ. – М.; Л., 1965. – Т. 21.

Сакович – Сакович С. И. Из истории торговли и промышленности России конца XVII в. // Тр. ГИМ, вып. 30. Книга записная мелочных товаров Московской большой таможни 1694 г. – М., 1956.

САР – Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – СПб., 1806–1822. – Ч. 1–6.

Саранск ТК – Саранская таможенная книга за 1692 г. – Саранск, 1951.

Сатира 17 в. – Русская демократическая сатира XVII в. – М., 1977.

Сб. Петра – Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. – М., 1872. – Т. 1.

Сб. пословиц 17 в. – Дмитриев Л. А. Отрывок сборника пословиц XVII века // Рукописное наследие Древней Руси (по материалам Пушкинского Дома). – Л., 1972.

Сб. Шук.; Сб. Шукина – Сб. старинных бумаг, хран. в музее П. И. Шукина. – М., 1896–1902. – Ч. 1–10.

СГГД – Собр. госуд. грамот и договоров, хран. в Госуд. Коллегии иностранных дел. – М., 1813–1819. – Ч. 1–2.

СГКЭ – Сборник грамот Коллегии экономии. – Пг., 1922. – Л., 1929. – Т. 1–2.

Семевский – Семевский М. И. Историко-юридические акты XVI–XVII вв. – СПб., 1892.

Сенигов – Сенигов О. П. Памятники земской старины – СПб., 1903.

Симони. Пословицы – Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII – XIX столетий. Собр. и приготовил к печати Павел Симони. – СПб., 1899.

Сказ. Мол. Дев. – Срезневский В. И. Сказание о молодце и о девице по списку XVII в. 6-ки Академии наук // Мзв. ОРЯС. – 1906. – Т. 11. – Кн. 4. – С. 79–90.

Сказ. о даре – Гухман С. Н. Соловецкая редакция «Документального сказания о даре шаха Аббаса России» // ТОДРЛ. – Л., 1974. – Т. 28.

Сказ. о самозван. – Иное сказание о самозванцах // ВОИДР. – Кн. 16. – М., 1853.

Сказ. про Бову – Памятники древней письменности. – СПб., 1879. – С. 44–79.

Сл. 1586 г. – Б. А. Ларин. Парижский словарь москвитов 1586 г. – Рига, 1948.

Сл. В. Устюга – Симони П. К. Материалы для истории старинной русской лексикографии. – Вып. 2: Два старинных областных словаря XVIII столетия. – СПб., 1899.

Сл. Вятки – Симони Л. К. Материалы для истории старинной русской лексикографии. – СПб., 1899. – Вып. 2: Два старинных областных словаря XVIII столетия.

Сл. Дан. Зат. – Слово Даниила Заточника по ред. XII и XIII веков и их переделкам. – Л., 1932.

Сл. зап. Брян. – Расторгуев П. А. Словарь народных говоров западной Брянщины. – Минск, 1973.

Сл. Красноярск. – Словарь русс. говоров южных р-нов Красноярского края. – Красноярск, 1968.

Сл. Оби – Словарь русс. старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. – Томск, 1964–1967.

Сл. ряз. Мещеры – Ванюшечкин В. Т. Словарь русс. народных говоров рязанской Мещеры. – Воронеж, 1983.

Сл. Соликам. – Словарь говоров Соликамского района Пермской области. – Пермь, 1973.

Сл. Ср. Урала – Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск, 1964–1983. – Т. 1–4.

СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1975. – Вып. 1 (издание продолжается).

Смутное время – Смутное время Московского государства. 1604–1613 гг. – Акты времени междоусобия (1610 г. 17 июля – 1613 г.). – М., 1915.

Соболевский – Соболевский А. И. Великорусские песни. – СПб., 1895. – Т. 1.

Спафарий. Китай – Арсеньев Ю. Статейный список посольства Н. Спафария в Китай 1675–78 гг. // Вестн. археологии и истории. – СПб., 1906. – Отд. 2. – Вып. 17. – С. 162–339.

Срезн. Опис. рук. – Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собр. для имп. АН в Олонецком крае. – СПб., 1913.

- Срезн. – Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. – М., 1958. – Т. 1–3.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. – М.; Л., 1965. – Вып. 1 (издание продолжается).
- Стар. а. Шуи – Гарелин Я. П. Старинные акты, служащие преимущественно дополнением к описанию г. Шуи. – М., 1853.
- Стол. обиход. – Монастырские столовые обиходники // ЧОИДР. – СПб., 1880. – Кн. 3–6. – С. 24–113.
- Стол. п. Филарета – Столовая книга патриарха Филарета // Старина и новизна: Ист. сборник. – Кн. 11, 13. – СПб., 1906–1909. – Вып. 1–2.
- Ст. сп. – Путешествия русских послов XVI–XVII вв. – М.; Л., 1954.
- Суб. Мат. – Материалы для истории раскола за первое время его существования / под. ред. Н. Субботина. – М., 1874–1887. – Т. 1–8.
- Тих. Мон. вотч. – Тихомиров М. Н. Монастырь-вотчинник XVI в. // Русское государство XV–XVII веков. – М., 1973. – С. 120–154.
- Тихонравов – Тихонравов Н. С. Русские драматические произведения. – СПб., 1884. – Т. 1.
- ТК – Таможенные книги Московского государства XVII в. – М.; Л., 1950–1951. – Т. I–III.
- ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
- Тр. Воронеж. УАК – Труды Воронежской уч. архивной комиссии. – Воронеж, 1914. – Вып. 5.
- Тр. Вят. УАК – Труды Вятской уч. архивной комиссии. – 1910. – Вып. 5.
- Тр. Новгород. ГУАК – Труды Новгородской губ. уч. архивной комиссии. – В. Новгород, 1912. – Вып. 1.
- Тр. Орл. УАК – Тр. Орловской уч. архивной комиссии. – Орел, 1889. – Вып. 6.
- Три соч. Авв. – Малышев В. И. Три неизвестных сочинения протопопа Аввакума и новые документы о нем // Доклады и сообщения филолог. фак-та ЛГУ. – Л., 1951. – Вып. 3. – С. 255–266.
- Трондх. сл. – Lunden S.S. The Trondheim Russian // Cerman MS Vocabulary. – Oslo, 1972.
- Успен. Цар. икон. – Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. – СПб., 1906–1916. – Т. 1–4 // Зап. Моск. Археолог. ин-та, т. 10, 17, 32, 39.

Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1964–1973. – Т. I–IV.

Фенне – Tonies Fenne's Low German Manuai of Spoken Russian Pskov 1607. – Copenhagen, 1970. –Vol. 2.

Х. Котова – Хожение купца Федота Котова в Персию. – М., 1958.

Хр. 1512 г.; Хроногр. 1512 г. –Хронограф редакции 1512 г. // ПСРЛ. – СПб., 1911. – Т. 22.

Целлариус – Гельтергоф Ф. Немецкой целлариус или полезной лексикон. – М., 1765.

Целлариус – Российской Целлариус, или этимологический российский лексикон... – М., 1771

Цен. росп. – Списки с товарных ценовых росписей и перечневая выписка по г. Енисейску XVII в. (1649 и 1687 г.) // ЧОИДР. – 1900. – Кн. 2.

ЧОИДР – «Чтения в обществе истории и древностей российских».

Шипова – Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. – Алма-Ата, 1976.

Шляпин – Шляпин В. П. Акты Велико-Устюженского Михаило-Архангельского монастыря.– В. Устюг, 1912–1913. – Ч. 1–2.

Шумаков – Шумаков С. Сотницы (1537–1597 гг.), грамоты и записи (1561–1696 гг.). – ЧОИДР. – 1902. – Кн. 2.

ЭСРЯ – Этимологический словарь русского языка / под ред. Н. М. Шанского. – М., 1963–1982. – Вып. 1–8.

ЕССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. – М., 1974–. Вып. 1– (издание продолжается).

Южн. отк. – Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. – М., 1977.

Южн. там. – Памятники южновеликорусского наречия, Таможенные книги. – М., 1982.

Яковлев. Холопы – Яковлев А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. – М.; Л., 1943. – Т. 1.



ТРУДЫ Г. В. СУДАКОВА ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

КНИГИ

1. Лексикология старорусского языка (предметно-бытовая лексика). – М., 1983. – 102 с.
2. География старорусского слова. – Вологда, 1988. – 84 с.
3. Были о словах и вещах. – Архангельск, 1989. – 270 с.
4. Живое русское слово. – Вологда, 2002. – 154 с.
5. О нашем, о русском: Мир русского человека в зеркале русского языка. – Вологда, 2006. – 180 с.
6. Когда появились фартуки? О многовековой истории русских слов и выражений. – М., 2009. – 176 с.

СТАТЬИ

1. Лексика одежды в севернорусских говорах XVII в. // Лексика севернорусских говоров. – Вологда, 1976. – С. 52–60.
2. К вопросу о роли севернорусских говоров XVII века в складывании общерусского лексического фонда // Вопросы формирования русского национального языка. – Вологда, 1979. – С. 66–75.
3. Бытовая лексика в деловой письменности Посухонья XVII в (названия головных уборов) // Системные отношения в лексике севернорусских говоров. – Вологда, 1982. – С. 93–106.
4. «Всякое посудье» // Русская речь. – 1983. – № 5. – С. 85–89.
5. Названия «питейной» посуды старой Руси // Русская речь. – 1983. – № 1. – С. 90–97.

6. Синонимы в литературно-художественных текстах XVII в. // Парадигматические и синтагматические отношения в лексике и фразеологии. – Вологда, 1983. – С. 128–136.

7. Букварь Кариона Истомина – идеографический словарь XVII в. // Теория и практика русской исторической лексикографии – М., 1984. – С. 113–123.

8. В чем носили деньги древние русичи? // Русская речь. – 1984. – № 2. – С. 99–104.

9. Источники для изучения истории русской лексики // Источниковедческие и текстологические материалы в лингвистических курсах. – М., 1984. – С. 30–45.

10. Красна изба пирогами // Русская речь. – 1984. – № 3. – С. 106–110.

11. Лексические диалектизмы в севернорусских актах XVI–XVII вв. (названия рукавиц) // Севернорусские говоры. Вып. 4. – Л., 1984. – С. 75–84.

12. Названия меховой шапки в старорусском языке // Русское народное слово в историческом аспекте. – Красноярск, 1984. – С. 104–113.

13. Названия предметов домашней утвари в русском языке XVI–XVII вв. // Эволюция лексической системы севернорусских говоров. – Вологда, 1984. – С. 50–73.

14. «Урядные молодцы в золотых юпках» // Русская речь. – 1984. – № 6. – С. 75–78.

15. Душегрейка, безрукавка и куртка // Русский язык в школе. – 1985. – № 5. – С. 95–96.

16. Как называлась Сенькина шапка // Русская речь. – 1985. – № 5. – С. 110–116.

17. Лексические диалектизмы и диалектные объединения языка Московской Руси // Вопросы языкознания. – 1985. – № 5. – С. 83–93.

18. Среднерусские слова на общерусском фоне (по памятникам письменности XVI–XVII веков) // Среднерусские говоры. – Калинин, 1985. – С. 86–101.

19. Архаичное и новое в одном старорусском гнезде однокоренных слов (названия вместилищ с корнем *короб-* (*краб-*) // Функционирование архаических и новых элементов в системе русского языка. – М., 1986. – С. 5–12.

20. Взаимоотношения книжных и разговорных элементов в старорусском словаре (общие названия посуды) // Литературный язык и народная речь. – Пермь, 1986. – С. 124–133.

21. «Каков женишок, таков его и сапожок» // Русская речь. – 1986. – № 5. – С. 108–114.

22. Лексические связи среднерусских говоров в русском языке преднационального периода // Среднерусские говоры. – Калинин, 1986. – С. 55–64.

23. Особенности функционирования старорусского слова в составе лексико-семантической группы (названия поясов) // Слово в системных отношениях на разных уровнях языка. – Свердловск, 1986. – С. 48–54.

24. От коврижки до марципана // Русская речь. – 1986. – № 1. – С. 100–107.

Предметно-бытовая лексика в ономаσιологическом аспекте // Вопросы языкознания. – 1986. – № 6. – С. 105–112.

25. Сведения по истории слов в курсах исторической грамматики и истории русского литературного языка // Межпредметные связи в преподавании лингвистических дисциплин. – М., 1986. – С. 3–22.

26. Семантические отношения и вариантность в лексике русского языка XVI–XVII веков (названия верхней одежды) // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1986. – С. 108–116.

27. Становление лексической нормы и процессы развития в русском бытовом словаре преднационального периода // Становление и развитие норм русского языка XVII–XX веков. – Хабаровск, 1986. – С. 38–50.

28. Старорусская лексика в жанрово-стилевом и географическом аспектах (названия рубах и сорочек) // Лексическая и грамматическая семантика. – Смоленск, 1986. – С. 14–23.

29. Формирование одной лексической группы в русском бытовом словаре XVII в. (названия передников) // Развитие семантической системы русского языка. – Калининград, 1986. – С. 38–46.

30. География и жанрово-стилевая дифференциация слов в русской письменности XVI–XVII вв. – М., 1987. – С. 38–56.

31. Диалектная лексика в старорусском языке (названия корзин) // Диалектная лексика: 1987. – СПб., 1991. – С. 73–80.

32. Из истории бытового словаря. Названия мешков и сумок в русском языке преднационального периода // Диалектное и просторечное слово в диахронии синхронии. – Вологда, 1987. – С. 27–43.

33. Семантика и география названий сарафанов и понев в русской письменности XVI–XVII вв. // История русского языка и лингвистическое источниковедение. – М., 1987. – С. 211–219.

34. Семантические изменения как фактор развития лексики (старорусские названия вместилищ для посуды) // Семантика слова в диахронии. – Калининград, 1987. – С. 72–77.

35. Историческая лексикология русского языка (ответы на анкету) // Историческая лексикология и лексикография русского языка. – Вологда, 1988. – С. 3, 8–9, 11–12, 20, 23, 26, 29–30, 35, 39–40.

36. Кринка, подойник // Русский язык в школе. – 1988. – № 1. – С. 87–88.

37. Названия мешка в письменности средней России XVI–XVII вв. // Среднерусские говоры: Современное состояние и история. – Калинин, 1988. – С. 125–132.

38. Организация и функционирование лексико-семантической группы в древнерусском языке (названия футляров) // Значение и форма слова. – Калинин, 1988. – С. 106–113.

39. Пантюха. Перевязочка // Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1988. – Вып. 14. – С. 146, 225.

40. Слова *одежда*, *платье* и их синонимы в старорусском языке // Русская историческая лексикология и лексикография. – Л., 1988. – Вып. 4. – С. 23–32.

41. Диалектные названия сосудов в севернорусской письменности XVI–XVII вв. // Севернорусские говоры. – Л., 1989. – Вып. 5. – С. 115–123.

42. Названия «поваренной» посуды в старорусской письменности // Среднерусские говоры и памятники письменности. – Калинин, 1989. – С. 118–131.

43. Особенности употребления бытовой лексики в русских текстах XVI–XVII вв. // Вопросы исторической семантики русского языка. – Калининград, 1989. – С. 45–51.

44. Плюснянка // Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1989. – Вып. 15. – С. 113.

45. Назвался груздем – полезай в кузов // Русская речь. – 1990. – № 2. – С. 114–121.

46. Подшивки. Подшитки // Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1990. – Вып. 16. – С. 75.

47. Проблема периодизации в исторической лексикологии русского языка // Вопросы исторической семантики русского языка: Лексика и синтаксис. – Калининград, 1990. – С. 5–11.

48. Историческая лексикология русского языка: предмет, источники и задачи // История русского языка: Проблемы номинации и семантики. – Вологда, 1991. – С. 3–20.

49. Критерии выделения и особенности организации лексических групп // Лексические группы в русском языке XI–XVII вв. – М., 1991. – С. 23–34.

50. Старинная женская одежда и ее наименования // Русская речь. – 1991. – № 1. – С. 110–116.

51. И заговорили безмолвные свитки // Вологда: историко-краеведческий альманах. – Вологда, 1994. – Вып. 1. – С. 315–325.

52. Монастырская трапеза в XVI веке // Кириллов: краеведческий альманах. – Вологда, 1997. – Вып. 2. – С. 88–92 (Русская речь. – 1998. – № 6. – С. 70–75).

53. О типологии лексических групп // Актуальные вопросы исторической лексикологии и лексикографии. – Смоленск, 2000. – С. 49–55.

54. Г. В. Судаков (текст выступления) // Материалы обсуждения «Проекта словаря обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.). – СПб., 2002. – С. 8–10.

55. Особенности национального застолья в зеркале истории слов // В. И. Даль и русская региональная лексикология и лексикография. – Ярославль, 2001. – С. 12–18.

56. Особенности национального застолья и эволюция названий напитков // Русская культура на рубеже веков: Русское поселение как социокультурный феномен. – Вологда, 2002. – С. 227–236.

57. Росписи Белозерского рыбного двора 1674–1679 гг. как источник изучения специальной лексики // История русского слова: ономастика и специальная лексика Северной Руси. – Вологда, 2002. – С. 204–209.

58. История названий напитков как зеркало эволюции русского застолья // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы. – М., 2003. – С. 347–349.

59. «Водка – вину тетка» // Русская речь. – 2003. – № 1. – С. 72–81.

60. Новые явления в русском языке XVIII в. в оценке Ломоносова // Проблемы культуры, языка, воспитания. – Архангельск, 2003. – Вып. 5. – С. 18–24.

61. Речевые вкусы М. Н. Загоскина // Словарь русского языка XIX века. Проблемы. Исследования. Перспективы. – СПб., 2003. – С. 67–82.

62. [Г. В. Судаков]: Стенограмма обсуждения проекта «Словаря русского языка XIX века» // Там же. С. 117–123.
63. Образ Николы Угодника в русской паремииологии (по записям XIX века) // Русский язык XIX века: проблемы изучения и лексикографического описания. СПб., 2004. – С. 174–179.
64. М. Н. Загоскин о речевых вкусах современников // Русская речь. – 2004. – № 1. – С. 91–100.
65. Иллюстрация в историческом словаре // Актуальные вопросы исторической лексикографии и лексикологии. – СПб., 2005. – С. 129–136.
66. Этнокультурный компонент в семантике старорусского слова (названия головных уборов) // Русская историческая лексикология и лексикография. – СПб., 2005. – С. 175–183.
67. Николай Угодник как народный герой в русской фразеологии // Русская речь. – 2006. – № 4. – С. 97–100.
68. Живая русская речь в произведениях В. А. Гиляровского // Проблемы текста. Словесность. – Вологда, 2006. – С. 103–113.
69. Образ святителя Николая в русской фразеологии // Почитание святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве. – М., 2007. – С. 70–72.
70. Гиляровский как знаток русской речи (рефлексия писателя на речевые феномены своего времени) // Русский язык XIX века: от века XVIII к веку XXI. – СПб., 2006. С. 228–235.
71. Проблема периодизации истории русского слова и языковая ситуация в XVIII веке // «Единым письмен употреблением памяти подкрепляется вечность»: сб. научн. трудов памяти З. М. Петровой. – СПб., 2007. – С. 331–341.
72. Древний русич как этнограф и лексиколог // Русская историческая лексикология и лексикография. – СПб., 2008. – Вып. 7. – С. 145–166.
73. Напитки в трапезе древнего русича // Хмельное и иное: напитки народов России. – М., 2008. – С. 58–71.
74. Древний русич как лексиколог // И. И. Срезневский и история славяно-русской филологии: тенденции в науке, образовании и культуре. – Рязань, 2007. – С. 159–165.
75. Письменные источники истории русского языка (Астахина Л. Ю. Слово и его источники. – М., 2006) // ЯЛИК: Язык, литература, история, культура. – 2008. – Март. – № 74. – С. 13.

76. «Что пройдет, то будет мило» // Дружининская О. В., Катаева И. Н. Бал как культурное явление XIX века: из истории слов. – Вологда, 2008. – С. 4.

77. Актуальные проблемы исторической лексикологии русского языка // Слово и текст в культурном сознании эпохи. – Вологда, 2008. – Ч. 1. – С. 7–28.

78. Термины пивоварения в русском языке XIV–XX веков // Русское народное слово в языке и речи. Арзамас; Саров, 2009. – С. 350–357.

79. Н. В. Гоголь об искусстве речевого общения // Русский язык в школе. – 2010. – № 1. – С. 53–58.

80. Язык писателя. Писатели о языке. // Словесность и культура как образ национальной ментальности. – Вологда, 2010. – С. 171–308.